



**Владимир
Бушин**

МОЯ ВОЙНА

**От Калуги
до Кенигсберга**

УДК 323 (470+571)

ББК 66.4(2)

Б 90

Бушин В.С.

- Б 90** От Калуги до Кенигсберга. Фронтовой дневник / В.С. Бушин. – М.: Алгоритм, 2017. – 208 с. – (Моя война).

ISBN 978-5-906947-43-7

Владимир Сергеевич Бушин – писатель и публицист, литературный критик, поэт, – с 1942 года участвовал в Великой Отечественной войне в составе 50-й армии, прошел боевой путь от Калуги до Кенигсберга. Потом - Маньчжурия, война с Японией.

В книгу вошли уникальные отрывки из фронтового дневника В.С. Бушина, где очень точно, с яркими деталями показана жизнь солдата со всеми ее тяготами, опасностями, ратным трудом во имя Родины и горечью потерь. К своим записям автор дает комментарии с позиции сегодняшнего дня и делится размышлениями о войне и этой эпохе.

УДК 323 (470+571)

ББК 66.4(2)

© Бушин В.С., 2017

ISBN 978-5-906947-43-7

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

НО ПРЕЖДЕ ЗАМЕЧУ...

Я начал вести дневник в двадцать лет на фронте. Уже после войны узнал, что это запрещалось, но я никаких запретов не изведал, может быть, потому, что, будучи радиостом, делал записи чаще всего во время одинокого ночных дежурства на РСБ (радиостанция среднего бомбардировщика, установленная в виде закрытого фургона на полуторке). К тому же я был комсоргом роты и в этом качестве нередко приходилось бывать в ее разных, разбросанных по линии фронта взводах и отделениях, т.е. быть не на глазах начальства. Это также давало определенные возможности для ведения дневника. Да и знал о моем дневнике, пожалуй, только мой ровесник и друг Райс Капин, казах из Ташкента с довольно странной для казаха фамилией. Светлая ему память...

Мариэтта Чудакова, известная специалистка по дневникам, пишет, что форма дневника «позволяет создавать иллюзию свободного выражения мыслей и впечатлений автора» (КЛЭ, т.2. с.707). Что за чушь — почему иллюзию? Я писал все, что хотел, безо всяких иллюзий. Другое дело, что в моем дневнике нет записей, например, подобных этой:

«Утро человека начинается бурной физиологией. Человек гадит, мочится, издает звуки, харкает и кашляет, чистит протухшую табачищем пасть, вымывает гной из глаз и серу из ушей, жрет, рыгает, жадно пьет и остервенело курит. Насколько опрятнее пробуждение собаки.

Тяжелое хамство дремлет в моей груди.

Не осталось ничего, лишь скучная, бессильная злоба».

Какая тонкая наблюдательность! Какая откровенность! 3 ноября 1951 года это написал в своем дневнике уже всего объевшийся, утопавший в богатстве 32-летний мизантроп Юрий Нагибин.

Или вот что записал в дневнике 10 сентября 1976 года Андрей Тарковский: «В ночь на 9-е умер Мао Цзэдун. Пустячок, а приятно» (РГ.21.2.08). И это о смерти человека, который возглавил борьбу великого народа против многовекового рабства хищников Запада и привел к победе... Я подобную запись не мог сделать даже 30 апреля 1945 года, когда мы узнали о самоубийстве Гитлера.

В моем дневнике нет таких записей просто потому, что у меня совсем другие глаза, иная натура, совершенно не похожий склад ума. У осетинского поэта Бориса Муртазова есть стихотворение «Разные глаза». В моем вольном переводе оно выглядит так:

— Мне тошно на московских улицах! —
Сказал один москвич, мой друг. —
Иду — и хочется зажмуриться
От рож каких-то, от пьянчуг!..
Ответил я: — Ничуть не меньше
И у меня хлопот с Москвой:
Такая пропасть милых женщин,
Что так и вертишь головой!

В этом все дело.

Но Чудакову далеко превзошел критик Бенедикт Сарнов. Он уверяет, что иные советские писатели хитроумно нахваливали в дневниках Советскую власть, создавая иллюзию своей лояльности и даже любви к ней. Зачем? А это, говорит, «для глаз будущего следователя». Вдруг, мол, нарянет ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ и при обыске уж непременно обнаружит дневник, а там — сплошные восторги о Советской власти и здравицы в честь товарища Сталина или раскаяния в своих антисоветских заблуждениях. Ну, и все по-

дозрения тотчас рассыплются в прах. Может, еще и орден или Сталинскую премию дадут хитрецу.

В качестве примера Сарнов называет известного до войны драматурга А.Н.Афиногенова, автора талантливых пьес, в том числе замечательной «Машеньки», по которой в 1942 году был поставлен фильм, тогда же, в дни войны получивший Сталинскую премию. Автор пьесы этого не дождался. Сарнов приводит такую, допустим, запись драматурга: «Нет, все же наше поколение неблагодарно, оно не умеет ценить всех благ, данных ему Революцией. Как часто забываем мы все, от чего избавлены, как часто морщимся и ежимся от мелких неудобств, чьей-то несправедливости, считаем, что живем плохо. А если бы мы представили себе прошлую жизнь, ее ужасы и безысходность, все наши капризы и недовольства рассеялись бы мгновенно, и мы краснели бы от стыда за свою эгоистическую забывчивость... Я всем сердцем люблю новую жизнь!» Критик убежден: это — для Ежова! Он уверен: интеллигентный человек не может любить Советскую власть, не может думать, что в прошлом были ужасы, которых при Советской власти уже нет. Как и о том, что в нынешней России столько ужасов, коих мы не ведали в Советское время.

А Александр Николаевич погиб в 1941 году во время налета немецкой авиации на Москву. Между прочим, это случилось в здании ЦК, на которое упала бомба. Странно, что Сарнов не использовал сей факт для доказательства того, что Афиногенов сознательно выбрал место своей гибели, чтобы еще раз заверить партию и правительство в своей преданности и любви. Странно и то, отчего критик, приведя известные строки из дневника К.Чуковского о том, как они с Пастернаком наперебой восхищались Сталиным, увидев его в президиуме съезда комсомола, не зачислил и это в графу «для будущего следователя», для Ягоды.

В нашей литературе наиболее известны короткие дневниковые записи Пушкина, «Дневник писателя» Достоевского, многолетние с 19 лет до смерти дневники Толстого, короткие записи Чехова... В более позднее, в Советское

время — Бунина, Пришвина, Чуковского, «Рабочие тетради» Твардовского, воспоминания Эренбурга, Нагибина, Куняева... В сущности, своего рода дневниками оказались и «Камешки на ладони» Солоухина, и «Затеси» Астафьева, и «Мгновения» Бондарева... Я думаю, что все упомянутые писали дневники не из страха перед Третьим отделением или КГБ и даже не перед самим Сарновым. Так писал и я, не пытаясь создавать никаких иллюзий.

Надо еще заметить, что я начинал дневник, разумеется, без всякого прицела на публикацию. Ну, кого могли заинтересовать писания двадцатилетнего бывшего солдата? Да я и сам не думал о литераторском будущем, хотя вскоре начал печатать стихи в армейской газете «Разгромим врага». Однако гораздо позже, когда мое имя замелькало, даже можно сказать замельтешило в прессе и встало в определенный литературный ряд, читатели не раз обращались ко мне с предложением или с просьбой написать воспоминания. Так, незнакомый мне В.Андианов после публикации в «Завтра» моей статьи о поединке на телевидении Г.Зюганова и демократа Л.Гозмана прислал мне по интернету 29 апреля 2011-го года и упрек и призыв: «Владимир Сергеевич! Зачем Вы тратите драгоценные «снаряды» своей публицистической «пушки» на таких ничтожных политворобьев, как Леонид Гозман? А кому интересны бредовые выхлопы ума подельника Горбачева по развалу страны и всего соцлагеря бывшего секретаря ЦК Валентина Фалина или убогой думской функционерши «Едра» Яровой? Их и знать-то никто не знает! А Гозман настолько сер, безлик и тягостен... Двойник Льва Новоженова. Треп этих людей просто смешон и вступать с ними в дискуссию на полном серьезе — это создавать им рекламу. Извините, но для такого автора, как Вы, это мелкотемье».

Я согласен с оценками «этых людей», но согласиться, что понапрасну веду пальбу из пушек по воробьям, не могу. Да, воробы! И сами по себе они меня совершенно не интересуют, и я не рассчитываю ни устыдить их, ни переубе-

дить. На это, похоже, надеется Геннадий Зюганов. Он то уверяет их, что им будет стыдно за те гнусности, которые они льют на Ленина; то приглашает посетить сайт КПРФ; то говорит: «Перечитайте переписку Сталина с Рузвельтом и Черчиллем». Пере-? Да они ее и не читали, скорей всего и не знают о ней, ибо все это их совершенно не интересует, чуждо им и отвратительно.

Да, говорю, это воробы, но им же предоставлены самые высокие в стране трибуны, их слушают миллионы и они, в сущности, тиражируют не свои собственные «бредовые выхлопы ума», а взгляды, мысли, оценки враждебной народу верховой власти. Они — лишь повод, чтобы ударить по позиции именно антисоветской верхушки. И я во-все не «дискутирую на полном серьезе». То, что я проделываю с ними называется иначе.

А дальше В.Андрianов пишет: «Мне кажется, Вы должны заняться писанием мемуаров. Интереснейшего материала у Вас уйма. Детство, юность, война, Литинститут, Ваше становление как поэта и писателя, встречи с величими людьми, перестройка, Ваша яростная борьба с разрушителями СССР... Все это было бы чрезвычайно интересно и познавательно.

Большая просьба: отложите в сторону всю текучку, возьмитесь за очень нужное для читателей и для истории русской литературы дело — за воспоминания!»

Недавно Светлана Лакшина даже попросила у меня почтить мои воспоминания — от кого-то слышала, что они уже опубликованы. Увы... Воспоминания — это совсем иной и очень соблазнительный жанр. Но дневник в какой-то мере может заменить воспоминания, а в некотором смысле он даже предпочтительней. Тем более что я буду дневниковые записи сопровождать примечаниями нынешних дней и воспоминаниями.

Но чтобы ввести читателя «в курс моей жизни», начать придется именно с воспоминаний, точнее, с биографической справки. Если кратко, то выходит дело так.

Я родился 24 января 1924 года в Глухове. Это недалеко от Ногинска (Богородска), что в Московской области. Мать Мария Васильевна в молодости работала ткачихой на фабрике или, как тогда говорили, мануфактуре Арсения Ивановича Морозова, кажется, одного из знаменитого рода фабрикантов. Я после двух сестер был третьим ребенком в семье, вернее, четвертым, — первенец моих родителей умер в младенчестве. Мать тогда уже не работала. Отец Сергей Федорович Григорьев-Бушин лет в двадцать окончил Алексеевское юнкерское училище, что находилось в Лефортове, словом — офицер царской армии, позже — врач-хирург и член партии, уже просто Бушин. И мать до моего рождения какое-то время тоже состояла в партии. Отца почему-то часто переводили по работе с одного места на другое в пределах Московской области. Он был главным врачом в Минино, Раменском, Кунцево, а с 1933 года, видимо, когда я начал что-то соображать, мы жили в Измайлово, которое тогда было подмосковным селом. Его образующим центром с давних дореволюционных времен являлась прядильно-ткацкая фабрика, а потом и колхоз «Красная гряда». При фабрике — несколько больших и не очень больших корпусов и домов в два-четыре этажа, которые с дореволюционных времен называли спальнями. В них жили рабочие и все сотрудники фабрики. Существовало два двора — старый и новый, почему-то получивший название Балкан. Тут же была хорошая полутораэтажная больница, тоже дореволюционная, где отец работал главным врачом. Последнее место его работы — уже в самой Москве, какая-то большая больница в Сыромятниках. Я там не был, но помню горделивые восторги деда: «Какая больница!..» Отец умер в 1936 году... Однажды к Коктебеле я написал стихотворение «Воспоминание в Крыму об отце».

Он умер от чахотки в сорок.
Его в Крыму бы полечить!
Но не легко туда в ту пору
Путевку было получить.

Но, впрочем, и не в этом дело,
А в складе том умов, сердец,
При коем дух превыше тела, —
Таким и был он, мой отец.

То партячейка, то субботник —
И всюду первым, не вторым —
То мореплаватель, то плотник...
И где там Крым! Какой там Крым!

А я, продукт эпохи новой,
Дитя литфондовских щедрот,
Благополучный и здоровый,
В Крыму едва не каждый год.

А мать умерла в 1981-м. Это было в Нагатино, где она жила со старшей дочерью. Я сидел у ее постели, она гладила мне руку и говорила: «Я ухожу...» Почему-то мама не похоронила урну с прахом отца сразу, и она оставалась в сундуке до ее смерти. И тогда собрались мы перед поездкой в Глухово на кладбище всей семьей — родители в урнах и настroe, их детей. Там, на глуховском кладбище они и лежат...

Как большинство советских людей, свою родословную дальше бабушки Арины Никифоровны, умершей в 1944 году и дедушки Федора Григорьевича, умершего в 1936-м на полгода раньше отца, я не знал. А родители матери умерли еще до революции. Некая Лариса из Ленинграда, тупая антисоветчица, поселившаяся на моем сайте в интернете, уверяет, что Советская власть не то препятствовала, не то прямо запрещала нам интересоваться своими предками. Почему? Зачем? Она не знает, но уверена. Да разве книги, фильмы, спектакли о временах Александра Невского, Ивана Грозного, Петра, наконец, Ленина и Сталина — не о наших предках? У нее, видимо, предки откуда-то из Африки или из космоса. А ведь дело-то простое. Почти все мы из крестьян. Откуда там взяться генеалогическому древу?

Однако когда мое имя замелькало в печати, Вячеслав Александрович Казанский, заслуженный учитель и краевед из села Михайловского, соседнего с деревней Рыльское, где жили на берегу Непрядвы мои дедушка и бабушка, у которых я и мои сестры каждый год проводили лето, по ревизским сказкам, оказывается, до сих пор хранящихся в областных архивах, составил мне мою родословную по линии отца и возвел ее к Степану Феопентовичу Бушину, жившему в 1703—1754 годы, современному шести царей от Петра до Елизаветы. Что дает мне знание всего лишь имен Феопента и Степана Бушиных? Вроде бы ничего. Но вроде бы и нехватко много. Если есть у меня какие-то способности, то я обязан этим длинному ряду моих предков, в которых эти способности накапливались столетиями, передавались от поколения к поколению и вот подарены мне. И я чувствую великую ответственность перед длинной чередой предков.

Я считаю себя туляком, потому что из Глухова, что под Ногинском, где родился, мы уехали, когда мне было лет пять, и ничего не помню из столь раннего детства, кроме странных мистических сновидений да одного совсем не мистического случая: очень любившая меня тетя Агаша, соседка по коммунальной квартире, зачем-то высунула мою юную, ничем не обремененную голову в форточку и долго не могла втащить обратно, хотя, говорю, голова-то было легкая. А изрядную часть и «сознательного детства», и отрочества, и юности я провел как раз в Рыльском у милой бабушки Арины Никифоровны, исконной пролетарке, узенной дедушкой Федором Григорьевичем, тоже очень добрым и славным, в тульскую деревню. Он был мастер золотые руки, солдат японской войны, но мужик гулевой, время от времени отключавшийся от бренного мира по причине запоя, что, впрочем, не помешало ему после недолгой и несправедливой тюремной отсидки стать председателем колхоза имени Марата.

В Рыльское я и сестры ездили каждое лето, а изредка и родители с нами. Однажды я был там с отцом зимой. Как раз готовилась коллективизация. Деревня бурлила. В из-

бу набивались мужики со всей деревни и пытали отца — он же был столичный коммунист и образованный человек, врач — пытали, что будет, как и зачем. Иногда поднимался такой гвалт!.. А я лежал на высокой печи и в прорезанное под потолком окошко с интересом смотрел и слушал, ничего не понимая, как в «Войне и мире» моя ровесница шестилетняя Малаша смотрела тоже с печи на совет в Филях. Громче всех шумел лысый Андрей Семенов, чья изба была напротив и ниже на лугу, доходившем до Непрядвы.

В школу я пошел в 1931 году в Раменском. Это была одноэтажная каменная земская школа — так ее и называли. Был у меня там друг Коля Чистяков, я до сих пор помню его зрительно. Помню и один конфузный случай... В детстве я был болезненно застенчив. Даже в своей семье за обеденным столом не мог ничего сказать громко, как-то обратить на себя внимание без того, чтобы не залиться краской. Вот из-за этого в первом классе однажды и случился конфуз: не посмел во время попроситься выйти из класса... Беда! Катастрофа!.. Правда, никто ничего не заметил. Во второй класс пошел в Кунцеве, а в третий — уже в Измайлово. Стальная школа была такого же образца, как в Раменском — каменная, добротная с большим актовым залом. Там, помню, в день какого-то праздника, видимо, Первого мая, умирая от смущения, я читал со сцены стихи:

Я — май зеленый, листочек нежный,
И непокорный, и неудержный.
Вперед стремлюсь я и исчезаю,
И к жизни новой всех зову...

Там помню уже многих друзей: Васю Акулова, Толю Антонова, Толю Фомичева... С Фомичевым мы были вратарями двух соперничающих футбольных команд соседних дворов. Помню и классного руководителя Николая Георгиевича, доброго человека с бельмом на левом глазу. Он очень любил нас, а меня, пожалуй, особенно. Подумать только, из деревни Измайлово, когда еще не было не только метро, но

и до трамвая надо была топать несколько верст, он возил нас в Архангельское и в Останкино, в музей!

Эта школа называлась Белой, а в четвертом классе мы учились в обыкновенной крестьянской избе, в которой было две комнаты и небольшой коридор. Рядом — прекрасная старинная церковь. На Пасху мы видели из окон вереницы старушек, шедших святить куличи.

Стыдно вспоминать, но ведь было... По наущению второклассника Илюхи Котова, заводили всего класса, я ставил для него у самой учительницы шерстяные перчатки. Да еще гордо напевал потом блатную песенку той поры:

По ширмам бегать научил меня товарищ мой...

Это блатное выражение означает «воровать». Оно есть и в нынешнем словаре воровского жаргона.

Что из пакостей такого же рода застряло в памяти из той поры? Да хотя бы то, как еще в Раменском, т.е. будучи первоклассником, я из кустов сада, умирая от страха, запустил камнем в большое итальянское окно детского сада. Почему, зачем?.. Мимо нашего дома озорные фабричные огольцы (сейчас это слово забыто: мальчишки, пацаны) ходили в парк на озеро купаться, и каждый раз они швыряли камни в наши двери и окна и во все горло вопили: «Бей жидов!» Хотя во всем доме был только один еврей — врач Гравесский, женатый на француженке мадам Сюзанне. Видимо, я разбил окно только для того, чтобы доказать себе: и я это могу! Комплекс Раскольникова. А ведь вроде бы психически вполне нормальный человек...

Пушкин писал:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Лев Толстой однажды заметил: «Надо бы сказать «строк постыдных». Но на такую откровенность, как Толстой, способны немногие. Я не понимаю, как он мог своей жене, во-

семнадцатилетней чистой домашней девочке, дать читать свой дневник за былые годы, в котором ведь чего только не было. Далеко ли это от другого Льва — от Ландау, который говорил жене: «Сегодня вечером я приведу девочку. Приготовь нам чистое постельное белье». И та готовила...

В пятом классе я учился уже в Красной школе на Балкане. А летом 1936 года отец отвел меня в только что построенную четырехэтажную школу №437, которую я и окончил летом 1941 года за несколько дней до войны.

А в деревню нашу можно было ехать двумя путями: первый — с Курского вокзала до Товарково, а там поджидал с лошадью дед или дядя Гриша, младший брат моего отца, и надо было плестись еще 25 верст, часто по ужасной жаре; второй путь — с Павелецкого вокзала до Льва Толстого (Астапово), там — пересадка и — до Птани, где опять же кто-то, конечно, встречал. Летом после второго курса Литинститута я позвал с собой в деревню друга-однокурсника Женю Винокурова, прекрасного поэта, милого человека. Прибыли мы в Товарково. Нас никто не встречал: дед давно умер, а кто еще?.. Это же был 1948 год, деревня пережила оккупацию, наша изба сгорела, вероятно, и лошадь невозможно взять в колхозе, если они были. С грехом пополам на весьма специфической сильно ароматической машине мы все же добрались до деревни, где нас ждали дядя Гриша, тетя Лена и мои двоюродные сестры Клава и Тоня, которые ныне живут в прекрасном Минске.

Запомнилась первая самостоятельная поездка в деревню. Мне было тринадцать лет, зимой умер отец, и вот меня почему-то отправили одного. Кто сейчас решится на это? Тем паче, что сестра купила мне билет с Павелецкого, т.е. с пересадкой в Астапово, да еще почему-то вышло так неудачно, что там мне пришлось ждать мой поезд до Птани семнадцать часов, чуть ли не до вечера следующего дня. Куда деваться? Что делать? Хорошо еще было тепло, июнь. Ну, побродил я по станции, посидел в буфете. Наступил тихий вечер и вдруг донесся звук духового оркестра. По не-

знакомому поселку я пошел на этот звук. Дорога привела в парк, к танцплощадке. Вероятно, была суббота или воскресенье. Посмотрел я на танцующих. Что мне, тринадцатилетнему, еще делать? Вернулся на станцию. Печаль того вечера памятна мне доныне. А как скоротать ночь?

Уже поздно вечером то ли сам вспомнил, то ли мне кто-то сказал, что ведь здесь умер Толстой. 28 октября 1910 года он, терзаемый стыдом и горем, ушел из Ясной Поляны в сопровождении своего врача Душана Петровича Маковицкого, по дороге в поезде подхватил воспаление легких, в Астапово его ссадили и здесь в квартире начальника станции Ивана Ивановича Озолина, обрусевшего латыша, 7 ноября в 6 часов 5 минут утра писатель умер.

Сейчас в статье священника Георгия Ореханова я прочитал, что старец Варсонофий, игумен Оптиной пустыни, явившийся сюда в предсмертные дни Толстого с целью добиться его покаяния перед церковью, «вынужден был ночевать на вокзале в женской уборной» (Ясная Поляна. «Толстой. Новый век» №2'06, с. 115). Ждал согласия грешника, и готов был прямо из уборной кинуться к его смертному одру. Не дождался...

Так вот он прямо около станции, этот дом. По моим воспоминаниям, он деревянный, одноэтажный, в пять окон. Но на фотографии в одной книге 60-х годов — два этажа. Как видно, надстроили... Что знал я тогда о Толстом, что читал? «Кавказского пленника», конечно. Его тогда в четвертом или третьем классе проходили. Там, в «Пленнике», все так просто, ясно и благородно: нельзя товарища бросать в беде. Помните, как Жилин тащил на горбу выбившегося из сил Костылина? Мой друг Вася Акулов, одноклассник, почему-то иногда повторял: «Костылин мужчина грузный...»

И в каком сне могло присниться Пушкину, Лермонтову, Толстому, у каждого из коих был свой «Кавказский пленник», что в XXI веке на их родине снова появятся кавказские пленники — не повести и поэмы, а живые соотечественники. А чего не только классики, жившие сто-двести лет тому назад, но и мы, современники, до сих пор вооб-

разить не могли, так это «московские пленники», т.е. русские в пленау у русских. 20 февраля этого года два офицера ГУ МВД похитили и вывезли в Можайский район Московской области Николая М., жителя Смоленска, и потребовали от родных 700 тысяч рублей выкупа. Помните, как дело было в повести Толстого? С Жилина «татары», как они названы автором, потребовали 3000 рублей. Он сказал, что больше 500 они не получат, «татары» согласились, но и этого пленник давать не собирался, старой больной матери негде было взять таких денег, и он нарочно писал письма так, чтобы они не дошли, надеялся бежать. И вот с помошью сердобольной юной «татарочки» удалось. А Костылин выплатил 5000. У Пушкина, и у Лермонтова, не добрая «татарочка», а влюбившиеся в русских пленников черкешенки. Они спасают русских, но в порыве неразделенной любви бросаются в реку, тонут.

Редел на небе мрак глубокий,
Ложился день на темный дол,
Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный пленник шел;
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

Но вернемся в 37-й год в Астапово.

Я дернул входную дверь дома Озолина, она, конечно, была заперта, во всех пяти высоких окнах — ни огонька. Несколько раз обошел вокруг дома, как 27 лет тому назад утром 4 ноября Софья Андреевна, приехавшая из Ясной. Устал ходить, сел на крыльце в три ступеньки. Была уже глубокая ночь, слипались глаза, захотелось спать. Положив под голову сумку, что была со мной, прилег и быстро уснул, как провалился в бездну. Так всю ночь до рассвета и проспал на крыльце этого скорбного дома. На рассвете меня разбудил свисток паровоза.

Чем была для меня ночь, проведенная у двери дома, в котором умер Толстой? Вроде бы ничем. Но, может быть, и неохватно многим. И впрямь, не после посещения Ясной Поляны или музея в Хамовниках, не после того, как положил руку на кожаный черный диван, на котором Толстой родился, не после прочтения «Войны и мира», не после безмолвного стояния у его могилы, не после фильма Бондарчука, о котором я еще и написал большую статью, а гораздо раньше — после той бесприютной летней ночи до рассвета на крыльце дома Озолина я, отрок, на всю жизнь ощутил какую-то странную, необъяснимую связь с Толстым, постоянный интерес к нему. Может быть, потому, что за полгода до этого умер мой любимый отец и загадка жизни и смерти уже томила юный ум? Не знаю... Конечно, мне тогда неведомы были строки Фета, которые так любил Толстой:

Не жизни жаль с томительным дыханьем.
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет и плачет, уходя.

И какой огонь над мирозданьем мог я тогда знать! Однако...

Не знаю точно когда, видимо, в середине 30-х Измайлово стало частью Сталинского района Москвы. В июне 1941 года я окончил 437-ю школу этого района. За два дня до войны у нас был выпускной вечер. Ах, этот вечер! Сколько в нем было радости и печали, как многозначительны были речи, тосты и взгляды влюбленных... А как только война началась, девчата нашего класса пошли работать на знаменитый Электроламповый завод, а ребята, в числе которых и я, — на авиационный завод №266 имени Лепсе, что на Мочальской улице, как сейчас она называется, не знаю, была потом — Ибрагимова. Вскоре почти всех ребят взяли в армию. Но некоторые, как и я, по возрасту еще не подходили, и с началом учебного года мы без экзаменов поступ-

пили в институты. Я — в Бауманский, хотя никакой тяги к технике отродясь не имел.

В октябре Бауманский эвакуировался в Ижевск. Я не поехал, а пошел работать слесарем на ту самую Измайловскую прядильно-ткацкую фабрику, где мать, еще в Раменском окончившая курсы медсестер, заведовала здравпунктом. В декабре, когда немцев отбросили от Москвы, некоторые институты возобновили работу. Ближайшим из них к Измайловой был Автомеханический, что на Большой Семеновской. Туда и пошли мы, несколько одноклассников: Нина Головина, Тамара Казачкова, Зоя Серова и я. Здесь летом 1942 года я окончил первый курс и отсюда осенью был призван в армию.

Будучи с отроческих лет очкариком и не обладая сколько-нибудь выдающимися физическими данными, я решил своим 18-летним умом, что лучше всего могу пригодиться на фронте как артиллерист. Толчком в этом направлении оказался очерк Константина Симонова в «Правде» о каком-то замечательном артиллеристе на фронте. Я несколько раз ходил в военкомат и просил направить меня в артиллерийское училище, но направлений все не было и не было. Наконец, военком, кажется, по фамилии Морозов вдруг сообщил: есть направление! Собрали нас команду человек в пять-шесть, и мы пошагали куда-то в восточное Подмосковье, но не очень близко: в пути ночевали в каком-то клубе на полу на каких-то плакатах и транспарантах. Пришли, и оказалось, что это вовсе не артиллерийское училище, а — химслужбы. Моему огорчению не было границ. Но когда я не прошел медицинскую комиссию, обрадовался, думая, что меня направят обратно в мой военкомат и я все-таки добьюсь артиллерийского. Наивный студиоз! Меня признали ограниченно годным и тотчас направили в знаменитые Гороховецкие лагеря.

Однако любопытное дело с этой медкомиссией. Меня забраковали для училища не по зрению (я в очках лет с пятнадцати), а нашли что-то в сердце. Вот какой строгий был отбор в офицерские училища даже в те суровые дни 1942 года. Недавно мне довелось прочитать изданную на

русском языке в Израиле книгу Лии Горчаковой-Эльштейн «Жизнь по лжи». В прошлом советская учительница, отец которой в 37 году был расстрелян, а мать и муж отбыли по 8 лет лагерей, она, казалось бы, должна по меньшей мере сочувствовать страдальцу Солженицыну. Но честный человек, она написала книгу убийственную по силе разоблачения бывшего живого классика и презрения к нему. В частности, она недоумевает, каким образом Солженицын смог попасть не просто в офицерское училище, а на АКУКС — на Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава. Во-первых, он до этого был всего лишь рядовым ездовым в глубоко тыловом обозе, вернее, даже не ездовым — тот должен уметь и запрячь лошадь, и управлять ею — Солженицын лишь кормил лошадей да убирал навоз в конюшне. Какое тут усовершенствование? Во-вторых, как пишет его биография Л.Сараскина, «на призывном военкомовском осмотре было признано: «В мирное время — негоден, в военное — нестроевая служба» (Л.С., с 175). И Горчакова резонно заключает: «Никакое училище ему не светило: «нестроевая служба исключала возможность приема в любое военное училище» (с.161). Если бы знала, могла солаться на мой пример. Значит, и тут, как во всем остальном, Солженицын ловчил, изворачивался, мухлевал, в результате чего оказался на фронте не в 41-м году, как должен был по возрасту, а только в мае 43-го.

И вот, говорю, Гороховецкие лагеря. Это было тяжкое испытание, о котором как-нибудь в другой раз. Пробыл я там месяца полтора-два. Жив остался. Обрел хорошего друга Райса Капина, уже помянутого казаха, моего ровесника. Однажды глубокой ночью нас подняли, привели на станцию, погрузили в телятники и доставили в разбитую Калугу. Там некто, как узнали позже, капитан Шуст отобрал нас с моим другом Райсом, как ребят грамотных в какую-то формирующуюся часть и увез в Мосальск, небольшой городок Калужской области. Там эта часть и формировалась.

Это была 103-я Отдельная армейская рота воздушного наблюдения, оповещения и связи. Такие роты были при ка-

ждой армии. Наша рота, как, видимо, и другие, ей подобные, состояла из четырех взводов во главе с лейтенантами. Это примерно человек 150—200. Взводы располагали вдоль линии фронта свои посты («точки»). На каждом было человек 5—6. Задача состояла в том, чтобы неусыпно наблюдать за небом, вернее, за немецкой авиацией. Мы выучили тактико-технические данные немецких самолетов, знали их профили, внешний вид, и когда они появлялись в небе, мы сообщали по телефону и по радио в штаб ПВО, каким курсом, в каком количестве, на какой высоте и какие именно машины идут. Меня, как уже упоминал, еще при формировании, надо думать, как парня грамотнее других (студент!) да еще москвич — к москвичам на фронте было особое отношение, нас в роте было человек пять — избрали комсоргом роты. Я был комсоргом и в школе, а после войны — и в Литературном институте. Ныне многие о таких делах стыдливо молчат, а я горжусь, ибо меня никто не назначал, не присыпал, а избирали свои ребята, знавшие меня как облупленного.

Вскоре меня и еще несколько ребят направили на краткосрочные армейские курсы радистов в прифронтовую деревню Вятчино. Весной 43-го года было голодно, ели конину. Но почему-то каждый раз, когда читаю или слышу гениальные строки Есенина

Я теперь скучею стал в желаньях.
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне, —

каждый раз вспоминаю ту голодную прифронтовую весну, гулкую мартовскую рань в деревне Вятчино.

По окончании курсов мы вернулись в роту, и я работал сначала на переносной радиостанции 5-АК («трет бока»), а потом на стационарной, точнее, на колесах РСБ. Как комсоргу и ротному корифею всех наук мне порой приходилось выполнять поручения и не относившиеся прямо к моей военной профессии, в частности, бывать на постах, о чем я не раз упоминаю в дневнике.

Он начинается с января 1944 года. Перед этим мне дали короткий отпуск, вернее, командировку в Москву. Впрочем, и командировкой это назвать грех. Просто дело в том, что у нашего командующего ПВО полковника Горбarenко была возлюбленная военфельдшер Хилай, видимо, москвичка, по списку она состояла в нашей роте, появлялась у нас редко. У нее были в Москве какие-то родственники. Ей захотелось послать им продовольственную посылочку, собрать которую для ее возлюбленного было не трудно. Собрал. А как отправить? О, есть же в роте москвич Бушин. Меня и послали, пробыл я дома дней семь-десять. Помню, что посылочку я передал кому-то в двухэтажном доме по правой стороне Арбата. Между прочим, явился я домой с чесоткой. Но мать быстро вылечила меня жаркой самодельной баней при больнице и ихтиоловой мазью. И это была единственная болезнь за всю войну. Пожалуй, пока воспоминаний хватит.

ИЗ ДНЕВНИКА 1944 года

Нет, надо еще кое-что сказать.

Мой дневник за 1944 год, поскольку я писал его почти всегда карандашом, сейчас прочитать очень трудно, иные страницы просто невозможно. Ну, действительно, ведь им 67 годочеков! Однако недавно по случаю я все-таки ухитрился кое-что разобрать.

А случай был такой. С апреля 2009 года незнакомая мне женщина по неведомой причине присыпала мне интересные тексты на церковно-религиозные темы. Раз присыпала, другой, третий... Я заинтересовался, кто такая? Имя интернациональное — Анна, фамилия — явно не русская, и пишет она ее латиницей. Я спросил. Оказалось — белоруска, а фамилия в переводе означает «аист». «Аист сидит на крыше», как пела молодая и прекрасная Софи Ротару, и шлет мне с крыши, то есть из поднебесья псалмы Иоанна Златоуста. В знак признательности послал ей шутливый мадригал не совсем религиозного характера:

Когда являетесь вы, Анна,
На мой экран в заветный час,
Я превращаюсь в дон Гуана
И дону Анну вижу в вас.

Она подхватила шутку: «Вы рискуете: «тяжело пожатье каменной его десницы...» Десницы дон Альвара не каменного, а живого. О-го-го...

Я написал Анне, что недавно получил медаль «За освобождение Беларуси», поскольку в 1944 году со своей 50-й армией всю ее протопал наискосок с юго-востока на севе-

ро-запад — от Быхова до Гродно. И рассказал, как порой голодные из-за отставших кухонь стучались мы в бедные белорусские избы и просили: «Тетка, бульба есть?» — «Есть, только трошки дробненькая». И кормила нас тетка и поила, а то и спать укладывала.

Мои воспоминания об этом, родные ей слова «бульба есть?» до слез растрогали Анну. Вспомнилось ей босоногое детство, как свиней пасла с хворостиной, как мечтала о стране, где живут только красивые, благородные и бескорыстные люди. А уже став взрослой, оказалась в стране красавца Гайдара, благородного Чубайса да бескорыстного Абрамовича...

А тогда... Помните у Твардовского?

Тетка — где ж она откажет?
Хоть какой, а все ж ты свой.
Ничего тебе не скажет,
Только всхлипнет над тобой.
Только молвит, провожая:
— Воротиться дай вам Бог...
То была печаль большая,
Как брели мы на восток...

Но нет, в ту пору, с которой начинается дневник, шел уже 44-й год, и мы не на восток брели, а шагали на запад, каждый день считая, сколько осталось до Германии. Это были дни освобождения Белоруссии по гениальному плану Рокоссовского «Багратион». Когда этот план обсуждали в Ставке, все были изумлены. Одновременно два главных удара? Так не бывает. Не может быть! Но Рокоссовский сказал: «А в данном положении это лучший путь!» Сталин попросил его выйти в соседнюю комнату и спокойно наедине подумать. А когда позвали, он повторил: «Два одновременных главных удара!» Сталин еще раз попросил генерала выйти и подумать. Тот вышел, подумал, вернулся и доложил: «Два главных». Сталин в третий раз попросил его подумать наедине. Генерал вышел, подумал, вернулся:

«Два!» Только после этого весьма необычный план утвердили. Сталин, знал то, что много лет позже четко выразил мой покойный друг Евгений Винокуров:

Упорствующий до предела
Почти всегда бывает прав.

Операция «Багратион» была одной из самых блестательных за всю войну. И, к слову сказать, именно в ходе ее Рокоссовскому было присвоено звание Маршала Советского Союза.

И я листаю дневник тех дней. Операция началась 23 июня, а вот давно забытые, но, по-моему, кое-чем интересные записи за пять месяцев до этого, когда еще стояли в обороне. Итак...

25 января, Белоруссия, Железинка

Вчера мне исполнилось двадцать. Отметить это никак не удалось. Вот так незаметно и вступил в третий десяток. А сержанту Шарову 50. Мне до него еще 30 лет сознательной жизни! Когда Юлий Цезарь был на два года старше, чем я сейчас, то, вспомнив Александра Македонского, из молодых да раннего, воскликнул: «Двадцать два! И еще ничего не сделано для бессмертия!» Ведь тот-то уже... А кого в детстве слуга будил словами: «Вставайте, граф! Вас ждут великие дела»? Кажется, Сен-Симона.

Вернулся из короткой командировки в Москву. Нина подарила мне толстую общую тетрадь в коленкоровом переплете, и вот решил использовать ее для дневника, для рассказа о моих сенсимоновских делах. Еще в школе однажды, кажется, начал вести, но потом бросил. На этот раз авось не брошу эти «Записки о Галльской войне».

Говорят, в дневниках обычно врут. Конечно, врать самому себе порой гораздо более необходимо, чем другим. Да иногда и утешительно, даже отрадно. Но постараюсь не врать. Вот Добролюбов вел настолько откровенный дневник, что при его публикации Чернышевский счел нужным

иные места вычеркнуть. Но это еще не значит, что Д. был до конца откровенным.

27 января

Стоит сырья туманная погода. Ходить в валенках невозможно. Такой мокрой зимы я не помню. Клава Якушева продолжает хворать. Сегодня вместо нее ротный меня послал на почту. Потом мылся без мыла в холодной дымной бане (топил сам). И стирал без мыла. Слава богу, оно чистое. Перед этим его стирала Ада (домашнее имя родной сестры Клавдии-Адии-Ады).

Вчера полк. Горбаренко вручал награды. Гроздицкий получил ор. Красной Звезды. Он был ранен еще при артнальте в Мосальске. Михайлин и Хилай — тоже Кр. Зв. Думаю, в следующий раз получит награду Адаев.

А Нечаева и Артюшенко отправили в штрафную роту. Кому что.

Капитан Ванеев (командир роты) сказал, что в молодости тоже писал стихи. Я заметил, что в молодости пишут все. Нет, возразил он, пишут только «ищащие». И тут же к чему-то привел слова Ленина: «Я тоже ищащий. Я ищу, на чем сломали себе головы прежние мыслители». Оказывается, Черчилль сказал про Ленина, что такие люди рождаются один раз в 500 лет (из того же разговора с капитаном).

А дома я будто и не бывал...

29 января

Сегодня опять заступил дежурным по роте. Время двенадцатый час. Только что сменил посты. Хочется спать...

Корнеев вот уже несколько дней пристает ко мне с таким единственным делом. Уверяет, что Артемов — бывший шпион. Будто бы он и его отец выполняли специальные задания немцев, будто он завел группу наших бойцов в немецкую засаду, будто советовал Корнееву в случае чего сдаваться в плен и проситься в транспортную роту, он, мол, знаком с ней и т.п. Верно то, что А. был на оккупированной терри-

тории под Калугой. А все остальное? Кто говорит-то! Кабы кто толковый, а то ведь сущее трепло. Ему нравится интересная игра. Ведет какие-то глупые записи латинскими буквами. Говорит, что связан со ст. лейт. Кулимановым из Особого отдела. Будто занят этим Артемовым уже девять месяцев. Разрабатывает...

Вчера, когда он разжигал печку, там взорвался патрон. Уверяет, что это устроил Артемов, покушался на его драгоценную жизнь. В роте многие заболели желудком — тоже рука А-а. Скорее всего, чепуха все это.

Получил письма от мамы и Ады. Мне становится не по себе, когда представляю, что кто-нибудь из родных голодает: мама, Гая, Ада, Нина, Павел. Готов вынести что угодно, только бы не это.

Сегодня взяты Новосокольники.

1 февраля, Железинка

Два вечера разучивали новый гимн.

Видно, союзничкам нашим старый очень не нравился. Ну как же!

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем —
Мы наш, мы новым мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем.

Ах, вам не нравится? Пожалуйста, вот новый, но старый стал гимном многомиллионной партии, у которой раньше никакого официального гимна не было. Но была просто песня Александрова «Гимн партии большевиков», которую исполнял ансамбль Красной Армии. На музыку этой песни и положили слова нового гимна. Умен, ловок, хитер товарищ Сталин!

Уж как мусолила телевизионная шарага (запомнилась куда-то провалившаяся Светлана Сорокина), вырвав их из песни, слова «разрушим до основанья»! Подавали это так, будто коммунисты хотели разрушить не «мир насилья», а

все на свете и ничего не создавать. Какое бесстыдство, помноженное на тупость! Сегодня, 30 апреля, по ТВ сообщили, что аэродромом Домодедово, оказывается, владеет какая-то иностранная фирма. Какая? Докопаться не могут. Крупнейшим и ближайшим к столице аэродромом! Да что может помешать за три-четыре часа подготовить его для приема вражеских десантов? Но может, и никакой подготовки не требуется. А в прошлом году в стране было выпущено 7 самолетов, в позапрошлом — 4. Рост — 75%. Небывалый в мире! За одно это вас без суда и следствия...

21 декабря 1920 года в заключительном слове на Восьмом съезде советов Ленин огласил полученную им записку: «На Арзамасском уездном съезде Нижегородской губернии один беспартийный крестьянин по поводу иностранных концессий заявил: «Товарищи! Мы вас посылаем на Всероссийский съезд и заявляем, что мы, крестьяне, готовы еще три года голодать, нести повинности, только Россию-матушку на концессии не продавайте!» (ПСС, т. 42, с.118)

Остался ли в Нижегородской области хоть один такой крестьянин после того, как там несколько лет погубернаторствовал прощелыга Немцов?

Сегодня на попутной машине ездил с Бондаренко как комсорг роты в политотдел армии. Он там получил комсомольский билет. Потом хлопотал, чтобы прислали к нам кино передвижку. Ведь давно обещали. И опять только обещают.

Из политотдела зашел на пост Ракова. У него вполне приличная конурка. Встретил тут девчата из второго взвода. Они идут из госпиталя в Железинке, где проходили осмотр, к себе во взвод и вот зашли. Все такие веселые, задорные, озорные.

Вано Бердзенишвили, начхим, рассказал. Мелкий странствующий торговец в станционном буфете захудалого городка попросил в долг десяток вареных яиц. Лишь через два года случилось ему снова оказаться в этом городке. Желая честно расплатиться с буфетчиком, он предложил ему деньги, вполне достаточные за десяток яиц. Но буфет-

чик сказал: «Ты должен мне гораздо больше. Посчитай: из десяти яиц вылупились бы десять цыплят, которые вырастут и тоже снесут яйца, из которых опять вылупятся цыплята... Посчитай, сколько же ты мне задолжал за два года». Должник не согласился, и дело дошло до суда.

Перед судом торговец зашел к своему веселому приятелю и попросил совета. Тот сказал: «Дай мне десять копеек на нужды твоего спасения». Тот дал. И приятель купил на это десять копеек фасоль и сварил ее. Когда начался суд, весельчак вошел в зал и стал разбрасывать по полу варенную фасоль. «Что ты делаешь, безумец?» — спросил судья. «Я сажаю фасоль», — ответил веселый человек. «Но разве взойдет по каменном полу фасоль да еще вареная?» — опять спросил судья. «О мудрейший, — ответил приятель подсудимого, — если ты намерен решать вопрос о цыплятах из варенных яиц, то почему сразу не веришь, что вареная фасоль взойдет на каменном полу?»

Кого, кроме русских, знал я до войны, до фронта? Украинцев, евреев, татар, ну, была у нас еще домработница Лина, белоруска. А на фронте! Кроме опять же украинца Козленко, еврея Берковича, татарина Губайдуллина встретил еще и грузина Бердзенишвили, казаха Капина, удмурта Адаева, мордвина Модунова, молдаванина Юрескула, чуваша Казакова, узбека Зиятдинова, цыгана Казанина... Какой букет! Какое разнообразие! И все говорим на одном языке.

Некоторые уверяют, что на фронте они не различали, кто какой национальности. Григорий Бакланов писал даже, что его это не интересовало. А недавно вдова писателя М. рассказывала мне об одной женщине, которую я должен был знать, но не мог вспомнить, и спросил: «Эта азербайджанка?» Собеседница с вызовом ответила: «Национальность человека меня никогда не интересует!» Очень странно. Как я мог не интересоваться, вдруг встретив на фронте такое неизвестное мне дотоле разнообразие! Ведь в свободное время у нас только и разговоров было, что о доме: как где хлеб пекут, как свадьбы играют, как хоронят... И это было очень интересно, особенно таким, как мы с Баклановым —

вчерашним школьникам. Другое дело, что на национальной почве не было никаких конфликтов, даже трений. Это святая правда. А если порой и подшучивали друг над другом, так это только мы, русские: тамбовский волк, Рязань косопузая, владимирский водохлеб, вятские ребята хватские — семеро одного не боятся и т.д.

2 февраля

Вчера, дождался у Ракова капитана Ванеева, поехал вместе с ним на СПП (сортировочно-пересыльный пункт) за пополнением. Увы, людей не оказалось. А сегодня пришлось провожать на СПП Яшку повара и Степанова. Они вчера перепились самогону. Старшина Буркин воспользовался этим. Теперь все недостачи на складе свалит на Яшку, дескать, пропивал. Жалко Яшку. Дурак он, связался с эти Степановым. Он же, третий калач, где только ни бывал. А Яшка-то неопытный, неповоротливый, пропадет он в пехоте, если туда направят. Сдал я их уже поздно, а мне надо было еще получить троих. Я решил переночевать на посту Ракова, а завтра опять на СПП. У Ракова на точке потешный старик-гармонист. На линию он не ходит, ничего не делает, лейтенант держит его только из-за гармошки. Он знает одних вальсов 16 штук.

Сегодня должен быть опубликован доклад Молотова по второму вопросу повестки дня сессии. Видимо, это будет результатом Тегеранской конференции.

4 февраля, около часа ночи

Только что узнали по радио, что войска 1-го и 2-го Украинского фронтов окружили 10 дивизий — 9 стрелковых и 1 танковую. Освободили города Шпола, Смела, Звенигородка... Красиво получается! Это же почти половина Сталинграда. Но, с одной стороны, сравнивать со Ст-м, очевидно нельзя, п.ч. там были отборные, высоко оснащенные техникой войска, а с другой стороны, учитывая, что сейчас для немцев очень дорога каждая дивизия, можно думать, что последствия будут серьезными. Как проклинает, поди,

Гитлер сейчас тот день, когда решил напасть на нас! Что получается? В сущности русский человек решил ход истории. Если бы мы не устояли, все было бы иначе. Как бы сейчас ликовал немец, чванливый, самоуверенный только тогда, когда за ним сила. Но вот она — справедливость. Это не отвлеченное понятие и не заблуждение. В таких делах как судьба мира, она побеждает. Мерзавцы и наглецы! Вся-то их Фатерландия не стоит одной русской деревеньки.

Вчера переночевал у Ракова. Утром они накормили меня картошкой на молоке да блинами, и я пошел на СПП: надо выбрать для роты троих. Вообще-то неприятная задача. Как на невольничем рынке. Построили передо мной человек десять один другого краше. У молодого парня недержание мочи, остальные припадочные. Кому они нужны? Зачем их в армии держат? Это же балласт. Никого и не выбрал. Пришел в роту рассказал капитану, он промолчал.

Получил письма: от мамы, Нины (почему-то №7, а потом №6) и Веры Соломахо.

С Верой я подружился в 1939 году в пионерском лагере, кажется, в Софрино.

Это была живая, жизнерадостная, не сильно красивая, но приятная девчонка из очень бедной семьи. Она мне нравилась. Не забыть, как мы провожали ее в Артек. На фронт она прислала мне несколько писем. После войны я разыскал ее. Она жила с матерью в какой-то жуткой хибаре на дне огромного котлована какой-то огромной стройки в Филиях, в этом районе жили они и до войны. Она вышла замуж, и мужа ее за что-то посадили.

А в пионерском лагере я был дважды. Оба раз меня взяли с трудом: после четвертого класса был слишком мал, а после девятого — ну, какой же я пионер! Вот так же с трудом пять лет принимали меня и в Союз писателей: то слишком правый, то слишком левый, то слишком русский, то недорусский Ну, прямо как у Пушкина:

Бывало, что ни напишу,
Все для иных не Русью пахнет...

А возглавлял тогда приемную комиссию Анатолий Рыбаков. Галя, жена писателя Виктора Ревунова, зубной врач, ездила к нему лечить зубы. И однажды говорит: «Вчера была у Рыбакова. Он спрашивал, с кем мы видимся. Я сказала, что с Бушиными. И он так стал тебя хвалить: талант! большой талант!» Ну, вот, а в Союз пять лет не пускал большой талант.

Последний раз дело было так. В ту пору по праздникам в редакциях устраивали застолья. В журнале «Дружба народов», где я тогда работал, мы его и учинили в конце рабочего дня то ли 8 марта, то ли 7 ноября 1965 года. Но в тот вечер я должен был встретиться с одной супружеской парой, давними приятелями, около Театра киноактера, что был на улице Воровского прямо через дорогу против журнала. Мы хотели пойти в этот театр на праздничный концерт. Видимо, я заранее получил или купил туда билеты и пригласил друзей. И вот после нескольких хороших рюмок и тостов — среди них был и тост Ярослава Смелякова: «За Бушина!». Ему очень по душе пришлась моя недавняя статья «Кому мешал Теплый переулок» в «Литгазете» против несуразных антиисторических переименованиях наших городов, улиц и т.д. — я оставил застолье и в отличном состоянии духа двинул в Театр напротив. В условленный час мои друзья не явились. Прождав их какое-то время, я пошел на концерт один. В фoyer уже никого не было. Я стал прогуливаться в некоторой нерешительности: авось друзья еще придут. Вдруг капельдинерша, увидев скучающего бездельника, а в зале, как оказалось, народа явная недостача, схватила меня и сунула в какую-то дверь, и я оказался в одиночестве чуть ли не в правительской ложе. Шел концерт, и притом ужасно скучный. Но скучнее всего был конферансье. Я некоторое время терпел, но вскоре по причине духовного парения после выпитого все-таки не выдержал и что-то громко вякнул из своей правительской ложи. Конферансье дурак ответил. Завязалась перепалка. Публика, уверенная, что так и было задумано, захотела. Но вдруг открылась дверь в ложу и два добрых

молодца вывели меня под белы рученьки. И это под наблюдением администратора Лосева, который раньше работал в «Московской правде», печатал там мои статьи и прекрасно знал, что большой общественной опасности я не представляю. Что мне оставалось делать при виде такого непонимания духовного парения и явного вероломства? Я смиренно удалился...

И вот кто-то сочинил, как тогда говорили, «телегу», в которой моя деликатная полемика с конферансье была представлена как антисемитская выходка. Возможно, мой собеседник был еврей, но, во-первых, я этого не знал, не мог узнать с налету, тем более, под градусом. Во-вторых, в моих доводах и аргументах не было ничего такого. И вот «телега» была направлена не главному редактору журнала, не в парторганизацию, что было бы понятно, а в самый важный тогда для меня пункт — в приемную комиссию Союза писателей, где тогда лежало мое заявление о приеме, в болевую точку. Кто-то орудовал с умом. И Рыбаков на заседании сказал примерно так:

— Все мы знаем Бушина, но вот бумага о его антисемитской выходке. Отложим...

И отложили. Пришлось мне вступать в Союз писателей не через приемную комиссию, а через Секретариат Московского отделения, где, впрочем, при голосовании голоса разделились ровно пополам, но Сергей Михалков вдруг вспомнил: в таких случаях голос председателя, коим он был, имеет двойной вес. Так одним голосом я и проскочил. Но самое замечательное в истории с «телегой» то, что фамилия друзей, которых я не дождался у Театра и пустился на антисемитскую выходку, — Гальперины, Саша и Регина.

А в пионерском лагере, с чего я начал это отступление, оба раза было замечательно! Сколько друзей я там обрел!..

5 февраля

Льстецы, льстецы! Страйтесь сохранить
И в подлости осанку благородства.

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой...

Как эти пушкинские строки («Подражание Корану») попали в мой фронтовой дневник, не знаю. А сейчас вспомнилась Ахматова:

Я клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь,
И ночей наших пламенных чадом —
Я к тебе никогда не вернусь...

У Пушкина все выдержано на уровне, достойном высокой клятвы, а Ахматова клянется одновременно и чудотворной иконой и чадом пламенных ночей — недопустимое для верующего человека смешение уровней.

9 февраля

Если дневник попадет кому-то в руки, могут быть неприятности. Надо внимательней беречь его.

Вчера отправили на пересыльный Артемова, а Корнеева на 10-дневные курсы минеров. Хотели еще Казанина, но он завопил: «Не хочу быть подарком!» Капитан Ванеев махнул рукой.

По старому наряду я привел с СПП трех старишек: Ржанов — 47 лет, Смирнов — 52 и Старовойтов — 52. Последний из деревни Теляши, где стоял взвод Павлова. Моложе, лучше мне найти не удалось. А военфельдшер Иван Хмелинин ругается: у них у всех гастрит. Капитан отнесся к этому благодушно. Он стал звать меня начальником укомплектования.

Вечером меня вызвал в землянку капитана особняк Кулиманов. Он сразу спросил: «Куда вы сегодня ходили, Бушин?» Я рассказал. Потом стал расспрашивать о новых людях, которых я привел. А что я о них знаю, кроме возраста да вот еще гастрит у всех. Но больше-то говорил он сам — о том, как важна работа его службы, «как важно обеспечить безопасность выступления вождя» (дословно)

и т.д. Видно, хотел покрасоваться перед интеллигентным парнем из Москвы. А перед моим уходом сказал: «Никому не говорите, о чем мы с вами беседовали. Это необходимо для вашего дальнейшего пребывания (?), жизни и работы, а также для общего дела» (тоже дословно). А о чем я мог бы кому-то что-то рассказать, кроме того, как важно обеспечить безопасность вождя?

После окончания Литинститута, если уж еще несколько слов об этой службе, меня однажды пригласили на Лубянку и стали расспрашивать об уже арестованном Коржавине (Манделе). А я и знаком-то с ним не был. Он учился курсами двумя старше. Но, конечно, видел его не раз — лохматого, похоже, и неумытого, в огромных валенках. Он бродил по коридорам и бубнил:

Я все на свете видел наизнанку,
Я путался в московских тупиках.
А между тем стояло на Лубянке
Готическое здание ЧЕКА...

А дальше выражалось желание приползти на коленях к этому зданию то ли с раскаянием, то ли с благодарностью. Помню еще, что на первомайской демонстрации, когда наша литинститутская колонна стояла на площади Пушкина, кто-то из студентов или сразу несколько весело напевали на известный тогда мотив «Товарищ, товарищ, болят мои раны». Кончалась эта шутливая песенка так:

Ползу я, товарищ, как сам ты понимаешь,
В готическое здание ЧЕКА...

Впрочем, оно вовсе и не готическое. Но вот приполз однако.

Потом уже после его возвращения из ссылки в Москву не помню, где и как мы познакомились, точнее сказать, спознались. И именно он, Эмка Мандель в мае 1967 года припо-

жаловал ко мне в «Дружбу народов» и предложил подписать коллективное письмо в президиум Четвертого Всесоюзного съезда писателей с предложением дать слово на съезде Солженицыну. Возможно, что его направил ко мне сам Солженицын, поскольку до этого у нас с ним была довольно любезная переписка. Я подписал. Почему не дать слово? Это потом оказалось известным «Письмом 80-ти» московских писателей, под которым странным образом очутилось более 60 подписей нерусских москвичей. Однако подписей Евтушенко, Радзинского и других героев перестройки не было.

Впрочем, о чем говорить. По свидетельству генерала П.Судоплатова, Евтушенко не остался без чуткого внимания этой службы. По признанию самого поэта, Андропов дал ему свой личный телефон и сказал: «Если что, звоните». И поэт звонил. Был у него телефон и Брежнева, и тоже перезванивались.

А Коржавин-Мандель с 1973 года живет в Америке. Его недавнее 85-летие было отмечено «Новой газетой». Сарнов написал о Коржавине и статью для словаря «Русские писатели XX века», и две книги. У него есть замечательные стихи.

...А кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят...

Но вот что еще вспомнилось. Коржавина забрали ночью из студенческого общежития. При этом Владимир Солоухин, тоже живший в общежитии, на прощанье обнял арестанта. Сарнов уверяет: это по предварительной договоренности с КГБ. Так сказать, выдали лицензию на поцелуй. Поверить в добрый и смелый порыв такие люди просто неспособны.

11 февраля

Оказывается, деревня Лесная, что от нас в пяти километрах, это та самая, где Петр Первый разбил шведов, которые шли на помощь Карлу XII, уже находившемуся под Полтавой. Узнал это из выступления Пономаренко на сессии. Хорошо бы при случае побывать там.

12 февраля

Вчера долго пробыл у Шарова. Варили картошку. Он крепко выпил и охотно рассказывал, как в ту войну воевали с турками. Зашел разговор о том, легко ли убить человека. Очень трудно, говорит, только первый раз, а потом привыкаешь. Сколько и тогда было жестокости! А я подумал, что когда Красная Армия придет в Германию, трудно будет удержать солдат от кровавой мести. Ведь месть эта законна. Люди забудут жалость, имея дело с немцами. Простое и сильное чувство справедливости требует мести.

14 февраля

Опять заступил дежурным по роте. В десятом часу, когда часовые давно были выставлены, прилег соснуть. В десять проснулся. Вижу — все в землянке прислушиваются к страшному крику откуда-то из леса. Даже здесь среди людей от него страшно. Пирожков говорит, что это сыр. Нет, похоже, что человек. Сенченко взял винтовку и пошел на голос. Вот грохнули четыре выстрела. Что это?.. Сенченко вернулся. Оказывается, действительно какой-то смоленский мужик из стройбата. Свихнулся, что ли, или заблудился? Иван отвел его на хутор к бабке.

19 февраля

Давно взял у капитана сборник «Русские поэты». Во время дежурства на РСБ иногда листаю. Вот Баратынский:

Прекрасно лирою своей
Добиться памяти людей.
Служить любви еще прекрасней.
Приятно драться. Но ей-ей,
Друзья, обедать безопасней...

Ну, это смотря где и когда — безопасней. Мы в Моральске как раз обедали, когда нас накрыл артналет.

От Коли Рассохина письмо пришло обратно. С Верой переписку возобновил. Прислала фото. Оно мне понравилось.

21 февраля

РП (ротный пункт), комроты, Михайлин с нашей РСБ, уже в Кульшичах, на том берегу Днепра. Здесь, в Железинке, нас осталось немного и ни одного офицера. Анархия! Свобода! Вчера Козленко и Пирожков напились до чертиков. Часов до двух кричали, ругались. Вано, он дежурный по роте, чуть не подрался с Козленко. А тот как ребенок. «Я, — кричит, — старый революционер, партизан с 18 года, орденоносец!» А в общем-то человек он безвредный и безобидный.

Я вчера выпил грамм 300.

23 февраля, Кульшичи

Деревня на высоком бугре, большая, разбросанная. Если немец нашупает нас тут да пустит авиацию, укрыться тут негде. Как чаще всего бывает, незнакомая деревня кажется неуютной, странной, и жаль прежнего расположения, где оставил частицу жизни. Нам отвели только три дома. Это мало. Неужели опять будем рыть землянки. А лес не близко.

26 февраля

Эти дни строимся. Уже готова землянка для капитана. Сегодня строим кухню. С едой сейчас неважно. Из жиров дают только сало — 43 гр., консервов нет. Вероятно, это объясняется тем, что на нашем участке перешли а наступление, форсировали Днепр, взяли Новый Быхов на западном берегу. Заходил раненый лейтенант. Говорил, что особенно отчаянно дерутся власовцы. Одна деревня три раза переходила из рук в руки и все-таки немцы ее заняли.

Вчера с Колькой Торгашовым ездили в старое расположение. Едешь туда словно к себе домой. Народу здесь мало. Привез им продукты, почту, забрал, что надо было на РП.

На обратном пути нашел на дороге бутылку самогонки. Дар небес! Должно быть первач — очень крепкий и без противного запаха. Распили с Пирожковым после того, как он распяг Ворончика, на котором я ездил.

Все-таки люди великие оптимисты. Ведь все знают, что их ждет, и однако же трудятся, создают, преодолевают трудности и страдания, любят, рожают детей, которых ждет то же. А Батюшков писал:

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию седой Мельхисидек?
Рабом родился человек, рабом в могилу ляжет.
И перед смертию никто ему не скажет,
Зачем он брел долиной горьких слез,
Мечтал, любил, страдал, исчез.

От мыслей о зыбкости всего сущего, вдруг навалившихся, как когда-то в отрочестве, пытаюсь отгородится словами Баратынского:

Не вечный для времен, я вечен для себя...

1 марта, Кульшичи

Ходят слухи, что Финляндия запросила мира. Пожалуй, это вполне возможно. «Гайка оси». С ней у нас счеты особые. Финны на нас злее, чем немцы.

В ожидании томимся бездельем и скучой. И сколько болтовни! Вот Разумовский восхищается тем, как до революции было поставлено дело в публичных домах. Я, говорит, пол-Москвы красных фонарей прошел. Очень сожалеет, что в 1919 году их ликвидировали. Он лодырь, подхалим и дурак.

Но и он не поверил бы, что настанет время и женщин его родины станут продавать в публичные дома всего мира. И это будет называться путинской демократией, главный глашатай которой без конца долдонит: «Наша главная забота — человек. Все для человека!» И мы этого человека знаем.

5 марта, Красный Берег

Деревня большая и не разрушенная. Для нас в этом районе работы по горло. Немецкая авиация действует активно. По ночам над деревней летают «Хейншеля» (давно их не было видно) и побрасывают ящики с гранатами.

В первую ночь как мы тут ночевали, бомбил. Но я с дороги да еще после бани так крепко спал, что ничего не слышал. Только снилось мне, будто Яшка Миронов стреляет из какого-то пистолета с коротким стволов, и звук от выстрела долгий и раскатистый.

Вчера вечером фриц сбросил один ящик на том конце деревни, где РП, второй посередине деревни. Уже темнело, и наблюдать, как летели вверх огни, было даже красиво. Но есть и убитые и раненые.

Сегодня с точек приехали за продуктами. Кто-то сказал, что 60-тонную переправу немец разбил.

По слухам, на наш участок прибыла 65-я армия генерала Батова.

Получил два письма от Нины. Одно большое и такое содержательное, умное. Она не случайно окончила школу с золотой медалью, она талантлива. Я уверен, что если бы ей заниматься какой-нибудь наукой, она добилась бы больших успехов. В другом письме хандрит, скучает, как и я о ней.

8 марта, Красный Берег

Вчера пришло на ум:

Потомок мой, далекий прародителя,
Ты слышишь голос пращура-солдата?
Я говорю с позиций у Днепра
В вечерний час кровавого заката.

Бомбёжками разорванный на части,
На запад волоча кровавый след,
Уходит день и горя, и несчастий,
И радости, и счастья, и побед...

Продолжить? В обоих строфах «кровавый». Так нельзя. Да и размер нарушен.

Встретил студента МАМИ. Костин. Его взяли в армию в октябре 41-го, когда первый раз получил повестку и я. Но когда мы с мамой пришли на призывной пункт в школе у Семеновской площади, и я предъявил паспорт, то сотрудник

военкомата, раскрыв его, воскликнул: «Тебе же нет восемнадцати! А ну, шпарь домой и жди повестки!»

Конечно, приятно было поговорить с человеком, с которым слушали одних и тех же профессоров. По математике — Бессонова, по физике — Бориса Ивановича Котова... И живет он на знакомой Большой Семеновской, где МАМИ.

Сейчас штаб нашей армии в 5-6 км. от передовой. Если бы немец знал, что так близко хотя бы штаб дивизии, он дал бы здесь жизни. Но, видимо, считает, что просто немыслимо, чтобы штаб армии был так близко. Но к нам время от времени бросает и бомбы и снаряды.

Сегодня Женский день. Для девчонок будет праздник и покажут фильм «Радуга».

12 марта

Пришло пополнение из 125-й роты ВНОС.

А позавчера мы оставили деревню Красный берег и принялись в лесу строить свой подземный город. Потребовалась тотальная мобилизация вплоть до писарей. Построили землянку для РП. А еда — одна бульба, и той мало.

Вдруг приказ: кончай стройку, обратно в Красный берег... Сколько мы землицы-то перекопали вот так: только выроем землянки аж загляденье, сколько труда положим, сколько сил, вдруг — бросай, идем вперед! А из Кр. Б., говорят, опять за Днепр в Кульшичи

13 марта

Жуткая история. Во взводе Павлова во время передислокации солдаты пытались застрелить своего командира поста сержанта Поликарпова. Рассказывают невероятные вещи. Их четверо: Богатырев, Шуник, Сметанин, Лавров. Говорят, Поликарпов — унтер-офицер еще царский армии, был очень строг, взыскателен, возможно, и чрезмерно. А тут поводом послужило то, что он не разрешил положить вещмешки на подводу. Стрелял сзади Шуник. Попал в плечо, второй выстрел в голову. Пуля попала в затылок и

вышла между бровями. И Поликарпов обернулся и выхватил винтовку, он перестрелял бы всех, но в винтовке уже не было патронов. Мерзавцы разбежались. А он добрался до взводного поста и сейчас в госпитале. А этих арестовали. Должно быть, Шуника расстреляют.

14 марта, Кульшичи

Дядя Ваня Сморчков, моторист нашей РСБ, поехал в Москву. Мы догнали его в первой деревне за Днепром, в Обидовичах. Там и заночевали. Он на попутной уехал ночью, а мы утром пошли дальше. Погода сырья, иногда дождь. На дорогах непролазная грязь. Идти трудно, ноги мокрые. Да и груз порядочный — винтовки, мешмешки, кое у кого и противогаз. Я свой отдал Яшке Мирнову. Когда идет машина, перед ней волна грязи. Вчера на переправе их скопилось сотни две, и немец время от времени обстреливал переправу.

Сейчас не поймешь, куда мы относимся — к 1-у Белорусскому или к ударной группе Баграмяна.

Все-таки старшина наш трусоват. Вчера, когда немец бросил снаряды на переправу, он готов был в грязь плюхнуться. Может, потому что уже ранен?

Сегодня прошли не больше 14 км. Встали на ночлег уже часа в 4. А дни-то теперь длинные, снега почти нет, весна чувствуется во всем.

Уж сколько месяцев мы на этой Могилевщине, а я все не могу привыкнуть к бедности крестьян. И в этих избах люди живут всю жизнь. Но главное, ведь они хвалят свои места. Каждый кулик...

Вчера получил новые желтые ботинки. Очень во время. Старые совсем развалились.

Когда думаешь о будущем, то невольно пытаешься установить какие-то сроки. Буду я к новому 1945 году дома? Думается, война кончится, но дома я не буду.

18 марта

Была серьезная стычка с л-м Эткиндом, подслушивающим солдат, и ст. л-м Пименовым. Этот гусь П., имея не-

сколько пар, шьет себе новые сапоги и по этой причине запретил сапожнику Устименко ремонтировать солдатскую обувь. Да еще говорит ему: «Ты что каким-то кузькам сапоги шьешь?» Солдаты для него кузьки. Вот подлец! Он хотел взять меня насоком, но я ему сказал пару горячих. Тогда он вздумал критиковать комсомольскую работу. Я отрезал: «Вам в бельэтаже не видно, что происходит в подвале

22 марта

НОЧЛЕГ В ДЕРЕВНЕ

Душный воздух, дым лучины,
Под ногами сор,
Сор на лавках, паутины
По углам узор.
Закоптевые полати,
Черствый хлеб, вода,
Кашель пряхи, плач дитяти...
О, нужда, нужда!
Мыкать горе, век трудиться,
Нищим умереть...
Вот где надо бы учиться
Верить и терпеть.

Это Никитин.

27 марта

Видимо, началось. Идет уже третий день. Правый фланг прорвал оборону немцев и продвигается вперед, а центр застрял в третьей полосе обороны. Небо чистое, весеннее и тревожное. А на земле — зима, снег. Авиация немцев действует активно. На высоте 5—6 тыс. ходят «юнкерсы» и Ме-109. Самолеты оставляют в небе белые полосы, они образуют причудливые узоры. На такой же высоте прошли и наши ястребки. А сейчас на высоте 1,5—2 тыс. пошло штук сорок Пе-2. Как радостно глядеть на наших! Немцы встретили их ожесточенным огнем зениток. Потом они шли обратно еще ниже. Надо думать, дали немцам жару. Веро-

ятно, наступление скоро примет широкий размах. Немцам сейчас не до Белоруссии. Как бы на юге ноги унести. Сообщили, что наши воска вышли к Румынии.

Сегодня я впервые в жизни увидел почти зимой радугу. Как странно и красиво. Говорят, это доброе знамение.

29 марта

Весь день наша авиация действует активно. «Петляковы» летают группами по 20—25 машин, их сопровождают Ла-5. Как видно, решено все-таки прорвать оборону. Погода благоприятна. Редкие высокие облака.

• • • • •
Нина так близка мне, что кажется, будто она часть меня самого, и все, что я пишу ей, она уже знает.

Живешь, и все думаешь, что то, что сейчас, это не главное, оно впереди. А ведь это неверно. Каждый день в жизни важен. Ведь не будет отведено времени для завершения дел. Может быть, это ожидание конца войны?

3 апреля

Второй день буран. Замело снегом все дороги. Машины стоят. Замело и наш колодец. Пробовали вычистить — не выходит. Приходится таять снег. Не помню такой погоды в это время.

6 апреля

Почти в каждом приказе Сталина говорится о дисциплине. Понятно. Советским людям, воспитанным на сознании того, что я равный среди равных, не *untermensch* и не *ubermensch*, трудно привыкать к армейской дисциплине, когда кто-то может тебе приказывать, распоряжаться тобой и т.д.

11 апреля

Вчера было комсомольское собрание. Прошло довольно оживленно, удалось собрать больше $\frac{3}{4}$ комсомольцев. Вопрос: происшествие на посту Поликарпова Доклад де-

лал капитан Ванеев. Выступили 12 человек. И очень убедительно говорил подполковник Рыбаков, нач. отдела ПВО.

А после собрания в доме, где мы размещены — дом большой, добротный — организовали танцы. Было какое-то приподнятое настроение. И в самом деле праздник: освободили Одессу! Взят Джанкой!

15 апреля

Кажется, пришла настоящая весна. Снегу еще много, но солнце уже теплое, ласковое. Кругом тает, тает... Но дороги стали еще хуже: грязь была жидкая, а теперь густая, машины вязнут.

Хочу втянуть в комсомол Саню Баронову! Очень славная девчонка. Деловая, скромная. Поговорил с ней вчера, и она меня удивила. Я думал она всю жизнь благополучно прожила в Ивановской области. Оказывается, родилась где-то в Горьковской. Семья была зажиточная, имели мельницу. В 30 году их раскулачили, сослали в Вятскую область. Первые года жизнь на поселении ссыльных была тяжелая. Жили в бараке, в тесноте. Хлеб пекли с примесью мха. Из их семьи умерли двое. Но со временем жизнь стала налаживаться. Построили дома, школу, клуб. Вся семья работала честно, ударно. В 36 году ее семью первой в поселке восстановили в правах. Как загорелись у нее глаза, когда рассказывала об этом! Потом семья выехала в Иваново. Там родственники купили отцу лошадь, он стал заниматься извозом. Жизнь наладилась. В 39 году она кончила семилетку и пошла работать в хлебопекарню... В последнее время в ней произошел какой-то переворот. Раньше и слышать не хотела о вступлении в комсомол, а теперь хочет вступить.

Говорят, в 108 сд командир артполка подполковник 22-х лет.

22 апреля

Что означает внезапное затишье на фронте? Нетерпение съедает. Но думаю, что к 1 мая все выяснится, Сталин скажет.

27 апреля

У Глафиры Грачевой на днях убили парня. Он служил в морской пехоте 324 сд. А вчера позвонили из зенитного полка Шуста: при обстреле погиб Лешка Казанин, цыган из Бийска, которого послали в этот полк на курсы. Он еще и стриг и брил всех нас. И любил при этом бормотать что-то вроде рекламной зазывалки: «Вот она, вот она, ночью работана, днем продаем. Подходи — подешевело, расхватывали — не берут. Граждане, десять! Только десять! За десять рублей корову не купишь, дом не построишь, ко мне придешь — удовольствие получишь».

Однажды я вдруг вспомнил эту зазывалку на книжной ярмарке в ВВЦ (ВДНХ), где два раза в год всегда принимаю участие в торговле книгами издательства «Алгоритм», уже лет десять издающего мои писания. И, подняв над головой какую-то свою книгу, начал шуметь: «Вот она, вот она, ночью работана!..» Люди смеялись и останавливались у нашего прилавка. Торговля шла неплохо...

На днях подорвался на мине еще сержант Морозов, что прибыл к нам из 125 роты ВНОС. Подорвался на новой мине. Немец много набросал их по дороге в Рябиновку. Глянешь на поле — будто желтые цветы. Взрываются при прикосновении. Морозов поддел ногой — взрыв!

А еще рассказывают, что Дора Карабанова со своим фронтовым мужем каким-то капитаном попали в плен. И теперь немцы разбрасывают листовки о том, как прекрасно живут супруги.

28 апреля

Сегодня нагрянул подполковник Максименко, замначштаба армии по политчасти. Внушительный мужчина. Его первой жертвой оказался я. Потом — военфельдшер Хмелгинин, парторг Ильин, еще кто-то. Меня он больше поучал, чем ругал. «Кого вы принимаете в комсомол? Всех, кто желает. У вас какое образование? Вам надо переучиваться. У вас теория не связана с практикой...» Ну, дал звону.

29 апреля

— Товарищи, мы заслушали суровый, но справедливый приговор. Этот человек нанес ущерб Красной Армии. Он нарушил присягу советского воина. Смертью карает народ нарушителя присяги. Русский сражается против немца, русский защищает Россию. А этот человек поднял руку на своего сражающегося собрата. Он опаснее немца. Немца мы видим перед собой, его мы встречаем грудью, а этот нанес удар в спину. Смертью карает народ изменников родины. У нас нет жалости к предателям.

2 мая

То, что записал 29-го, я должен был сказать перед строем после зачтения приговора Лаврову. 29-го утром капитан Ванеев вызвал меня и велел подготовиться выступить. В 11 часов его должны были расстрелять.

В 10 нас построили с оружием, было человек 50. Пришла еще рота охраны. Вышли из Кульшичей на склон холма. Там нас построили углом. Миронов и Попов привели Лаврова. Он был бледный, заросший, глаза безумные, остановившиеся. Капитан сказал, зачем нас привели и предоставил слово мне. Я волновался. Пока говорил, Лавров стоял спиной к строю метрах в ста. Потом его подвели к яме. Майор юстиции зачитал приговор. Закончил он так: «Товарищ комендант, приведите приговор в исполнение». Тот повернулся Лаврова лицом к яме (руки у него были связаны), выхватил из-за пазухи пистолет и выстрелил в упор в затылок. Лавров повалился назад, комендант выстрелил еще раз. Из выходной раны около глаза хлынула кровь. Труп спихнули в яму, скомандовали : «Разводите людей!». Человека три остались закапывать. Ничего он не сказал, не крикнул, умер молча. Яшка Миронов рассказывал, что когда его везли из Уречья, он попросил покурить.

Не дай бог хоть еще раз видеть такое. Ну, а что делать, если стреляют в спину.

Видимо, как показало следствие, стрелял не Шуник, а Лавров и он самый старший из них. Шуника и всех остальных отправили в штрафную роту.

6 мая

3 мая было партийно-комсомольское собрание. Вопросы такие: 1. Доклад капитана Ванеева о приказе Сталина №70. 2. О третьем военном займе. Он свел свой доклад к оглашению приказа и разъяснению некоторых моментов. По второму вопросу — партог Ильин. А сейчас находимся вместе с капитаном на взводном посту Павлова. Мы с ним намечали, что рядовые будут подписываться на 100 рублей, а начальник постов — на 200. Но дело превзошло наши ожидания: ниже 200 не подписывались. Модунов — на 300, Распопов и Прасол — на 500. Я вначале, исходя из старых представлений, подписался было на 200, но потом еще на 200.

Накормили нас блинами, угостили самогонкой и мы тронулись на пост Райса. Там подписались еще лучше. Сам Райс — на 550, остальные на 300. Часов в 11 докладываем в роту: подписались на 9 тысяч. В честь удачной подписки выпили и опять ели традиционные блины. На другой день пост Рожкова подписался на 2100 рублей.

7 мая

Нахожусь на посту Райса. Вчера вечером долго и интересно говорили. Об этой войне: будет ли она последней? О переломе, который война внесла во всю жизнь. Он говорил, что мы кончали десятилетку с розовым взглядом на жизнь. Но уже в школе такой взгляд начал у него меняться. Как это совместить, говорит, — у нас в младших классах была молодая привлекательная учительница, общественница, словом, образцовая деятельница в масштабе школы. А с другой стороны, она приглашала к себе домой учеников старших классов и сожительствовала с ними. В армии его поразило воровство интендантов и старшин.

11 мая

9-го вечером пришел в Долгий Мок на пост Распопова и Прасола. Мне везет: всегда, как приду на пост поближе к передовой, так обязательно начнется обстрел дерев-

ни, где стоит пост. Так было у Берковича, когда рота стояла в Журавле, а взвод Павлова — в Теляшах. (Там я впервые увидел немца на виселице). Так и здесь. Снаряды падали недалеко каждые 3—5 минуты. Пришлось идти на улицу и лезть в открытые щели. Снаряды стали ложиться ближе. Наконец, один снаряд угодил в дом против нашего. Когда немного утихло, я сходил туда. На полу валялся убитая девушка (местная, с 23 года) и красноармеец лет 25. Тела их были иссечены осколками. Над телом девушки рыдала ее 16-летняя сестренка. Из документов парня следовало, что он из 110 сд, с марта — кандидат партии. В кармане медаль «За отвагу».

Мы ожидали, что ночью немец усилит огонь, но не случилось, хотя и стреляли. Я только один раз выходил в щель, когда зажигательный снаряд запалил дом неподалеку. Не выспался. В пять часов вместе с Казаковым и Овчаренко уехали на подводе в роту.

Начали строительство нового города в лесу недалеко от маленькой деревеньки Пчельня. Неудобно, что мне не пришлось работать на строительстве. Ой, да еще всем хватит...

15 мая

И твои полуоткрыты очи,
Думаешь о ком-то о другом.
Я и сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем дорогом.
Этот пыл не называй любовью.
Между нами вспыльчивая связь.
Я случайно встретился с тобою,
Улыбнусь, спокойно разойдясь.
Но и ты пойдешь своей дорогой
Распыхать безрадостные дни.
Только нецелованных не трогай,
Только не горевших не мани.
И когда с другим по переулку
Ты пойдешь, болтая про любовь,
Может быть. я выйду на прогулку

И с тобою встретимся мы вновь.
Ты прижмешь к другому ближе плечи,
Голову опустишь тихо вниз.
Ты мне скажешь: «Мистер, добрый вечер...»
Я отвечу: «Добрый вечер, мисс...»
И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь —
Кто любил, уже любить не может,
Кто горел, того уж не зажжешь.

Ума не приложу, как это стихотворение Есенина попало на фронте в дневник. Книгу поэта я приобрел только в 48 году, когда впервые после бухаринского погрома на Первом съезде писателе в 1934 году издали его сборник. Я подарил его Эльзе Бабкиной, преподавательнице немецкого языка из Иркутска, с которой оказался в одной группе туристов в путешествии по Кавказу. Эльза мне нравилась. Она много раз приезжала в Москву.

По пути с поста Кириенки на пост Берковича побывал в Лесной. Осмотрел там церковь и памятник в честь победы Петра над шведами в 1708 году, «матери Полтавской победы», как значится тут же на доске, установленной на каменном постаменте 28 сентября 1908 года. Церковь немцы превратили в сортир. Внутри стены вьется лестница. Я поднялся по ней на площадку. С нее видно далеко.

18 мая

Адаев рассказал, что приказом Болдина капитан Ванеев снят. Полковнику Горбarenко объявлен выговор. Его возлюбленная военврач Хилай лишена ордена Красной Звезды и куда-то отправлена из роты. А помпохоза Анисимова отдали под трибунал. Жалко только капитана. Прекрасный человек. Он из Семенова в Горьковской области. Однажды после перехода верст в 40 я имел неосторожность посетовать ему, что ноги ужасно натер. Он сказал: «За это полагается наряд вне очереди — не умеете портняки заверты-

вать». Умный, деликатный. Он пострадал из-за своей чрезмерной мягкости и доверчивости. Они-то его и подвели. Он по натуре философ, мыслитель, а не офицер. На многие безобразия он смотрел как на неизбежное, на воровство, например, на блядство кое-кого из офицеров.

К Берковичу пришел уже вечером. Вечер был хороший, погожий. Деревенские мальчишки ловили майских жуков, которых здесь называют хрущами. Ну, да и у Шевченко, кажется так:

Садок вишневый биля хаты,
Хрущи над вишнями гудуть...

Генерал-полковник Болдин Иван Васильевич (1892—1965) с ноября 1941 года под Калугой до февраля 1945-го в Восточной Пруссии командовал нашей 50-й армией. На фронте я его, конечно, не встречал. Куда там! Как говорил Твардовский,

Генерал один на двадцать,
Двадцать пять, а может статься,
И на тридцать верст вокруг...

Но однажды в 1958 году я встретил его в «Литературной газете», где тогда работал, и конечно, обрадовался. Он писал воспоминаниями и, видимо, была нужда встретиться с кем-то из литераторов. Генерал меня не узнал...

30 мая

Перебрались в лес, в землянки. Печей нет, поэтому по ночам холодно и комары проклятые житья не дают.

Вместо Хилай пришла новая военфельдшер лет 28-ми. Ничего особенного, кроме больших черных глаз.

Три дня меня терзал подполковник Диденко из политотдела, змий в образе человека. Прислан, зануда, проверять нашу комсомольскую работу. Заседали, как на Тегеранской конференции Большая тройка — он, парторг

Ильин и я. Сто раз расспрашивал об одном и том же: о воровстве, о сожительстве... Ну да, есть это, есть. Но вот вчера был армейский гинеколог — энергичный, симпатичный лысый еврей, майор медицинской службы.

У нас довольно много телефонисток и радиосток из Москвы, из Ивановской и Рязанской областей. Они чуть ли не каждый месяц проходят медицинское освидетельствование. Врач остался очень доволен нашими девчатами, просто восхищен. Все здоровые, сильные, ни одной беременной. Каков процент девиц, не знаю, но прошлый раз их было 80%. А ведь на парткомиссии, на которой наш капитан бы перед этим, его изображали чуть ли не сутенером.

25-го было комсомольское собрание. Приняли четверых, в том числе Саню Баронову и Засимова. Сейчас идем в политотдел, где им вручат билеты.

• • • • •
Если вы точно знаете, что хотите сказать, вы это хорошо скажете (Флобер).

Кто неясно говорит, тот и думает путано (Шопенгауэр).

У Симонова были во время войны стихи:

На час запомнив имена, —
Здесь память долгой не бывает —
Мужчины говорят: «Война!»
И наспех женщин обнимают.

Ну да, бывало и так. Но вот вам цифра — 80 процентов после трех лет войны, а им 20—25 лет.

6 июня, севернее Новой Слободы

Великий день мировой истории! Никогда люди не забудут 7 ноября, 22 июня, 6 июня... Как не забудут и года 1066, 1812, 1789, 1917, 1941, 1944. Меня охватил восторг, когда услышал, что союзники наконец высадились во Франции. 11 тысяч самолетов, 4 тысячи судов... В тылу немцев выброшен десант... Удар в самое сердце Атлантическо-

го вала. Я предложил майору устроить митинг. Но он удер-жал: «Погоди. Надо ждать указаний». Здесь сердце говорит, что надо делать, а он будет ждать указаний политотдела. Ведь мы ждали этот день почти три года. Помню, мне по-койный Ленька Гиндин писал в 42-м с фронта после Дьеп-па: «Мы тут обсуждаем, возможно ли осуществить десант в октябре». Как мы ждали летом 42-го! Пришлось ждать еще два года. Мы не устояли до этого дня, мы до него дошли.

Молодцы союзники! Хочется от всей души сказать спасибо. Все-такие они держат слово. Интересно, что думает, что делает сейчас Гитлер. Идет возмездие за комедию Компьена, за Ковентри, за убийство английских детей, за Смоленщину и Ленинград, за все наши страдания и горе.

Эта операция не может превратиться в гигантское Касино. Союзники будут успешно наступать. Ведь такая мощь техники, свежих армий, резерва. Россия вздохнет легче. Да, можно твердо надеяться, что война кончится в этом году. (Первый час ночи.)

А о городе с таким необычным именем тот же Симонов тогда написал шутливую «Сказку о городе Пропойске». Она начинается так:

Когда от войны мы устанем,
От грома, от пушек, от войск,
С друзьями мы денег достанем
И выедем в город Пропойск.
Должно быть, название это
Недаром Пропойску дано.
Должно быть, и зиму и лето
Там пьют беспробудно вино...

Увы, в 44 году там не пили вино, там лилась кровь.

12 июня

Только что прошел дождь, отгрохотал гром, и снова над посвежевшей зеленью луга, пажитей, леса — солн-

це! Мокрая, вымытая зелень блестит. Радостно и легко дышится. И не верится, что за полчаса до этого было пыльно и душно. Глядя на эту смеющуюся мокрую зелень, я почему-то вспоминаю Нину. Как я однажды целовал ее мокрую, не успевшую утереться после умывания. Она не давалась, отталкивала: «Отстань, Бушев!» И смеялась. И была так хороша. Ресницы мокрые, черные, глаза казались больше, чем обычно. И волосы вокруг лба, за ушами — мокрые, вьющиеся. И я сам стал весь мокрым. Потом мы вместе вытирались полотенцем. Я так по ней тоскую в последнее время.

В последнем письме она пишет, что Галя (моя сестра) мечтает о том, как будем справлять нашу свадьбу.

14 июня

Вот и ушел от нас капитан Ванеев. Проститься с ним я не смог — стоял на посту. Говорят, когда он садился в машину, едва сдерживал слезы. Он был у нас больше 9 месяцев. Ст. л-т Ищенко до него — 8. Вместо него прислали капитана Елсакова. Человек, видно, простой. Работал где-то в Кузнецке на судостроительном заводе. Образование,думаю, не выше 7 классов. У меня с ним складываются, вроде, хорошие отношения. Эткинд так и бегает за ним.

В последнее время я ругаюсь с начальством. Майор Львов из отдела снабжения просто вынужден был попросить меня выйти.

Сегодня началось наступление на Карельском перешейке.

15 июня

Утром взял в руки «Фронтовую правду» и не поверил своим глазам: с первой страницы смотрит улыбаясь молодой капитан артиллерист. И это не кто иной, а Валька Шлыгин из нашего класса, которого мы почему-то звали Шлиссен. У него ордена Отечественной войны и Красной Звезды. Я написал в редакцию газеты, прошу адрес. Газету послал Нине.

Если будут у нас в этом месяце посыпать в училище, я, пожалуй, поеду. Мне трудно быть рядовым. Наука повиноваться трудная наука. Я не владею ей.

Мама прислала письмо. Пишет: «Мы с тобой должны быть награждены медалью «За оборону Москвы».

Валя не вернулся с войны... Позже я помянул его и всех одноклассников, оставшихся там — Толю Федотова, Игоря Зайцева, Фридриха Бука, Володю Семенова, Леню Гиндину, Гришу Андрусова, Костю Рейнвettера, Петю Скотникова, Леву Давыдова...

Сорок четвертый. Польша. Висла.
Мне двадцать лет. И как Вийон,
Я жизнь люблю сильнее смысла
И назначения ее.

Как все, хотел в живых остаться,
Без костылей прийти с войны,
Хотя не трудно догадаться,
Я знать еще не мог цены

Любви, испитой полным кубком,
Отцовства радостям святым,
Труду, смиренью и уступкам,
Ветвям черемухи густым,

Неторопливым наслаждениям
Несспешного теченья дум,
Случайным нежным песнопеньям,
Тропе, что выбрал наобум...

Потом лишь это все изведав,
Я оценить и смог вполне,
Что клали на алтарь победы
Ровесники на той войне.

18 июня

Новый командир роты отличается от Ванеева как земля от неба. Много общего с первым комроты Ищенко.

Интересно, хватит ли мне этой тетради до конца войны. Думаю хватит.

Сейчас обе стороны начали вводить новые виды оружия. Немцы — танкетки-торпеды и самолеты-снаряды, союзники Бойинг-29. Эта машина поражает грандиозностью и скорость, надо думать, км. 800.

«Война без ненависти нечто постыдное, как сожительство без любви» (Эренбург). Всякая война постыдна, кроме войны в защиту родины.

В Витебске окружили 5 дивизий.

24 июня

На днях военфельдшер поругалась со ст. лей-м Пименовым. Это было у Шарова в канцелярии. Когда он вышел, она начала над ним смеяться на еврейский манер: «Разве я видала когда-нибудь такого большого начальника. Задрал ноги кверху и к нему не подходи, я — старший лейтенант!» И дальше в том же насмешливом духе. Вдруг открывается дверь и на пороге он — Пименов. «Бушин, подите сюда». Я вышел.

«Все, что вы сейчас слышали, напишите и дайте мне». Оказывается, он стоял за дверью и подслушивал. «Нет, я писать не буду». — «Вы же комсорг, вы обязаны!» — «Никаких рапортов я вам писать не буду». Так и ушел он, не солено хлебавши.

25 июня

Сегодня, наконец, и в сводке говорится о наступлении севернее Чаусы. Это наступает наш правый сосед — 49-я армия. Левый сосед — 3-я армия тоже наступает. Видимо, нам предстоит быть дном мешка. Витебск уже в мешке, он завязывается с запада. Одним словом, началось. А мы еще стоим.

26 июня, Новая Слобода, взводный пост Гудкова

Вчера были взяты Чаусы. Ночью они горели. Во вчерашнем приказе Сталина отмечаются как отличившиеся

войска генералов Гришина и Болдина. Кажется, это первое упоминание нашей армии в приказах Сталина. Как радостно было узнать об этом. А в Витебске окружено 5 дивизий.

28 июня, деревня Смолка на шоссе

Пропойск — Могилев, 20 км от Могилева.

Голодны, как волки. Поесть бы да поспать, а проклятые комары кончились. Могилев уже взят. Захвачены два немецких генерала.

1 июля, деревня Пешенья

Около деревни остановились тяжелые танки. Шумные веселые танкисты расположились обедать. Из одного танка вылез целый духовой оркестр. Играют какой-то трогательный вальс. Сбежались деревенские. Смотрят с любопытством и восторгом. Танцуют...

Наша полуторка мчится полем. Женщина радостная, запыхавшаяся бежит за машиной и бросает нам в кузов ковригу хлеба. Хлеб хороший, с хрустящей корочкой... Сушкин плачет...

В церкви, окруженнной народом, четыре пленных фрица. Наш пьяный солдат лезет к ним целоваться. Фрицы угодливо целуют небритые щеки солдата. «Дурак ты», — говорит солдат длинному худому фрицу в лаптях. «Nicht дурак» — отвечает тот и в пояснение поднимет руки вверх...

По дороге идет колонна пленных, человек 35—40, и что-то поют...

Елсаков не способен руководить ротой. Два раза полк. Горбаренко ругал его при всех. В Сидоровичах досталось и мне: «Комсорг, почему нет связи?» — «Тов. полковник, об этом командование знает» — «А вы, комсомольцы, для чего тут? В пехоту захотели? Я могу устроить это удовольствие». Смех и грех. С комсорга связь спрашивает.

3 июля

Вчера купались в Друте, а сегодня пьем воду из Березины... Немцы бегут панически. Дороги неважные, на пере-

правах заторы, а иногда переправы приходится делать самим. Много распухших трупов лошадей и зловонных фрицев. Беженцы, беженцы. Большинство деревень целы. Одна хозяйка вчера нас покормила бульбой с квасом и хлебом.

За день всеми правдами и неправдами дали километров 80.

Мы шли крутым заросшим берегом Ресты, три тезки — Сушкин, Лобунец и я. Сушкин сорвал цвет боярышника, долго его нюхал и сказал: «Вот так же пахнет девушка»...

Деревни начались большие, красивые, уютные. В избах порядок и чистота. Чистые кровати, скатерти. Сожжено сравнительно мало...

5 июля. Дер. Моторово, 25 км от Минска

Жители встречают приветливо. Рассказывают, как жили при немцах, жалуются, плачут, проклинают...

Я никогда не видел такого количества техники. Тысячи машин, тягачей — и наших, и немецких, и союзников.

Немецкий генерал Бармлер приветствует наших солдат. Запоздалое рыцарство...

На шоссе стоит старая женщина и сквозь слезы смотрит на нас. Ее сын шесть лет как ушел в армию....

У переправы через Березину окружили толпу пленных. Они в страхе заискивают. Какой-то сержант, видно, прошедший огни и воды, трогает фрица за плечо: «Вы, сукины дети, зачем же вы ребятишек убиваете, а?» и показывает рукой ниже пояса.

7 июля. Западнее дер. Озёры

В лесах, во ржи бродят группы немцев. Машины теперь ездят с пулеметами, у тех, кто в кузове — наготове винтовки или автоматы. Группировки немцев бывают по 10—15 тысяч. Их уничтожают как крыс. И большинство деморализованы. Один наш боец ведет 30—40 пленных.

Деревни начались большие, красивые, уютные. В избах порядок и чистота.

Чистые кровати, скатерти. Сожжено сравнительно мало...

8 июля. Негорелое, 10 км до старой границы

Округа кишит немцами разбитых частей. Они всюду — в лесу, в кустах, во ржи... Спать хочу, спать, спал не больше двух часов... Вчера нам пришлось занимать оборону. Шальная орда разбитых и обезумевших немцев сквозь лес, стреляя на ходу, перла на нас, но метрах в ста почему-то свернула вправо. А если бы не свернули — растоптали. Я испугался только вначале, когда не мог найти куда-то за-пропастившуюся винтовку, а как только нашел — как бром принял. Спать, спать...

9 июля. Дер. Анталезы, уже за старой границей

Жара страшная. Все тонет в облаках белой пыли. Вдыхаешь этот воздух — словно затягиваешься крепкой махоркой. Лес по бокам дороги белый, как зимой.

Ночь была беспокойной. Хейнкеля-111 на бреющем полете обстреливали село.

11 июля. Новогрудок, Белоруссия

Интересно наблюдать жизнь этих маленьких местечек, городков. Советская власть была тут меньше двух лет. Частное предпринимательство. Много всяких магазинчиков, ресторанов. Комфортабельно обставленные особнячки с водопроводом, электричеством, ванной. Объявления всюду на белорусском и немецком. Мы расположились в замечательном двухэтажном особнячке. Остатки роскошной обстановки. Кафельные печи, все удобства. Но у меня какое-то недобroe предчувствие.

Зашли в аптеку. Продавец никак не хочет дать без денег женщине для больного ребенка лекарство, которое она просит. Требует 5 рублей. Я даю три. «Спасибо, пан, спасибо!»... А сколько здесь мужчин, которые могли бы быть на фронте.

13 июля. Щучин, 65 км от Гродно

Когда сейчас смотришь на смерть, какой она кажется досадной и омерзительной. Вот хоронят солдата, убитого в бою на дороге Щучин — Гродно... Окруженные немцы ста-

раются пробиться на запад. Наклали их в деревушке неисчислимо.

17 июля. 30 км от Гродно

Три недели назад мы были дальше других фронтов от границы. Теперь до черной земли Германии осталось не сколько десятков километров, от Гродно — 80. Начинается Неметчина. Трудно высказать чувства, которые овладевают при этой мысли... Вчера опять попалась навстречу колонна пленных, их же сейчас тысячи и тысячи. Я обратился к одному: «*Wir gehen nach Deutschland!*» (Мы идем в Германию). Он сокрушенно покачал головой: «*Ja, ja, und wir gehen nach Rusland*».

Вчера в «Красноармейской правде» был снимок: Болдин допрашивает генерал-лейтенанта Миллера, сдавшегося в плен.

22 июля. Деревушка под Гродно, лес

Вот уже двое суток стоит беспрерывный гул моторов. Это «Илюшины» в сопровождении Ла-5 идут на запад и обратно. Немец занял на том берегу очень удобную позицию...

Было совершено покушение на Гитлера. Сообщают о столкновении эсэсовцев с войсками. Не начало ли это внутреннего краха?

В роте опять перемены. Елсаков, как и следовало ожидать, долго не просидел. Вчера сдал дела Павлову, самому уважаемому в роте взводному командиру. Он справится с делом.

Лес, где мы обосновались, замечательный, смешанный, пропасть черники.

24 июля

Ходят слухи об аресте Гитлера. Что ж, неудивительно, если так.

В последние дни снятся какие-то невероятные сны. Приснился Маяковский с какой-то женщиной, бледный, почти призрачный, совершенно не схожий с портретами. Они сидели за столом и молчали.

Несколько раз снилось, что меня расстреливали. Но во сне я понял, что это сон, и от радости проснулся. Неужели это отзыв расстрела Лаврова?

25 июля. Гродно

Большинство здесь поляки. Все рассказывают и убеждают, что они нас ненавидят, но я не заметил этого. После немцев, по-моему, они поняли, что такое Красная Армия. Но вот Якушев встретил одну знакомую, которая живет здесь с 1940 года. Та рассказывает, что поляки действительно ненавидели их. Русские вынуждены были побираться и побирались только в белорусских деревнях.

27 июля. Новый Двур.

Старая полька говорит мне: «Это хорошо, что Гитлера не убили» — «Почему?» — «Это была бы для него слишком легкая смерть».

В Гродно мы ночевали у одной панночки семнадцати лет. Живая, веселая, миловидная. Мать ее куда-то в этот день уехала, и она осталась за хозяйку. Говорить с ней, слышать то и дело такое милое «Ну?» было одно удовольствие. Ст. лейт. Пименов как раз принес газету с картой линии Керзона. Как она обрадовалась, когда увидела, что Гродно по эту сторону линии! Спать постелила нам все свежее, только не выспались мы: она очень долго читала нам по-польски. Между прочим, у поляков тут очень популярна Ванда Василевская.

В Витебске окружили 5 дивизий. Еще два-три марша, и мы в Германии.

31 июля

Нина прислала новую фотографию. Как она хороша! На старой фотографии в ее красоте еще что-то незавершенное, почти детское. А теперь это красота молодой женщины. У какого-то грузина есть такие строки в переводе, кажется, Тихонова:

Мы прекраснейшим только то зовем,
Что созревшей силой отмечено —
Виноград стеной, или река весной,
Или нив налив, или женщина.

Это о ней.

Все-таки жаль, что я не старше ее года на 3—4, а даже немного моложе. Ведь если я скоро вернусь благополучно, что ж будет? Она учится на пятом курсе, а я поступлю только на первый. И ведь мы поженимся. И что же? Жена — инженер, а муж — студент младших курсов.

1 августа

Древняя старушка бродит по нашему расположению, подходит к бойцам, заглядывает в лица.

— Бабушка, что вам здесь надо?

— Да я, сынок, российская, из Калининской области. Смотрю, нет ли здесь моего сына или знакомых кого...

Она верит, что может найти своего сына, которого не видела лет пять, в какой-то незнакомой случайной части. Как сильна вера материнского сердца!

Начинаются Августовские леса.

У границы своей берлоги немцы дерутся ожесточенно.

3 августа

Когда стою ночью часовым, на ум идут стихи. За два наряда сочинил «Балладу о бочонке». В основу положил рассказ капитана Ванеева.

Под натиском несметных сил
Оставив рубежи,
Наш полк с боями отходил
По полю спелой ржи.

Прижаты были мы к реке
На правом берегу.
Винтовка верная в руке
Да ненависть к врагу.

И кровью вспенилась река—
Таков был их урон.
Но и от нашего полка
Остался батальон...

Потом допишу.

А в роте опять перемены. Пришел новый командир капитан Требух, высокий носатый рябой украинец лет 35-ти. Довольно приятный человек. Говорит не торопясь, вдумчиво. Сразу заинтересовался комсомольской работой. Был с ним на нескольких постах. Человек веселый, имеет Красную Зв. и медаль «ЗБЗ» . т.

4 августа. 13 км юго-западнее Августова, лес
Лес хороший, строевой, много брусники.
Идет бой за Августов. «Катюши» играют почти рядом.
В небе ревет авиация.

Вчера были с Арсентьевым в Гродно. Отвозили бак с бензином для машины, которую наши подобрали вместе с шофером.

Жизнь в городе налаживается, работают хлебопекарни, бани, парикмахерские. Всюду ходят партизаны с медалями.

Васька Бредихин из 3-го взвода украл у хозяина, у которого мы сушились, ведро с молоком. Я предложил, чтобы он вернулся, отдал ведро, уплатил за молоко и извинился. Так он и сделал, гад.

До Германии 30 километров. Над головой ревет авиация, артиллеристы уже бьют по немецкой земле.

6 августа

Вчера прошел ложный слух о взятии Варшавы.
За Августов немцы дерутся отчаянно. Канал Осовец — Августов преграждает нам путь. Немцы взорвали плотину. Вода разлилась метров на 500—800. Пехота на западном берегу канала, но технику переправить не удается. Каково ей там, матушке.

Даже мы, современники этих дней и событий, со временем будем удивляться их величию. Каждый день события грандиозной важности. Сегодня мы объявили войну Болгарии, взяли несколько городов Румынии, американцы освободили Антверпен, вступили в Люксембург, финны снова заговорили о мире. Что думают сегодня турки, глядя на болгар, которым не удалось отсидеться за нейтралитетом?

8 августа

Вчера продвинулись к юго-востоку. Стоим в дубраве около дер. Ялувка. Лес хороший, сухой, много малины, она уже перезрела.

Какая странная интонация речи у поляков, особенно у женщин. Не могу забыть, как трогательно Женя говорила «Ну?».

10 августа

Сплошной гул — несколько часов идет артподготовка. Иногда выделяется какое-нибудь особенно басистое орудие. Это слышно уже в Германии. Лишь бы войти туда. Среди этих паскудных тварей начнется паника. Каждый будет спасать свою шкуру. На партизанскую войну они не способны. Говорят, они построили здесь шесть линий обороны. Даже прекратили уборку урожая — все мобилизованы на строительство! Поздно, фрицы, поздно. Не могли удержать, когда мы были почти за две тысячи верст отсюда, не удержат и теперь. Думаю, это наступление будет последним рывком к разгрому и это последняя артподготовка, которую мы слышим. Лишь бы войти...

11 августа

Вчера было комсомольское собрание. По оживленности оно напоминало лучшие школьные времена. Приняли в комсомол Володьку Лобунца и обсудили состояние дисциплины...

Сейчас меня прервали бомбежка и обстрел. Ил-15 своих бомбил. Сдурали, что ли? И вчера два раза бомбили своих. Зайцев получил медаль, в этот же день мы выдали ему комсомольский билет.

Сплошной гул — идет артподготовка. Иногда выделяется какое-нибудь особенно басистое орудие. Это слышно уже в Германии.

14 августа

Немец стал сильно минировать дороги, по которым отступает, почти как в Жиздре. И кое-кто попадается. В зенитном полку Шуста одна батарея потеряла трех человек. Какой-то дурак сапер возился у дороги с противотанковой, а рядом лежало еще шесть таких. Мина взорвалась у него в руках и сдетонировали остальные, а батарея — рядом. И Кольку Незнамова, шофера, с которым мы недавно отвезли подполковника Рыбакова, — осколком в голову. Он сидел через дорогу. С 18 года парень. А вчера подорвался Шевчук. Он ехал верхом и уступил дорогу машине, чуть сошел в сторону, а она тут и есть. Лошади вырвало все внутренности, Шевчук оглох и не может говорить, но рассудок не потерял. Еще повезло, что мина противопехотная. Он показал рукой, чтобы дали бумагу и карандаш. Видно, подумал, что его хотят отправить в госпиталь. И написал: «Я пойду с вами». Сегодня уже немного отошел: говорит нормально, но недослышишт.

16 августа

Вчера было партсобрание. Присутствовал ген.-м. Васильев, командующий артиллерией и полк. Горбаренко. Старшину исключили из партии и сняли с должности, на его место назначили парторгра Ильина.

Сегодня три года со дня формирования нашей армии. Издан специальный приказ за подписью Болдина, г.-м. Карамышева, полк. Рассадина и нач. штаба г.-м. Брилева. В приказе за взятие Осовца отмечены войска полк. Тейковцева (дядя Саша), нач. связи армии, т.е. и мы тоже.

22 августа

Адаев рассказывает, что у них, удмуртов, молодожены три первых ночи спят в амбаре, если даже стоит лютый мороз, и все это время муж не должен трогать жену. Но я, говорит, и одной ночи не выдержал.

23 августа

Старшину Ильина разжаловали, перед строем сняли с него погоны и отправили на один месяц в штрафную роту. Он виноват, но все-таки жаль его.

Да, это случится когда-то.
(Дай бог, чтобы в этом году!).
Усталой походкой солдата
Я к двери твоей подойду.
За годы тревог и разлуки,
Что верности силу дают,
Мне будут наградою руки,
Обившие шею мою.

Белорусская операция «Багратион», разработанная в основном К.К.Рокоссовским, началась 23 июня наступлением против группы армий «Центр» и завершилась 29 августа 1944 года. В ней принимали участие войска четырех фронтов — 1-го Прибалтийского (генерал армии И.Х.Баграмян), 3-го Белорусского (генерал армии И.Д.Черняховский), 2-го Белорусского (генерал армии Г.Ф.Захаров) и 1-го Белорусского (маршал К.К.Рокоссовский). Это 168 пехотных дивизий, 12 танковых и механизированных корпусов, 20 бригад и 7 укрепрайонов, а также Днепровская военная флотилия и 1-я армия Войска Польского. Общая численность личного состава 2 млн. 300 тыс. человек. Наземные войска поддерживала авиация 3-й, 1-й, 4-й, 6-й и 16-й воздушных армий и авиация дальнего действия (маршал авиации А.Е.Голованов). Наша 50-я армия действовала в составе 2-го Белорусского. Войска Красной Армии окружили и уничтожили вражеские силы западнее Витебска (5 дивизий), в районе Бобруйска (6 дивизий), под Минском (4-я и 9-я армии — около 100 тыс. человек). Всего было ликвидировано 17 дивизий и 3 бригады, а 50 дивизий врага потеряли более половины состава. В результате операции были освобождены вся Белоруссия, часть Литвы и Латвии. Мы вступили на территорию Польши и вышли к границе Восточной Пруссии.

сии. Этот великая победа стоила нам 178 707 жизней, что составляет 7,6% от общего состава наших войск, и 587 308 раненых. Всего это 765 815 (Г.Ф.Кривошеев и др. Великая Отечественная война без грифа секретности. Книга потерь. М., Вече. С.144—147).

18 сентября

Наступают холода. Ночью уже трудно уснуть. Особено холодно стоять на посту. А стоять приходится через день — нет людей. Очень холодно по утрам. Прижмемся друг к другу спинами с начхимом Вано, вроде тепло. Наконец решили строить общий блиндаж и сегодня уже строили. А капитану уже готова замечательная землянка.

Крепко поругался со старшиной. Он выдает бойцам поношенное белье, а новое — тому, кто нравится и нужен.

Несколько человек в роте награждены. Ну, мне-то черта с два... Не уживаюсь я с нынешним начальством. Все вспоминаю Ванеева.

Я был несправедлив к начальству: получил же две солдатские медали — «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Союзники уже в Германии. Немцы нас боятся в сто раз сильней, чем их, и сделают все, чтобы не пустить нас к себе. Вероятно, грандиозные бои идут за Варшаву. По сегодняшней сводке сбито 110 самолетов, уничтожено 130 танков

Убит Тельман. 11 лет сидел и не дождался конца, который сейчас уже близок.

30 сентября

Утром вернулся из взвода Павлова. Побывал на всех постах. Когда был у Берковича, к нему приехал брат, лейтенант-самоходчик. Замечательный парень. Нагрянул среди ночи, поднял нас, выставил бутылку водки, сало, консервы — и пошел у нас пир горой. Он рассказал, что на днях немцы большими силами предприняли контрнаступление, перешли Нарев, но назад никто не ушел.

Гудков уверял Берковича, будто в 81ск зачитывался приказ всему личному составу о том, что мы вступаем на германскую территорию не как освободители, а как мстители, что юрисдикция упраздняется, каждому солдату и офицеру дано право судить. Будто за каждого убитого советского воина будет расстреливаться 100 немцев. Не знаю, что и думать обо всем этом. Если правда, то, очевидно, вскоре подтвердится.

Разумеется, все это было вздором. Но примечательно, что такой слух родился — так велика была боль от всех зверств, учиненных немцами на нашей земле.

2 октября

Ну и дежурство по роте выпало мне. Ст. серж. Ульянов где-то выпил и нагрубил сперва Пименову, потом капитану Требуху. Ему и пришлось вязать его. А мне приказано посадить его на губу. Посадили почти силой. Он не хотел снимать ни ремня, ни погон. Только сегодня утром я уговорил его сдать то и другое. Капитан объявил ему трое суток строгого. Хоть он и не велел сегодня давать ему обедать, но я сейчас его покормил. Не переношу я такие вещи.

Прибыло еще несколько девчят, почти все украинки. Среди них есть цветочки с довольно резким запахом. Вот Шурочка Радченко. Коля Клоков играет на гармошке, а она поет частушки такого рода:

Я бывало всем давала, всем давала на току.
Не подумай что иное — на цыгарку табаку.

Поет тихим безразличным голосом, словно не понимая о чем. В лице еще много детского. На вид ей кажется не больше 16—17 лет. Курит.

Опять осень. Желтеют липы, клены, тополя, поспела брусника, в воздухе нити паутины. Последняя осень.

Черчиль утверждает, что потребуется еще несколько месяцев 1945 года. До конца этого осталось три, срок не-

малый. Я продолжаю надеяться, что все будет кончено в этом году. Думаю, что подготовка к завершающему штурму уже закончена.

7 октября

Вчера чуть не погиб сержант Нехотяев из полка Шуста. Он шел ночью из Тыкоцына. Навстречу ему — человек, говорят, что поляк. Когда поравнялись, тот выстрелил в него в упор и бросился бежать. Женя упал в кювет, но потом поднялся и нашел силы дойти до полка. Оказалась перебитой гортань. Теперь дышит через трубочку. А как он пел!..

• • • • •

Нина! Конец войны близок, но оставшийся путь будет очень тяжел и кровав. Надо быть готовым ко всему. Хотя каждый человек и думает, что он нечто особенное, отличное от других, но на войне у всех судьба равная. Не завещание я пишу. Нет! Завещание пишут, когда готовятся к смерти. А я хочу еще долго жить, узнать с тобой все радости, доступные человеку на земле. Ведь мы еще так мало жили! Почти четыре года прошло, как я тебя впервые поцеловал, и из этих четырех лет мы два года не вместе.

И может случиться, что я не вернусь. А ты еще совсем молодая, и если я не вернусь, года через два острота твоей боли притупится. Не сердись, что я так говорю, но время самый лучший доктор от всех душевных ран. Я знаю, что ты меня никогда не забудешь, но женой другого все-таки станешь. Он будет хорошим честным человеком, но как страшно мне представить, что он будет тебя обнимать... И твой ребенок не будет ничуть похож на меня. А я так хотел бы быть его отцом!

И я прошу тебя, расскажи своему мужу и детям обо мне, что, дескать, был он неплохой парень и любил тебя больше жизни. Если муж будет ревновать, значит, он мелкий человек, ничего не понимает и недостоин твоей любви.

И прошу тебя. Каждый год 7 октября, когда вы будете садиться за стол, ставь пустой прибор для меня: раз в год я буду приходить и радоваться твоему счастью.

Хочу думать, что эти строки когда-нибудь мы прочтем вместе, и ты скажешь: «Глупый!» и поцелуешь меня. Но это только надежда. Сегодня 7 октября я не знаю, что будет 8-го.
Целую тебя крепко-крепко.

12 октября

Когда я вижу, как сейчас,
Что жизнь моя на нити тонкой...

.....

И если дням моим предел
Положит пуля или мина,
Я бы на мир глядеть хотел
Глазами собственного сына.

16 октября

Вчера явился в 1-й взвод на пост Распопова. Здесь Анучин, Хамитдуллин, Морозов и одна девчонка — Наташа Михеева. Стоят они, как и большинство наших постов сейчас, на хуторе у хозяев. Вечером ходили к местному милиционеру. По слухам воскресенья у него собралось несколько человек местной молодежи. Танцы. Поляки танцуют как сумасшедшие, азартно, до упада...

.....
Часовни, мадонны, кресты на околицах
И звон колокольный опять и опять —
То Речь Посполитая за воинов молится,
Пришедших от рабства ее избавлять...

20 октября

Получил письмо от Симы Ионовой. Она теперь Бутюгина. Знал я Ивана Бутюгина, красивого бледнолицего парня. У них был большой красивый дом на Никитинской улице села Измайлова у Хабаринских ворот.

Ведь Сима — моя первая мальчишеская любовь. Какое охватывало волнение, когда я в надежде увидеть ее, проходил мимо их дома, стоявшего как бы на острове. Помню,

однажды видел ее там с козочкой на лугу. А позже как трепыхалось сердце лишь только издали я замечал ее бордовое пальто. До 6 класса мы учились вместе в старой измайловской «красной» школе, но в разных классах, а потом — в новых разных. Я знал ее не только по школе, но и по двору. Наш дом был №14, но в «старом» дворе, ее №15 — «в новом», довольно далеко от нас. Но для меня была полна значения даже близость номеров: 14, 15. А если бы мы не разошлись по разным школам? Ответил ей. И рассказал о давних чувствах.

22 июня около 12 часов мы с Борисом Федоровым зачем-то зашли к ней. Она стояла в открытой двери и мы о чем-то разговаривали. И вдруг из-за ее спины слышим объявление по радио: «Через несколько минут будет передано важное правительственное сообщение!» И мы почему-то не остались слушать радио у нее, а побежали ко мне домой. У меня, у нашей тарелки и прослушали выступление Молотова: началась война.

21 октября

Роту перебрасывают на правый фланг, опять к Августову. Взвод Дунюшкина уже там, Павлова — пошел.

Много разговоров о том, что немцы готовятся применить Fau-1 в комбинации с газами. Роются бомбоубежища, проверяются химнайдики, противогазы, по точкам разосланы специальные инструкции.

.....

И год еще как мы в разлуке,
И мне не верится опять,
Что я когда-то эти руки
Мог так свободно целовать...

Да, наши дни трудны и грубы,
Но ты ведь знаешь по себе,
Как по губам тоскуют губы
И руки тянутся к тебе...

22 октября

А между тем, на РП появилась новая очень милая девочка Клава Тихонова.

24 октября

Вчера наши войска вошли в Восточную Пруссию. Началось возмездие. Взят Гольдан, Сувалки. Михайлин говорит, что взят Августов.

26 октября

Стоим на хуторе, занимаем несколько домов, мы — в большом прекрасном доме. Просторно, чисто, светло. Хозяин болен, хозяйствует его сын лет 18. Хозяйка приветливая женщина лет 50. Украшение всего дома — большеглазая, белолицая, с родинкой на щеке, пугливая, робкая Чеслава.

Августов взят!

Сегодня первая ночь с инем. Вода замерзла. Зи'мно, зи'мно, — говорят поляки, а ходят босиком.

4 ноября

Подорвался на мине Голубев. Горе, несчастье, а Требух собрал всех и битый час ругал Голубева: вот, дескать, полез куда не надо, куда не положено. На все смотрит с одной точки зрения — положено или не положено. Не понравилось, как у нас стоит пирамида с винтовками. «Разве положено пирамиде так стоять?» В одной комнате гардероб с зеркалом. «Каждый солдат приходит и смотрится? Убить!»

5 ноября

«Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» (Сталин, 1931).

С начала войны по 1 авг. 44 года зарегистрировано 2 644 329 награждений. Одна треть из них — коммунисты. Из 5241 Героя Сов. Союза больше половины коммунисты. Из 24 дважды Героев 22 коммунисты.

9 ноября

Опять дежурный по роте. Сейчас дежурными ходим трое: Ильин, Лобунец и я. Все давно спят. Вдруг отворяется дверь и старшина зовет: «Бушин, поди сюда!». И повел меня в комнату к хозяевам. Так вот они где! Сидят за столом: на углу Ильин, рядом — старшина, с ним — Чеслава, повар Смирнов, ее брат Олег, их мать. Мне отвели место между Олегом и хозяйкой. На столе — бутылка с водкой и закуска. До меня, как видно, они уже приложились. Особенно хорошо это видно у Чеславы: ее красивые голубые глаза светятся мягко, застенчиво и в то же время весело. Она лепечет что-то нескладное, старшина обнимает ее, она не сопротивляется. Сейчас особенно видно, что руки у нее грубые, рабочие, со шрамами, а лицо — красиво и женственно от рассеянной улыбки.

Олег наливает рюмки. Я предлагаю тост: «За сильную, независимую, демократическую Польшу, нашего соседа и друга!» Потом пьем просто за здоровье, за чье — неизвестно. Олег пробует запевать: «Еще Польска не згинела!..» Я снова: «За знамя нашей победы над Берлином!» Никак не могу понять, чем мы закусываем. Все смеются надо мной. Потом рассказали, что это кровяная колбаса, зажаренная в сале. Хозяйская свинина замечательна — мягкая, душистая.

Чеслава пьянеет все сильнее. Старшина почти целует ее. Наконец водка кончилась. Мы встаем. Чеслава легла на свою постель. Старшина остается. Я ужасаюсь... Потом Смирнов зашел и сказал, что она лежит с ним. Удивляюсь спокойствию матери и Олега. Я бы набил старшине морду. Иду спать...

Смешная и милая девчонка Саня Баронова. Она вчера просила Нину Фадееву научить ее целоваться.

10 ноября

Кажется, старания старшины были напрасны. Я очень рад. Чеслава по-прежнему пуглива, робка и застенчива.

Вчера к ним приезжал ксендз, мужчина лет 35-ти, высокий, тучный, холеный в очках с тонкой оправой. Подкатил

на бричке, богато украшенной цветастыми шальми домашней работы. Почти на ходу соскочил с сиденья и, бросив недружелюбный взгляд на нас, быстрыми шагами прошел мимо хозяйки и дочки, опустившихся перед ним на колени, в дом к хозяину. Его здоровье сильно ухудшилось и ксендз приехал, чтобы причастить его.

Как старательно вся семья готовилась к приезду ксендза. В комнатах, даже к коридоре все было чисто прибрано, сами они принарядились. Мы так не готовились даже к приезду генерала.

Когда ксендз выходил из дома, в руке у него был белый узелок, надо полагать, вознаграждение. А у нас попы никогда не окружались таким почтением. Сколько самых забористых сказок и побасенок рассказывают о них на святой Руси. Чего стоит одна «Сказка о попе и работнике его Балде» Пушкина.

После смерти Пушкина его архивом занимался Жуковский. Он и обнаружил эту «Сказку», которую автор написал еще в 1830 году, но и не надеялся напечатать. Как писал С.М.Бонди, она «представляет собой во многом близкую к подлиннику обработку народной сказки. Сюжет о жадном попе и о перехитрившем и наказавшем его батраке очень распространен в народных сказках. Пушкин усилил социальный смысл этой антипоповской сказки и очистил от всего лишнего».

В 1840 году Жуковский напечатал «Сказку» в своей переработке:

Жил был купец Кузьма Остолоп
По прозванию Осиновый лоб и т.д.

В подлинном виде «Сказка» была напечатана гораздо позднее. А проделка Жуковского, естественно, никогда больше не печаталась и осталась в истории литературы как факт вопиющего попрания воли автора после его смерти.

ти. И вдруг в этом году в Липецке один священник издал «Сказку» в переделке Жуковского! Опять:

Жил-был купец Кузьма...

Не вынесла богообязненная душа правдивого пушкинского слова, сказанного 170 лет тому назад! Как это характерно для всего ретроградно-мракобесного строя нынешней России с ее двуглавыми орлами, триколорами, господами... Сейчас в любой редакции Пушкина с его «Сказкой» и слушать не стали бы. А то и спустили бы с лестницы. В любой! Вплоть до «Правды». Ведь уверяет же Г.Зюганов, что ныне треть членов КПРФ — верующие.

14 ноября

Черчилль в палате общин сказал о новых ракетах дальнего действия, которые немцы стали применять против Англии. Они поднимаются на высоту 100—120 км и летят со скоростью, превышающей скорость звука. Если принять, что это 350 м/сек, то в час они могут преодолеть 1260 км. Конечно, этим оружием ничего существенно уже не изменишь, но все-таки дело серьезное. Все зависит от радиуса действия. Ведь если удастся его увеличить до 2 тыс., то и Москва окажется в зоне обстрела. Быстрее их надо добивать, чтобы еще чего не придумали.

После Первой мировой войны сильное развитие получила авиация, а после этой, надо думать, получат ракеты самого разного вида.

Чернов рассказал, что еще в начале войны один майор говорил ему о таком снаряде, который содержит в себе еще несколько снарядов и когда вылетает из пушки, то через какое-то время рвется и из него вылетают эти другие снаряды, они летят дальше.

«Мы не пережили и не переживем и одной десятой доли того, что уготовано тем, кто начал и развернул это жестокое нападение» (Черчилль. 9 ноября).

Да, вы не пережили, вы и не переживете.

24 ноября

Маруся Живоглядова под большим секретом сказал мне, что Катя Агапкина беременна. Кто здесь виноват, судить трудно. А Тоньку Чекулаеву украл в свою часть какой-то лейтенант.

27 ноября

Нина в последнем письме пишет: «Володька, если ты не веришь мне, то кто и кому тогда может верить? Право же, никто так не хранит верность своим милым, как я. Абсолютно безгрешна». А ведь красавица!

30 ноября

Пропал Зайцев. Куда-то вышел без оружия, и вот уже несколько дней нет его.

3 декабря

Адаев уехал в дом отдыха под Домброво. Мне поручено на это время его заменить. Вчера ездили на склад, все, что было, получили. Ох, и не люблю же я это дело...

Сейчас мы с Ильиным загнали черта носатого Лобунца в одном нижнем белье в угол на нары и вдосталь отхлестали ремнями.

Сегодня получил ответ из «Красноармейца» от какого-то Л.Котомка. Не понравились ему мои стихи.

Попросил Нину прислать «Манифест».

8 декабря

Запись делаю на семинаре комсоргов, созданном по-литотделом армии. Майор Пьянцев прав, когда говорит, что уж и то большое дело, что мы друг на друга посмотрели.

Ухожу с семинара с добрым намерением. Будем работать с новым парторгом. Ильина неожиданно сняли и на его место пришел ст. с-т Гончаров из полка Шуста, говорят, с высшим образованием.

Только теперь прочитал ст. Эренбурга «Ответ леди Гибб». Как это она от меня ускользнула. Хорошо сказано. Ишь, сердобольные нашлись.

12 декабря

Вернулись из отпуска Михайлин и Обертышева. Сейчас уехали в отпуск Беркович и Юрескул. До Москвы они добирались три дня. Рассказывают, что там — сугробы по колено. А здесь сейчас сырость, туман, дожди. Как хочется побывать дома. Вернее, как хочется к ней, к Нине...

15 декабря

Вчера мне опять выпало дежурство с приключениями: пришлось арестовывать Пирожка. Опять черт старый где-то напился.

В 41 году против Германии воевало 14 государств, сейчас 38. Лучше бы сказать так: 1 и 37.

На днях производили пристрелку новых карабинов. Я стрелял лучше других.

Еще утром Лобунец ушел в Пшистовку, и до сих пор его нет.

16 декабря

Слышу в соседней комнате говорят обо мне.

Адаев:

— В пехоте он давно был бы заместителем командира полка по политчасти.

Чернов, кажется:

— Да не только в пехоте, а в любой другой части он уже далеко бы продвинулся, только не в нашей роте.

Носов:

— Нет, только на передовой он продвинулся бы...

Лобунец ушел еще утром в Пшистовку и до сих пор его нет. Видимо, у Кулиманова

18 декабря

Куда девался Лобунец? Ведь почти двое суток, как ушел. Либо его послали на какое-то срочное секретное задание, либо Кулиманову стало известно что-нибудь из его

прошлого. Ведь он два года был в оккупации. Молодой здоровый парень, почему он не ушел к партизанам? Но с другой стороны, если за ним есть какие-то грехи, то ведь он их давно искупил кровью, он дважды ранен.

Несмотря на то, что он был дежурным по роте, Пименов направил его в отдел контрразведки штаба армии с пакетом обычного содержания (о личном составе). Он взял автомат и в одной телогрейке ушел. Пименов, как это заметно, все знает.

Пименов разрешил мне заменить карабин на автомат. Сегодня я его пристреливал. Бьет отлично.

20 декабря

Сегодня наконец пришел Кулиманов. Вызвал меня и сказал: «Хочу вас предупредить, т. Бушин, что вы очень неосмотрительны при приеме в комсомол. Советую вам в этих вопросах всегда советоваться со мной».

Я ответил, что понимаю, о ком он говорит, и понимаю свою беспечность в этом деле. Он сказал, что в политотделе мне еще наломают шею. И дальше:

— 16 числа я разоблачил Лобунца как агента германской разведки, агента гестапо.

Я достал старый протокол о приеме Лобунца в комсомол. Рекомендации — Бушин и Тупоносов.

И подумал, что все-таки надо верить первому впечатлению: он мне сперва очень не понравился. Но потом подружились. И какое совпадение: Нина тоже писала, что он ей не нравится, а ведь она знает о нем только из моих писем. Как позорно я прохлопал, проглядел врага. Ведь вся рота считала нас лучшими друзьями. Из одного котелка ели, один кусок хлеба ломали пополам. Мы все думаем, что враги какие-то особенные, а они вот принимают личину друзей, хороших ребят. Как он пел Лещенко!

Осень...Прозрачное утро.

Небо как будто в тумане,

Даль из тонов перламутра,

Солнце холодное раннее.

Где наша первая встреча,
Острая, нежная, тайная.
В тот летний памятный вечер
Милая словно случайная...

Мне многое в нем не нравилось и потом, но сейчас поздно об это говорить. В моей жизни это первый случай такого рода, надо, чтобы он же был и последним.

Молодец Кулиманов. Я проникаюсь к нему уважением.

Он сказал мне, что Лобунец был завербован немецкой разведкой во время оккупации Путивля, где он жил. Я пытаюсь представить себе его мысли и чувства. Значит, он считал, что немцы пришли навсегда? Значит, был не рад освобождению Путивля?

Кулиманов уверял, что сказал ему: «Сволочь ты. Если бы сейчас был не 44-й, а 41-й год, я бы вывел тебя и расстрелял, но теперь тебя отдадут под суд. Счастье, если ты отделаешься штрафной, но думаю, что заслужил либо расстрел, либо виселицу».

И еще сказал Кулиманов: «Вы сейчас намерены принять в комсомол Н. Советую воздержаться. Он четыре раза был в окружении». Я промолчал...

22 декабря

Ночью опять долго торчал у нас Кулиманов. Вызывал Бороненкова, Крылова. Около часу ночи вызвал меня. Беседовал со мной долго и дружелюбно. Мы вышли из его землянки около четырех часов. Ночь стояла тихая, темная, звездная...

Валька Калашникова, помирая со смеху, рассказывала, что она зачем-то полезла Райсу за отворот шапки и вытащила оттуда пару презервативов. Тот смутился неимоверно, но не нашел ничего умнее, как взять один и надуть. Ох, и оторва эта Валька из Иванова. А Райс, как видно, всегда в полной боевой готовности даже в зимнее время.

25 декабря

Итак, вчера в ясный, ветреный морозный день мы оставили Длуги Луг, где простояли два месяца. Прошли км. 20 и остановились ночевать в д. Яскра, где стоял пост Берковича, который ушел вперед.

Расположились все в одной избе. Поужинали, поговорили с поляками. Панночки знают все наши песни и поют то «Шумел камыш», а то —

Я любила лейтенанта
И любила старшину —
Лейтенанта — за погоны,
Старшину — за ветчину.

После войны русские песни будут распевать по всей Европе.

А спалось после 20 км крепко.

Время седьмой час. Я разбудил старшину Басова, завтракали и — дальше.

Позже, местечко Хорощ, 10 км южнее Белостока

Расположились в небольшом каменном доме, пока нас семь человек. Нашу комнату всю зиму не топили, она промерзла, холодно. Притащили соломы, на ней и спим.

Я сегодня дежурный. Постов всего три. Семья, у которой живем, русская. Даже 70-летний дед не знает, как они сюда попали. Словом, живут здесь спокон веку. Но вся семья свободно говорит по-русски, и у всех русские имена: Лиза, Петр, Иван, Евгений, Николай. Хозяйка непочтительно, прямо враждебно говорит о поляках. Рассказывает, что при немцах они говорили, что после этой войны начнется другая: поляки по всей Польше перебьют москалей. Рассказывает о довоенных случаях убийства жен командиров Красной Армии.

Спрашиваю хозяйку: «Зачем жить в таком враждебном окружении? Езжайте в Россию». — «Привыкли».

Сегодня у поляков Рождество. Но наши хозяева будут его праздновать 7 января.

Сообщили, что вчера подбито 177 танков, сбито 54 самолета. Боя разгораются. Окружен Будапешт.

27 декабря

Черчилль и Иден в Афинах, где еще идет стрельба.

31 декабря

До Нового года осталось не больше часа. Едва ли удастся как-нибудь отметить его приход. Хоть бы дали по 100 гр. Единственная радость сегодня — два письма от Нины. Она защитила проект на 5. Молодчина! Она просто талантлива. А год назад мы были вместе. А сегодня нет возможностей и тост поднять. А еще писала, что с Тамарой Казачковой видели Феничку. Майор.

А вообще-то я вступаю в 1945 год с самыми светлыми надеждами на победу, на окончание войны, на возвращение домой. Как интересно бы знать, где я буду 31 декабря 1945 года, что будет со мной. Как этот год казался далеким когда-то.

Помню, однажды в 7-м классе на уроке конституции или обществоведения Захарова сказала: «В 1945 году будет построен коммунизм».

У меня какие-то особые надежды на этот год, он будет знаменательным, великим.

ИЗ ДНЕВНИКА 1945 года

1 января

Вчера Гончаров крепко подшутил надо мной. Поднес мне стакан водки. Я ее ахнул за Новый год, за победу, закусил кусочком хлеба и думал, что это от щедрот старшины. А сегодня Обертышева мои законные 100 грамм не дает: «На вас вчера взяли» — «Как взяли? Кто?» — «Гончаров». Оказывается вчера в суматохе впомых, чуть не из-под полы я выпил свои законные. И вот сегодня ребята донимают: «Обрадовался на чужбинку и без всякой закуски...»

Сегодня у меня зазвенело в левом ухе. Спрашиваю Устименко: в каком? И задумал: побываю в отпуске или нет? Он угадал. Значит, побываю.

3 января

Ночью на посту Горбаренко. Это новый ефрейтор, родной брат нашего полковника.

Эренбург прислал во «Фронтовую правду» новогоднее поздравление. Желает нам быть в Берлине весной. «Во-первых, весной дже немецкие города лучше, а, во-вторых — и это самое главное — весна приходит раньше осени». Все надеются, что новый год будет годом победы.

6 января

«Прислушайтесь, друзья. То бьют куранты истории. Мы начинаем не новую страницу — новую летопись. Сердце и ум твердят: 1945 год будет первым годом другой, большой выстраданной нами жизни» (Эренбург. Куранты века).

Вчера привез из госпиталя Адаева. Это чудо, что мне удалось забрать его. Обычно на просьбу или требование о возвращении в свою часть отвечают отказом.

Сегодня впервые с 22-го помылись в бане. После этого хочется спать, но мне выпало дежурить. Думаю сейчас заняться «Манифестом», который прислала Нина.

8 января

Вчера партбюро дало мне рекомендацию в партию.

10 января

Вчера мы с Адаевым пошутили над Надей Беловой. Она очень хочет сфотографироваться. Мы сказали, что можем. И вот она принарядилась сколь можно и пришла. Я взял газоопределитель, очень похожий на ФЭД, и заставлял ее принимать разные эффектные позы. Она все послушно выносила. Мы сказали: через два дня будет готово. Много нашлось и еще желающих: Абдулаев, Кадушкин, Корнеев...

«Ты меня любишь, радость моя? Люби, милый. Сколько нежности, радости и ласк могу я подарить тебе! Только ты не ищи ничего этого у других женщин. Для тебя только я. Ведь все это я отдаю одному тебе. А как я жду тебя, тоскую...И помни: у кого было много женщин, тот познал женщин, а кто любил одну, тот познал любовь».

Позже

Сегодня приняли кандидатом в партию. Прием прошел благополучно. Вопросы задавал только майор Амбузов. Он мне показался очень симпатичным

14 января

Женщины более откровенны, чем мужчины, их легче вызвать на «разговор по душам». Полина рассказала мне о своих отношениях с подполковником из корпуса в таких подробностях, что даже неудобно записывать.

На 15 наметили комсомольское собрание. «Как комсомольцы роты готовятся выполнять приказ т. Сталина № 220».

Послал в «Разгромим врага» в окончательном виде это стихотворение:

Все ближе заветная дата...
Я верю, что в этом году
Нелегкой походкой солдата
Я к двери твоей подойду.
Ты выйдешь навстречу, как прежде,
И, дверь не прикрыв за собой,
К моей пропыленной одежде
Внезапно прижмешься щекой.
За годы тоски и разлуки,
Что верности силу дают,
Твои драгоценные руки,
Как прежде, меня обовьют.

16 января

1-й Украинский стремительно наступает из района Сан-домирского плацдарма. Прорыв расширяется. Заняты Кельце и др. Куда пойдут: на Лодзь или на Krakow? Передали приказ о прорыве на участке 1-го Белорусского южнее Варшавы. Прорыв грандиозный — 120 км по фронту!.. И у нас на левом фланге три дня гремит канонада. Туда то и дело идут Ил-2 и 4. Вероятно начинается решающий штурм.

Вчера было комсомольское собрание. Удалось собрать только 30 чел. Но прошло очень живо, активно. Выступающих было половина -15 чел.

Капитан объявил мне благодарность за хорошие результаты на стрельбах: из шести пуль в цель попали все шесть.

18 января

Итак, наступление ширится. Взят Радом. 1-й Укр. всего в 20 км. от Krakova. Несколько часов назад сообщили, что взята Варшава! Как только я узнал, пошел поздравлять поляков. Первой поздравил Гертруду Ивановну. Милая симпатичная женщина. Она обрадовалась больше всех. Потом пошел к пану Сандомирскому. Ему пришлось долго толко-

вать, что такое магарыч. Наконец я сказал просто: «Ставь пол-литра!» Он перепугался и стал оправдываться, что ему уже попало от капитана за угощение наших. Я ему сказал, что через четыре месяца мы будем в Берлине.

Был приказ за еще какой-то город. Пашка Огородов не запомнил. Очевидно, за Ченстохов. «Матка Бозка Ченстоховска», — часто говорят поляки.

Сегодня около нас приземлился Ил-2 — кончилось топливо. Стрелок-радист ночует у нас, а летчик — на местном посту.

23 января

Какие дни настали! Считаем, сколько до Берлина. Для 1-го Белорусского их не больше 250 км. Сегодня снова, уже третий раз Москва салютовала пятикратно! За Инстербург, Алленштейн, Дейтш-Айлау, Остерланде, Иноврацлав... Как сладко звучат эти названия...

Наш фронт, видимо, нацелен на Эльбинг, чтобы изолировать всю Пруссию и войска там. До Эльбинга осталось км 60—70. Юго-восточная Пруссия. Осталась в глубочайшем мешке. И нам выпала неблагодарная роль быть дном мешка. Что ж, уж если не суждено дойти до Берлина, будем в Кенигсберге.

С одним из упомянутых здесь немецких городов связана занятная страница хвастливой и невежественной болтовни Солженицына. Он ведь врал не только на родине, но и за ее пределами, охват глобальный.

30 июня 1975 г. он выступал перед профсоюзовыми деятелями США. Изображая себя рабочим человеком, познавшим все тяготы физического труда, он воскликнул: «Братья по труду!». И дальше там такие слова: «Я был в тех войсках, которые шли прямо на Эльбу, еще немного — и я должен был быть на Эльбе и пожать руку вашим солдатам. Но меня взяли незадолго до этого в тюрьму. Тогда встреча не состоялась... И я пришел сюда вместо той встречи на Эльбе (апплодисменты) с опозданием на тридцать лет. Для меня сегодня здесь — Эльба!»

Действительно, Солженицына «взяли в тюрьму» за два с половиной месяца до встречи 25 апреля 1945 года войск 1-го Украинского фронта с американцами на Эльбе в Торгау. Но если по оплошности его и не взяли бы, то и тогда он никак не мог пожать руку американцам, которым сейчас так хотел понравиться. Дело в том, что Александр Исаевич служил в 48-й армии, которая, как и моя 50-я, в составе 3-го Белорусского фронта вторглась в Восточную Пруссию. Там он командовал своей беспушечной инструментальной батареей. Это до Торгау, пожалуй, километров 600—700. И если моя армия шла прямо на Кенигсберг, стоящий на реке Прегель, то его — на Эльбинг, стоящий на Висле. Там американцами и не пахло. В наступающих войсках 48 армии, естественно, частенько раздавалось голоса: «Эльбинг!.. Эльбинг!..» Солженицын не мог не слышать это и решил, что город с таким названием, конечно же, стоит на Эльбе. Надо полагать, в его голове все прояснилось бы, если ему довелось бы побывать в этом городе, но его «взяли» 9 февраля, а Эльбинг взяли 10-го, на другой день после того, как Красная Армия освободилась о Александра Исаевича. Но откуда могли все это знать его американские слушатели в 1975 году? Они аплодировали герою...

24 января

Как непривычно и радостно звучат названия немецких городов, взятых Красной Армией: Крейцбург, Аллендорф, Инстербург...

Вчера мы с Адаевым ездили в Кнышин и ночевали у одного поляка. Как он восторгается Польшей и поляками! И это после разгрома в 1939 году. А что должны чувствовать мы за Россию!

26 января, г. Биалла

Сегодня перешли границу.

Границу Германии люди переходили по-разному, с разными чувствами.

Не так давно в Германии в почтенном возрасте умер уехавший туда литературовед-германист Лев Копелев, мой сосед по фронту в Восточной Пруссии (служил в политотделе 48-й армии, кстати, в той же, что и Солженицын) и сосед по лестничной клетке в московской квартире. Это личность во многих отношениях примечательная. Начать хотя бы с того, что его всю жизнь отовсюду исключали, начиная с пионерской организации, а потом — из какой-то профшколы, из кандидатов в комсомол (был такой институт), из членов комсомола, из Харьковского университета, из Московского института иностранных языков, на фронте — из партии, после войны — из Союза писателей... И только из России он уехал по доброй воле. Он конечно, постоянно жаловался на несправедливость, причем — в самые высокие инстанции вплоть до папы римского. То есть человек был бесстрашный и неутомимый на жалобы. Не зря же в его имени в отличие, допустим от Льва Толстого, истинного льва русской литературы, было сразу аж два Льва: Лев Копелев.

Как сосед по квартире Лев Залманович мне сильно досаждал тем, что со страшным львиным грохотом захлопывал дверь лифта, что не только ужасало всех жильцов нашего этажа, но и просто грозило существованию самого лифта. И однажды я не выдержал, быстро выскочил на площадку и бросил ему в лицо с огромной бородой: «Если вы еще раз так грохнете лифтом, я напишу папе Иоанну Павлу Второму!» И что вы думаете? Подействовало. Отныне он пробирался в свою квартиру как мышка, а не лев.

Но это все много лет спустя. А границу Германии 33-летний майор Копелев, питомец института истории, философии и литературы (знаменитый ИФЛИ), специалист по Шиллеру и старший инструктор Политуправления фронта перешел границу так. На территорию Германии он ехал на машине во главе небольшой группы из Политуправления в двухдневную командировку с целью изучить настроения среди немцев. И вот едут... В книге «Хранить вечно», вышедшей в США в 1975 году, он писал: «Установив точно по карте ли-

нию границы и убедившись, что мы ее пересекли, я скомандовал: «Вот здесь Германия. Выходи оправляться!» (с.91).

Трудно поверить, что солдату Сидорычу, тюменскому колхознику, и пожилому шоферу эта принудительная оправка под команду интеллигентного майора пришлась по душе. Возможно, под команду они оправлялись и не стали, но уж Лев-то Залманович, знаток Шиллера и Гете, духовный сын Лессинга и Томаса Манна, наверняка подготовился к этой акции со всей основательностью своей научной эрудиции. Поди, перед выездом принял чего-нибудь мочегонного.

И представьте себе, жизнь свою завершил в Германии как великий друг немецкого народа.

28 января, Биалла

Одиночные пожары продолжаются. Любители трофеев работают вовсю. Почту сразу завалили посылками в тыл. Мы своего поросенка уже съели, народу-то много. Поляков, которые тащат немецкое имущество, останавливают и все отбирают. Пьяные в городе не редкость. Сегодня как дежурный по роте сажал на губу Пирожкова и Година. Гончаров пьян и Аньку свою напоил. Карманов приехал пьяный, Валуев — тоже. Вчера, чтобы не обидеть Смирнова, я сделал вид, что пью, а сам вылил.

В немецких домах поражает обилие всякой мелочи, часто безделушек. Попадаются и наши советские вещи. Случаев отравления, кажется, не было. Минировать он тоже не успел. Мы нагрянули внезапно.

31 января, Зенсбург

Попадаются подводы с поляками, русскими, итальянцами, французами. Много немцев, большинство старые, но есть и молодые. Меня сперва удивило, что на мой вопрос, кто они, отвечали не скрывая: немцы.

С Валуевым зашли в дом. В комнате фрау и герр. На мое приветствие «Guten Tag!» — поспешно и любезно отвечали. Разговариваю с герром вначале по-немецки, потом

оказалось, что он может и по-русски. Перешли на русский. Он с 1914 по 18 год был у нас в плену. «Как обращались с вами в плену?» — «Хорошо» — «А почему вы так поступаете с нашими пленными?» — «Мы не виноваты» — «Кто у вас еще есть?» — «Sohn Walter». Входит верзила Вальтер, которому, по словам матери, 16 лет. Она по-русски не понимает. Он смелее, но, увидев в руках у меня пистолет, пугается. Отец говорит, что его хотели забрать в СС, но он молод.

Еще зашли в пустой дом, в котором много прекрасной одежды. Я взял на всякий случай смокинг. Ха-ха! Может, послать домой?

Мне думается, зря разрешили эти посылки. Еще хорошо, что немец не минирует дома, а то было бы столько жертв. И вообще это действует разлагающе. Но у меня кроме пистолета (оружие не грех) и костюма ничего нет. А костюм завтра еще, может, брошу.

Сегодня ночуем в пивоваренном заводе. Бочки водки, ящики ситро, сало, масло, сахар. По дорогам бродят сотни отощавших коров, все черно-белой пегой масти.

Проезжали мимо кучи убитых немцев. Только отъехали, один поднял голову и опять положил.

3 февраля, Бишофсбург

Город разрушен еще больше прежних. Некоторые кварталы горят до сих пор. Впереди — Зеебург.

Славяне не пропускают ни одной немецкой повозки, но лошадей все-таки не просто берут, а заменяют.

Жуков километрах к 70 от Берлина.

7 февраля, Зеебург

Немцы сопротивляются отчаянно. Ночью в город прибывают машины с ранеными. Душу выворачивает от их страшного крика.

Получил нехорошее письмо от Нины. Настроение у нее ужасное. Вероятно под влиянием трудных условий работы на заводе. Мрачные, тосклиевые мысли. Она совершенно серьезно пишет, чтобы я передумал, пересмотрел,

люблю ли я ее. Я, говорит, очень изменилась за это время. У меня от этого сожаление и тоска. Как я хотел бы сейчас ей чем-то помочь, ободрить. Мне кажется, что если я даже разлюблю ее и сильно полюблю другую, я не найду сил уйти от нее. Многое заставляет меня думать, что наиболее характерная для меня черта — жалость, сострадание. Но едва ли кто-нибудь, наблюдая меня, сделает такой же вывод. Ведь я очень вспыльчив, несдержан и даже груб. Об этом мне только сегодня говорил Василий Иванович.

Вчера все-таки отправил посылку матери: шерстяной отрез и костюм. Наверное испугается старушка. Посылки отправили почти все в роте.

Понемногу начинают наводить порядок: отбирать вещи у населения запрещено, право при необходимости расстреливать предоставлено только передовым частям, скот собирают в стада, отправляют в тыл, нам дали задание собрать 30 лошадей, начали собирать, немцев берут на учет.

На одном фольварке мы натолкнулись на семью не то немцев, не то поляков, не то немцев, говоривших по-польски. Вслед за нами приехал верхом какой-то солдат. Мы уже собирались уезжать, как вышел Валуев и говорит: «Вот черт, в сенях насилият!» Я не поверил, вернулся, вошел в пустую захламленную комнату. Она стояла перед диваном, сложив ладонями руки и даже боялась говорить, а только дрожала и прерывисто вздыхала. Парень попросил меня уйти. Я начал его уговаривать бросить ее, уйти. И, как мне показалось, уговорил. Я думал, он выйдет следом за мной. Но мы сели в тарантас, и только когда отъехали метров 400, он показался верхом. Неужели успел сукин сын? Ведь у нее здесь был ребенок и муж... Ах, как жалею, что не дал ему по морде и не прогнал к чертям! Стрелять такого гада на месте...

В армию брали не по «Кодексу строителя коммунизма», а только по двум статьям — возраст и здоровье, осталь-

ное никого не интересовало. Поэтому, конечно, на фронте встречались и преступные типы, и люди с дурными склонностями, и просто распущеные, хулиганистые субъекты. И вот они с оружием в руках, частенько вдалеке от всякого начальства в чужой стране, которая только что принесла столько горя их родине. Конечно, находились мстители и такого рода, что в приведенной записи. Но гораздо важнее то, что это жестко пресекалось, за это грозил трибунал. А вот во Франции, когда там высадились американцы и англичане, жертвами оказались женщины не враждебной, а союзной страны, которая ничего дурного не сделала Америке. Но и там это сурово преследовалось.

11 февраля, Хайльсберг

Это самый крупный из всех городов В.Пруссии, что мы прошли. Бой за него был упорнейший. Его брал не наш фронт, а Черняховского. Но теперь, говорят, нас передают ему.

Эренбург пишет: «Только бы не смягчиться, только бы не забыть!» А, по-моему, уже смягчились. Мы не убиваем стариков, детей, женщин. Если такие факты и есть, то они единичны. За все время я видел только раз труп ребенка, неизвестно как погибшего, и раза 3—4 стариков. А ведь пятилетний ребенок, как напоминает Эренбург, через 15 лет может быть солдатом. Нет, убивать нельзя!

Случаи насилия тоже широкого распространения не имеют. Сегодня из политотдела армии пришла бумага, в которой указывается, что некоторые комсомольские руководители занялись пьянкой, барахольством, самоустранились от комсомольской работы. Приводится пример: комсорг УКАРТА (забыл фамилию), который устроил попойку... Вероятно, снимут с работы. Вспомнил фамилию комсорга — Житник!

16 февраля, Лоттенбрух

Сегодня совершили небольшой переход — км 12.

Позади нас стоит артбригада и бьет через наши головы, недалеко от нас бьют и «катюши». Где-то строчат и пуле-

меты, доносится и ружейная стрельба. Небо дрожит от кровавых сполохов.

18 февраля

Бои идут упорные. Вчера наш 3-й Белорусский занял два города. Наши артиллеристы молотят и молотят. Немцем надо благодарить бога, что погода нелетная. В последний летний день над нами стаями проходили сотни «илов», «bastонов» и «яковлевых»

Вернулся Николай Чувашов. В штрафной он не был: недостаточно материала. Думает теперь идти в полк Шуста.

22 февраля

19-го с военфельдшером Тамарой Гусевой побывали во взводе Павлова. Провел там беседу о положении на фронте и о Крымской конференции. Их частенько обстреливают. В корпусе есть потери. Чебуркову осколок, видимо, уже падая, ударил плашмя и контузил руку. И Распопову повезло: он спал под телегой. А бойца (не нашего), спавшего на телеге, убило снарядом, и лошадь убило. Райс рассказал, что и ему повезло: начался обстрел и он решил лечь в кювет, но не успел. А снаряд угодил как раз в то место, куда хотел лечь.

А Лобунец-то оказывается вовсе не в штрафной, а в 58 зсп.

Бой с невероятной силой гремел весь день, сейчас смолк. У нас особенно активно работают артиллерия и авиация. Самолеты ходят сотнями. Капитан Завязкин говорил, что немцы подбросили несколько танковых дивизий, чтобы успеть вывезти ценности.

Все хутора здесь побиты. На хуторе метрах в сорока от нас приютились беглые немцы: две старухи, старик женщина средних лет и шесть ее детей. Я довольно легко с ними говорил. Жаль детей. Старший Франц, ему 10 лет. Они мне вчера сказали, что у них нечего есть. Ночью я принес им хлеба... А наши-то дети как гибли тысячами, подбрасывали детей и стреляли... Валуйчик всех их рассмешил, развеселил, они перестали нас бояться.

Поручил письмо от С.Швецова из «Разгромим врага». Пишет: «Тов.Бушин, стихотворение Ваше получил. Оно настолько хорошо, что у некоторых товарищей в редакции возникло сомнение: действительно ли Вами написана эта вещь? Не списана ли она из какого-нибудь журнала. Прошу прислать другие Ваши стихи и указать Ваше воинское звание. Прошу не обижаться, если сомнение товарищем окажется неосновательным. К нам поступает много стихов известных поэтов, под которыми стоят подписи, не имеющие никакого отношения к этим стихам. С приветом. С. Швецов».

Это о стихотв. «Все ближе заветная дата». Конечно, приятно читать такое письмо: я заподозрен в плагиате! И, выходит, по мнению редакции, мой стишок мог быть напечатан в журнале. Но до чего соблазнительна слава стихотворца: к ней пытаются приобщиться даже обманом и даже на фронте.

26 февраля

Сегодня миновали Мюльзак, прошли еще 12 км. Расположились в трех домах. Дома разбитые, окон нет. Пришлось с ними повозиться, чтобы можно было жить. Когда мы с Гончаровым вошли, глянули, казалось, здесь черт ногу сломит. Но только стоило взяться энергично, поработать часок-другой — и уже у дома божеский вид. Так и во всяком деле: трудности часто выглядят преувеличенно.

Шевцову послал еще три стихотворения.

На новом месте Валуева и Пирожкова еще не посадили. Я на них не могу смотреть... Он стал молчаливее, а если когда и продолжает балагурить по привычке, меня это не смешит. Более гнусного и лживого подлеца, чем Пирожков, я еще не встречал. Как мордовал их обоих Требух! Они так и летали из угла в угол от его кулаков. Молодец. Так и надо. Пусть радуются, что он их под трибунал не отдал...

Немцы прижаты к морю, и артиллерия бьет их беспрестанно.

Странно, не видно убитых наших солдат. Быстро хоросят? А Капин говорил, что потери большие, бывали случаи,

когда от батальона оставалось 11 человек. Верно ли? Ведь потери всегда преувеличиваются, считая их доказательством героизма. А это далеко не всегда так. Павлов не раз напевал песню еще времен Германской войны:

Вот вспыхнуло утро и выстрел раздался.
Над озером белая чайка кружит.
Один я от всей полуторы остался...

А до войны была песня «Орленок», там было так:

Навеки умолкли веселые хлопцы,
Один я остался в живых...

И того «ведут на расстрел».

Эта «традиция больших чисел» в стихах и песнях после войны была продолжена. Вспомните песню «Безымянная высота»:

Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят...

Почему, по какой причине, в результате чего — об этом ни звука, слушайте, что я говорю. А ведь большие потери могут быть и результатом ошибки, промаха, неумелого командования.

Интересно, кто будет командовать нашим фронтом после гибели Черняховского. Ах, какого мужика не уберегли!.. Он отстреливался до последнего патрона. А у нас сняли Болдина, командовавшего армией еще под Калугой. Говорят, за безобразия в армии вроде того, что учинили пьяные Валуев и Пирожков.

4 марта, Айххольц

Ужасное настроение вроде предчувствия беды. Может быть, от Нининых писем, которые вчера получил(2). В них много горького, но верного. Она просит откровенно сказать, что я думаю о нашем будущем. Твердит о том, что она старше. «Сейчас ты об этом не хочешь слушать. Но через год-два мне не надо будет напоминать тебе об этом».

Ну, это преувеличение. В 24 года она собирается старухой стать? Что за глупости! Конечно, рано было бы мне в 22—23 года обременять себя семьей. Надо бы получить образование, специальность. Не плохо бы лет пять пожить беззаботной студенческой жизнью. Но не могу же я ради этого отказаться от нее. А с другой стороны, я хотел бы до конца испробовать свои литературные наклонности. И семейная жизнь, наоборот, станет источником энергии, бодрости. Ведь я так люблю ее..

А еще на настроение действует просто эта осенняя погода, пустые, безжизненные однообразные поля? Снега ни них почти не осталось. Грязь, ветер. Ветер воет так уныло. Какая тоска!

5 марта, Кильденен

Нахожусь во взводе Дунюшкина. Тут стоит штаб 69 корпуса, от передовой км 2—3. Деревня сильно разбита. Кони и подводы стоят в сараях, а живут в подвале. Он большой каменный и сухой. Можно оборудовать не хуже землянки, но никто не хочет. Оконца заткнуты перинами. Спали на полу на соломе.

Говорил с ребятами об отношении к немцам — жителям и к их добру. На другой день рассказал об итогах янвально-февральского наступления и о Крымской конференции. Сенченко сказал потом: «Такие беседы нам почаше бы».

Обстановка во взводе мне не понравилась. Девчонки (их четыре) не слушают Дунюшкина, все их мысли совсем о другом. А что делать? Им же двадцать лет. З. прямо говорит: мне 21 год, ведь уходит самая лучшая пора. При мне к ней приходил ее воздыхатель — ефрейтор из штаба, с которым она хочет все порвать, потому что он приходит редко.

На участке 69 корпуса немец отошел км на 4—5.

Сенченков привез меня к нашим «челюскинцам». В доме две комнаты. В первую ночь все легли в большой. А Клавка почему-то захотела лечь в маленькой, где стоял телефон, но лечь одной она боялась. Я предложил ей лечь вдвоем. Она без раздумий согласна. Мы уместились на узкой одинарной софе. Чтобы не свалиться, лежать надо было только

на боку и в обнимку. Ну, а уснуть при таких обстоятельствах я не смог. Тем более, что на ней была тоненькая майка без рукавка... А она, чертовка, делала вид, что спит. И потом, когда надо было подойти к телефону, даже стала рассказывать какой-то сон, который только что видела. Так я и не уснул часов до четырех, когда она, тоже, видно, измучившись, ушла спать к С.И... О, если бы Нина видела меня в ее объятьях!

З числа от Гончарова узнал, что «Мечты о встрече» уже напечатаны в «Разгромим врага». На корпусной почте дали газету за 1 марта, где напечатано это стихотворение. Первая публикация! Конечно, приятно. Но как-то и неловко: ведь в армии столько знакомых, а стихи такие интимные. А «С тобой и без тебя» Симонова в «Знамени»? Там уж такой интим!..

8 марта

Неожиданность: капитана Требуха сменил старший л-т Савчук. Тот самый, что еще в Мосальске был заместителем по строевой. Что-то слабо его повышают: ушел лейтенантом — пришел через два года старшим.

Видимо, предстоит большая передислокация, но все же для девчат решили устроить вечер. К празднику многих из них наградили медалями. Трем офицера — Красную Звезду. А Эткинд, еще не услышав приказ, уже приколол колодочку.

Гастрономическая подготовка к празднику идет полным ходом. Вызван повар Роберман, Годин тоже не стоит, возится на кухне. Ну, а мне в этот светлый праздник опять выпало дежурить.

Жуков и Рокоссовский вышли в Балтийскому морю, первый — у Кольберга, второй — у Кезлина. Померания остается померять. Союзники взяли Кёльн. Черепаха ползет...

11 марта

Совершив 150-километровый рейс, оказались км в 15 от Кенигсберга. Обосновались в подвале одинокого дома

в лесу. Восемь человек из роты направляют в зенитное училище. Эткінд спросил: «Не хочешь?» Нет... И никто не хочет. Слышал разговор полковника с Савчуком и Шустом: «Кто не хочет в училище, тех пошлю в пехоту. Сам отвезу!» Вот рыло...

16 марта

Итак с училищем все прошло благополучно. Уехали Корнеев, Овчаренко и Кизилов. Вот уж из Корнеева офицер будет... Но он единственный, кто поехал по желанию.

Сегодня новый ротный Савчук собрал младших командиров и произнес речь. Мы перед ним стоим, а он развались в кресле, закинув ногу на ногу, с улыбкой нас поучает: дескать, я не Требух, я наведу порядок, у меня будет дисциплина, я добьюсь, что все будут приветствовать друг друга и т.п. Зачем такие глупости говорить столь решительно? Знаем мы этих наводителей порядка. Вот уже шестой. Новая метла всегда хочет хорошо мести. Словом, он мне уже не нравится.

Сегодня была серьезная стычка с Пименовым и Эткинлом. Этот хмырь Пименов шьет себе сапоги и по этой причине запретил чинить сапоги солдатам. Имея несколько пар, шьет новую. Да еще сказал сапожнику Устименко: «Что ты каким-то кузькам сапоги чинишь?» Это мы-то — кузьки. Ах, подлец!

19 марта

Сегодня послал письмо С. Швецову в «Р.В.» в ответ на его письмо, в котором он заподозрил меня в plagiatе: не сдул ли я где-то стихов. «Все ближе заветная дата»? Послал ему «На Кенигсберг»:

Мы видели много на нашей земле
Разбитых дотла городов:
И Жиздры кроваво-кирпичный след,
И камни твои, Могилев...
Всю ненависть нашу и горечь утрат
В стихах рассказать не берусь я.

Сейчас под твоими ногами, солдат,
Всем миром проклятая Пруссия.
Ты будешь наказан советским бойцом,
Кровавое логово Коха
За русских, расстрелянных под Осовцом,
За тяжесть последнего вздоха.

23 марта, Кноппельсдорф

Вчера утром я направился в деревню Нойхаузен в 481-й минометный полк, где должно было состояться совещание комсоргов спецчастей. Мой путь лежал через д. Кноппельсдорф, где стоит пост Дунюшкина. Я разыскал его и посидел у них.

Совещание проходило в уютной, хорошо прибранной комнате какого-то старинного замка. Это первый настоящий замок, который мне довелось видеть. Совсем как в романах Вальтера Скотта: зубчатые стены, башни, тяжелые ворота, ров, когда-то наполнявшийся водой. Так и несет от каждого камня Средневековьем, тевтонством.

Совещание продолжалось часов пять. Первые полтора часа занял майор Найштут: «Приказ №5 — боевая программа окончательного разгрома врага». Потом выступления с мест. И я кратко выступил.

25 марта

Стоит чудесная весенняя погода. Проселочные дороги подсыхают. Появились бабочки, набухли почки сирени. Воз дух пахнет землей, навозом и прелью, протяжно и грустно свистят дрозды.

Весной у меня всегда как-то тревожно и грустно на душе. Ждешь чего-то нового, неизвестного. Что принесет эта весна — победу? Встречу с Ниной?.. Весна лучшее время для встреч, для любви.

Морозов, Дайнеко и я вчера были посланы в расположение 39 армии занять дома для ПВО и роты. 39-я уходит на другой участок. В этой деревне стоит Юрескул. Ночевали у него в доме из восьми комнат.

29 марта

Ночью последнюю ночь в роте. Все-таки направляют меня на курсы. 27 месяцев протекло здесь. Ко всему и ко всем привык, а то и сроднился. Ухожу с таким же чувством, с каким в 42-м уходил из дома. Уже рас прощался со всеми. Комсомольские дела сдал Михайлину.

О чём жалею? Единственно, о друзьях. Ведь как привык я к Адайчику, к Райсу, к Шуре Бароновой да ко всем.

Путь лежит в д. Вилау км. 6-8 от Тапиау. Итак, в путь! Прощай 103-я!

3 апреля

Напрасно я прощался. Видно, в этой роте и кончать войну придется. Лантух-пентюх из политотдела дал мне неверный адрес. Курсы не в Вилау, а в Швингдау. Я два дня преблуждал, устал, как черт, и пропала вся охота идти на эти курсы. Да и шел-то я без большого желания.

По дороге прочитал заявление Рузвельта, чтобы его сенаторы и секретари были начеку «на случай немедленной победы в Европе». Я перепугался. Ведь так хочется встретить окончание войны среди старых друзей в родной роте.

Прихожу в политотдел. Капитан Завязкин, гад, посыпал меня в отдел кадров 41-й армии. Но все-таки с Пьянцевым удалось все уладить, хотя он был недоволен моим отступничеством. И я направился в свою роту.

Дома меня ждали два письма от Нины (с буквками), от мамы и от С.Шевцова. Нина тяжело болела гриппом. Мама посыпала к ней врачей из своей больницы. С.А. приглашал зайти к нему. Я на другой же день пошел. Меня встретил маленького роста очкастый капитан а/с в помятой гимнастерке без пуговицы на рукаве. Два ордена — Красной Звезды и Отеч. Войны. Видно, лет сорок, но во всем чувствуется что-то молодое, непосредственное. В письмах он всегда писал «Вы», а тут сразу на «ты». И это было естественно, непринужденно. Но как же он теперь будет обращаться в письмах?

Сразу заговорил о стихах. Сказал, что мои «Мечты о встрече» солдаты вырезали и посыпали домой. Посоветовал кое-что изменить в «Кенигсберге» и послать его во фронтовую газету. Хотел «Мечты» и кое-что еще послать Степану Щипачеву. Видимо, знаком с ним.

В «К» я изменил вторую строфу:

Сейчас наша месть за родные края
По прусским дорогам идет.
Врага добивает в последних боях
Разгневанный русский народ.

8 апреля

На 6 было назначено общее комсомольское собрание, но вдруг явился Эткинд и объявил, что ротный приказал к 17 часам всем быть на своих местах. Все разъехались. Но мы все-таки провели бюро, на котором исключили из комсомола Полину Кузнецова.

Меня с Кармановым послали в 1-й взвод. К 15 часам прибыли в Нойхоф. Все вокруг разбито. Устроились со своей рацией на чердаке чудом уцелевшего дома. Связались с ротой. Связь есть!

Начался решающий штурм Кенигсберга. Передовые части уже прорвались за внешний оборонительный обвод. Город горит. Горизонт всю ночь в огне. Сейчас сообщили, что он окружен полностью, отрезан от моря и от Пиллау. Меняем дислокацию — в Кенигсберг!

9 апреля, Кенигсберг

Расположились мы с Кармановым с нашей рацией на втором этаже небольшого домика на окраине Кенигсберга под названием Ротенштайн

День весенний, теплый. Весь день ведут колонны пленных. Удивляешься их количеству. Вероятно, сдаются в массовом порядке. Время от времени немец бросает к нам снаряды, через нас и в сторону. Очень редко. А его буквально засыпают. На площади метрах в 150 от нас стоят

штук 15 «катюш». Когда их залп застает неожиданно, пугаешься. Когда-то они после каждого залпа меняли позицию, а теперь весь день бьют с одного места. Артиллерия и впереди и сзади нас — всюду. Сейчас бьет батарея. Что метрах в ста от нашего дома. Студебеккеры только успевают подвозить снаряды.

Пленных тысячи и тысячи. Есть и гражданские — все нации Европы! Павлов говорит, что у немцев осталась площадка 4x6 км. Город горит, горит, весь окутан черным дымом.

Петъка Карманов притащил маленького щенка, которого мы в честь нашей радиостанции назвали Шаплаем. Связь у нас работает безотказно.

10 апреля

Итак, вчера в 9.30 вечера гарнизон Кенигсберга капитулировал. Остается Пиллау. Ну, если уж не выдержал Кенигсберг двух дней нашего штурма, то она и дня не продержится. Теперь фронт от нас, если не считать Пиллау, км 400. Василевского сменил Баграмян.

Что ж теперь будет с нами? На Дальний Восток? Говорят, две армии туда уже отправились.

11 апреля

Вчера весь день пробродили по Кенигсбергу. Трудно представить, как он выглядел до войны, когда видишь кругом развалины. Город в пыли, гари, дыму. По всем улицам снуют сотни машин, повозок, бесчисленными колоннами бредут пленные (всего их 92 тыс.), наши освобожденные русские. Французы со своим красно-бело-синим флагом усталые, но радостные.

Во дворе одного дома набрели на немца, сносно говорящего по-русски. Портной. Приняв меня за офицера, предложил свои услуги. Очень обрадовался, узнав, что я понимаю его по-немецки. Пристал с просьбой вернуть ему какой-то жакет. Насилу отвязался.

Еще вчера город обстреливался либо в моря, либо из Пиллау. Сегодня уже нигде не слышно никакой стрельбы.

Для взвода привезли трофеи: 30 банок консервов, компот и еще что-то.

Я нашел немецкий пистолет.

В подвалах много убитых немцев.

14 апреля

«Мы рады, что наш январь принес союзникам такой апель. Радуясь, мы заняты делом. И май в этом году будет действительно маем» (И.Э. Перед финалом. Кр. зв. 7 апреля).

15 апреля

Позавчера вернулся из взвода Павлова в 4 утра. Ехали на машине, запутались в городе, кончился бензин. Савчук, Михайлин и я шли пешком. Савчук на каждом слове матерится и оттого мат у него бессильный, бесцветный. Видимо, очень честолюбивый человек.

Умер Рузвельт. Как жаль! В такой ответственный решающий момент. Ведь неизвестно, как поведет дело Трумэн, хотя и обещает продолжать его линию.

19 апреля

Сегодня в 3 часа комсомольское собрание. Повестка: «Как показали себя комсомольцы в последней операции». Думаю, что соберется большинство.

Недавно зашел к нам полк. Горбаренко, удивился: «Как, разве ты не уехал учиться?» Потом ему не понравились мои зеленые трофейные брюки, которые я и ношу-то всего два дня после изорвавшихся. После брюк не понравилась комсомольская работа: «Не вижу, чтобы комсомольская жизнь была ключом». Ишь ты, ключ ему нужен. За брюки велел старшине наложить на меня взыскание. А закончил так: «А ведь вы, Бушин, имеете среднее образование!» И такие, мол, брюки. И чего я ему не нравлюсь? И ведь это давно.

Союзники окружили Нюренберг, взяли Марбург, подходят к Гамбургу, почти не встречая никакого сопротивления. Сдача немцев союзникам в плен носит массовый характер.

Даже погибая, они не оставляют надежды поссорить нас с союзниками. Им сданы богатейшие районы, запас имперского золота. Пожалуй, ими руководит не только страх, как считает Эренбург. В ст. «Товарищ Эренбург упрощает» об этом сказано достаточно ясно. Александров напомнил слова Сталина о том, что Гитлер не Германия, а Германия не Гитлер. А то у нас действительно впали в упрощение, в отрицание всего немецкого. Полезное напоминание.

22 апреля

В первом часу заходил Ванька Чеверев, сказал, что только что принял сводку: наши на окраине Берлина! Подходят последние сроки...

23 апреля

Только что пришел от С.Швецова. Показал ему это:

О, как мечтали мы о нем —
Священном дне расплаты,
Когда завоют под огнем
Берлинские форштадты!
И перед завтрашим судом
Берлин, как вор, дрожит.
И в страхе жмется к дому дом,
К насильнику бандит.
Да, ты не зря, Берлин, дрожишь.
Как истинный солдат,
К тебе пришли солдат Париж
И воин Сталинград.. и т.д.

Ему не понравилось. Сплошная, говорит, символика: города идут, идут, а что дальше? Должно быть, он прав.

Сегодня и завтра при 693 ОЛБС семинар комсоргов. Проходит оживленно и весело. Некоторую приподнятость в семинар вносят девушки — мл. лейтенанты, одна с почтовой базы, другая из цензуры. Славные девчата.

Жуков и Конев ворвались в Берлин с севера и юга. Не уступили союзникам первенства. Какой радостью охвачены все! Говорят, мы уже соединились с союзниками, и Германия разрезана надвое.

29 апреля

Дежурю. В 4 часа была тревога.

Эткинд смешон и жалок в своем стремлении копировать ротного. А ведь оригинал-то не слишком хорош. Теперь Э. Тоже каждую фразу, густо пересыпанную скучным матом, кончает словами: «Понял, нет?» Так делает Савчук. Манеры Эткинда, и до того развязные и развинченные, стали еще противнее. И даже Михайлин поддается этому психозу попугайства. Говорят, 1 мая в Кенигсберге состоится парад. Такое чувство, словно война уже кончилась. Конечно. Ведь наша 50-я армия уже не воюет, мы оказались в глубоком тылу.

Восточно-Прусская операция, в результате которой была занята вся Восточная Пруссия и город Кенигсберг (9 апреля), началась 13 января 1945 года и завершилась разгромом Земландской группировки противника 25 апреля. В ней участвовали войска двух фронтов — 3-го Белорусского (генерал армии И.Д.Черняховский, а после его гибели с 20 февраля — Маршал А.В.Василевский) и 2-го Белорусского (Маршал К.К.Рокоссовский). Моя 50-я армия входила в состав 2-го Белорусского. Всего в нашей группировке было 133 дивизии, 8 корпусов и 10 бригад. Это 1 млн. 670 тыс. солдат и офицеров. Их поддерживала авиация 1-й и 4-й воздушных армий. В ходе наступления вражеские войска были окружены, расчленены на три части и 25 дивизий уничтожены, а 12 разгромлены и взяты в плен. Лишь части сил 2-й немецкой армии удалось отойти в Восточную Померанию. В боях за 103 дня сложили головы 126 464 наших солдат и офицеров, что составляет 7,6% от общего числа войск. А ранено — 458 314 человек. Таким образом общие потери — 584 778 человек, или 5677 в сутки (Цит. соч. С.163—165)...

В ноябре прошлого года в гостях у своей старой приятельницы И.Е., живущей в Москве и в Париже, я познакомился с одним иностранцем. Человек средних лет, автор нескольких исторических книги, женат на русской. Я подарил ему и его жене свои новые книги. Видимо, прочитав их, и почему-то решив, что в наших взглядах есть нечто общее, близкое, он прислал мне по интернету свою довольно странную статью. Я прочитал ее с большим удивлением и 14 января этого написал ему ответ. Вот он почти целиком.

«Приходится сказать, что самое огорчительное в вашей статье — то, что вы пишете о моей родине, об Октябрьской революции, о Великой Отечественной войне. Вы употребляете слова, смысл которых вам неизвестен, пишете о событиях, значение которых не понимаете. Ссылаетесь, например, как на несомненный авторитет, на Черчилля: «Октябрьская революция большей частью была творением евреев». И вы стараетесь этот вздор тиражировать. Но вам надлежало бы знать, что, как писал о нем еще Маяковский,

Достопочтенный лорд Черчíлль
в своем вранье переперчил,
Орет как будто чирви
вскочили на Черчíлле.

(Тогда у нас говорили именно так: Черчíлль.)

Он лишь на несколько лет уступил Гитлеру пост врача России №1.

А Октябрьская революция была творением русского народа. Да, некоторые евреи тоже принимали в ней участие. Но революцию надо было не только совершить, но еще и защитить. За это сложили головы миллионы русских людей.

«Роберт Уилтон, кор. «Таймс», — пишете вы, — привел список 384 советских комиссаров, из которых более 300 евреи». Слово «комиссар» у нас имело много значений. Были народные комиссара — наркомы, это министры, и в самом

начале их было как во Временном правительстве — 15 человек, среди них один еврей — Троцкий. Были многочисленные комиссары разного уровня в армии, начиная с батальона. И были комиссары, имевшие разного рода полномочия, — по заготовке хлеба, по борьбе с преступностью и т.д. Какие же комиссары имеете в виду вы с Уилтоном? Неизвестно.

О народном комиссаре Л.Кагановиче пишете, что он «отдал распоряжение о взрыве в 1931 году храма Христа-Спасителя». Доказательств у вас никаких. А сам Каганович рассказывал вот что: «М.Калинин сказал, что есть мнение архитекторов — строить Дворец Советов на месте храма Христа-Спасителя. Это было предложение АСА — Ассоциации советских архитекторов. Еще в двадцать втором-третьем-четвертом годах Щусев и Жолтовский предлагали поставить Дворец Советов на месте храма, говорили, что он не представляет художественной ценности, даже в старину так считали.

Другая ценность — что народ собирал деньги на храм. Но даже Щусев не возражал, говорил, что храм бездарный. Stalin сразу не решился, выявлял мнения, колебался. Когда составили план, его подписали Stalin, Молотов, Каганович, Калинин, Булганин. Я знал, что все черносотенцы свалят эту историю на меня.

Дочь Майя Лазаревна говорит, что в день взрыва храма отца не было в Москве.

— Зря, конечно, это сделали, — сказал Каганович (Ф.Чувев. Так говорил Каганович. М.1992. С.47). Александр Викторович Щусев (1873—1949) наш знаменитый архитектор, четырехкратный лауреат Сталинской премии. Автор множества проектов от церкви на Куликовом Поле и Казанского вокзала в Москве до Мавзолея Ленина и гостиницы «Москва». Не менее известен и Иван Владимирович Жолтовский(1867—1959). И вот даже эти большие авторитеты предлагали снести храм. Время было такое! О нем прекрасно сказал Николай Тряпкин в предсмертных стихах, которые я ниже приведу.

Еще вы шьете Кагановичу, что он «руководил голодомором на Украине». Да вы хоть подумали бы, зачем руководителям был нужен сознательно организованный мор в своей собственной стране. Тут вы похожи на тех антисоветчиков вроде Радзинского, которые обвиняют коммунистов в развязывании в 1918 году Гражданской войны. Зачем она им была нужна, если они взяли власть и намерены были заняться мирным строительством? Так и в 1932-м — разворачивалось строительство, нужны были рабочие руки и вот Сталин и Каганович устраивают мор? Тут вы лишь подпеваете украинским националистам, ненавидящим страну вашего проживания. Никакого голодомора не было, а был голод в результате засухи, от которого жестоко пострадали и украинцы и русские. Почитайте книгу Мих.Алексеева «Драчуны». Там об этом сильно рассказано.

Со слов лжеца Солженицына вы пишете: «Самым тяжелым преступлением Сталина было так называемое «раскулачивание», стоявшее жизни миллионам крестьян». И сколько же миллионов — не интересовались? А у А.С. есть цифра. Кажется, 30.

«Сталин в беспрецедентном темпе проводил индустриализацию, несмотря на ужасные человеческие страдания». Что вы знаете об этих страданиях? Где вы о них начитались — у Геббельса или у Радзиховского? Да, темпы были стремительные. В 1931 году Сталин сказал: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Если мы это не сделаем, нас сомнут». Только благодаря этим темпам мы и раздавили фашизм.

«В войне против национал-социалистической Германии (вы не в силах называть вещи своими именами: против фашистской Германии) Сталин поставил на карту русского национализма». Во-первых, Сталин не в карты играл, как Гитлер, а защищал родину. Во-вторых, речь шла не о национализме, как у Гитлера, а о патриотизме. Это должны понимать и швейцарцы, известные своей патриотической службой при чужих дворах.

«Без обращения к национализму СССР ни за что не выиграл бы войну». Это просто глупость, которую не хочется объяснять. Впрочем, замечу: авантюрист Адольф обратился даже не к национализму, а к расизму. И что, это ему помогло?

Вы осуждаете нас: «Ни СССР, ни западные союзники и отдалено не собирались думать о компромиссном мире с Адольфом Гитлером». А этот кровавый болван Адольф думал? Ведь сколько времени и возможностей было у него по-думать! Хотя бы после того, как мы вышвырнули его вшивую орду со своей земли. Или хотя бы когда Жуков уже стоял на Зеевских высотах в 60 верстах от Берлина. Нет, он предпочел улизнуть от ответственности, бросив свой народ на произвол судьбы. Как и Геринг, Гиммлер, Геббельс и множество других фашистских негодяев.

И с какой стати было думать нам о компромиссе после того, как этот Адольф порвали два договора с нами, вторгся на нашу землю, учинил невиданные зверства, уничтожил миллионы наших граждан, а ход войны все равно шел в нашу пользу.

Вы пишете: «С точки зрения западных держав единственной разумной политикой было бы захватить как можно больше территории в Вост. Европе, прежде чем Красная Армия опередит их». Это и ваша точка зрения. Но Красная Армия уже далеко опередила ваши мечты.

И вы опять горько сожалеете: «Англо-американцы могли бы захватить три ключевых города Центр. Европы — Берлин, Вену и Прагу раньше русских, но Д.Эйзенхауэр приказал своим войскам остановиться, так что все три города были взяты Красной Армией». К вашему огорчению. И вы читали этот приказ: «Янки, ни шагу вперед!»? Или знаете, когда он был дан и под каким номером? Вы это опять взяли с еврейского потолка Сванидзе или Млечина.

А чего же это Д.Э. так странно себя вел? Из любви к России? Но назовите хоть одну страну, армию, полководца, которые, имея успех в войне, не стремились бы к наивысшему достижению, к наибольшему захвату территории

противника. Может быть, американцы остановились когда-то в войне против Мексики? Да, после того, как отхватили половину ее территории. Ведь Д.Э. выглядит у вас просто идиотом. Но он таким не был. Как и Черчилль, которого вы превратили в «статиста», коим он тоже не был.

Вот что 1 апреля 1945 г. Черчилль писал Рузвельту: «Русские армии, несомненно, захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они захватят также Берлин, то не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу, и не может ли это привести их к такому умонастроению, которое вызовет серьезные и весьма значительные трудности в будущем? Поэтому я считаю, что с политической т.з. нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток, и в том случае, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять» (W.Churchill. The World War. Vol. 4. P. 407).

Такое желание вполне естественно и закономерно, особенно если принять во внимание, повторю, что Черчилль был соперником Гитлера в своей вражде к России. А Берлин, увы, не оказался в пределах вашей досягаемости.

Но, может быть, как вы уверяете, захвату Берлина противился идиот Эйзенхауэр и издал приказ «Янки,тихо! Дайте русским взять Берлин!». Нет, он был не идиотом, а талантливым и разумным генералом. Еще в конце марта 1945 года он «считал, что Берлин не может быть объектом западных союзных армий, т.к. Красная Армия находится ближе к нему, чем союзные войска» (Дж. Эрман . Большая стратегия. М. 1964. С.318). И потому главное — захватить Рур. Однако уже 7 апреля Эйзенхауэр писал Председателю Объединенного комитета начальников штабов: «Я первый признаю, что война ведется для достижения политических целей. И если ОКНШ решит, что стремление взять Берлин перевешивает чисто военные соображения, я с радостью пересмотрю мои планы, чтобы осуществить такую операцию» (История внешней политики СССР. 1945—1980. Т. 2, с. 254). И в те же дни фельдмаршалу Монтгомери: «Ясно, что Берлин яв-

ляется главной целью. По-моему, тот факт, что мы должны сосредоточить всю нашу энергию и силы с целью быстрого броска на Берлин, не вызывает сомнения... Если у меня будет возможность взять Берлин, я его возьму» (Важнейшие решения. Перевод с англ. М.1964. С.318).

Но не взял. В чем же дело? Вы опять пытаетесь все объяснить происками евреев: «Рузвельт, ставший марионеткой его преимущественно еврейских и полностью просоветских консультантов решил преподнести половину Европы коммунизму на «блюдечке с голубой каемочкой». Как у вас рука поднялась написать такой вздор, столь оскорбительный для России, страны вашего пребывания...Или не соображаете, что пишете? Вот вам эти «блюдечки с каемочкой».

Вена. Операция, в результате которой 6 апреля 1945 года она была взята, обошлась Красной Армии в 38 661 убитых и 129 279 раненых, всего — 167 940 (Цит. соч. с. 168).

Берлин. Операция, в результате которой он был 8 мая 1945 года взят, обошлась нашему народу в 78 291 убитых и 274 184 раненых, всего — 352 475 (там же, с. 171).

Прага. Операция, в результате которой она была 9 мая 1945 года взята, стоила нашему народа 11 265 убитых и 38 083 раненых, всего — 49 348 (там же, с. 173).

Сложите-ка эти страшные цифры. Не превосходят ли они все население вашей Швейцарии, которая всю войну снабжала Гитлера своей прекрасной оптикой. Или еще требуется добавить восточно-прусскую «каемочку»?

А уж такие ваши мечты, чтобы немцы вышли на улицы и подняли свой голос «против той лжи, которая с 1945 года висит, как свинцовая гиря, на немецком народе», заставляет думать, что у вас на плечах не голова. в свинцовую гиря.

А такие речения, как «коммунисты и сионисты действовали по принципу «Маршировать отдельно, сражаться вместе» — это из арсенала Геббельса.

А это: «настоящими победителями во Второй мировой войне стали братья-близнецы — еврейский коммунизм и еврейский сионизм». Так, если бы он воскрес, не сказал бы

сам Гитлер, ибо он все-таки знал, что победил советский народ во главе с русским.

А назвать Нюрнбергский процесс «мерзким фарсом», «orgiaей мести» не посмел бы даже он, этот ваш Адольф.

«Благодаря пособничеству западных руководителей Сталин стал властелином половины Европы». Жаль, что не всей, в т.ч. и вашей Швейцарии. Тогда там не сажали бы в тюрьму «ревизионистов», а награждали бы орденом «Дружба народов».

Вы не оставили без своего пронзительного внимания и послевоенное время. «Марксистская идеология запрещала советским руководителям распустить неприбыльные колхозы и распределить землю между крестьянами». Ну вот нынешние правители распустили. И что получилось? Страна лишена продовольственной безопасности. Запад может задушить нас голодом. Вы это понимаете? Кое-где колхозы сохранились, и только там среди вымирающих деревень люди живут по-человечески. И прежде большинство колхозов вполне обеспечивали страну и были прибыльны. А где фермеры? Их единицы. Они влачат жалкое существование.

«Марксистская идеология принуждала вкладывать огромные суммы в поддержку «братских революционных движений во всем мире». Да, революционные движения для нас братские. Швейцарцу это не понять. Но ответьте хотя бы, какая идеология принуждает американцев вкладывать огромные суммы во все контрреволюционные движения, в Израиль и т.д.

«Марксистская идеология принуждала вкладывать огромные деньги в размещение войск в Вост. Европе». А вы знаете, что американские войска с 1945 года до сих пор находятся и в Германии, и в Японии? Если не знаете, чего же судите марксистскую идеологию?

«Она побудила их в дек. 79 г. к безумному решения войти в Афghanistan». Просто удивительно, сколько анти-советского вздора может поместиться в одной швейцарской голове. Во-первых, мы туда вошли после многочисленных просьб афганского правительства. Во-вторых, мы

там не только воевали, но и строили дороги, больницы, школы. В-третьих, если бы не вошли мы, то вошли бы американцы. В-четвертых, как только мы ушли, они это и сделали. И война продолжается там до сих пор, как и в Ираке. Видели на днях, как американские солдаты ссут на трупы убитых пленников? Вот оно, безумие-то настоящее.

Вы, конечно, не могли промолчать о «еврейских корнях» Ленина. Возможно, что мать его была наполовину еврейка. Но в России, сударь, это не работает. Даже наш самый великий национальный поэт имел кое-какие «африканские корни». О себе он однажды сказал: «Потомок негра безобразный...» И однако же он, как сказал другой поэт о нем самом и его трагической гибели в 37 лет, —

Любовь и горе всей земли...

И только опять же лишь евреи любят порассуждать на сей счет о Пушкине, как предпринял это, например, возможно, известный вам советский журналист-международник Генрих Боровик на XIX партконференции.

Запомните: Ленин — великий сын русского народа.

А то, что вы вместе с Путиным почитаете грязного лжеца и русофоба Солженицына, это вполне закономерно.

Вы пишете: «Кто, как автор этих строк пережил Холодную войну, будучи гражданином Швейцарии, для того СССР был подлинным образом врага. Мы не хотели Берлинской стены, танков в Праге, процессов против диссидентов, очередей в магазинах. Мы были правы, когда не хотели этого». Я, переживший и Горячую и Холодную, будучи гражданином СССР, тоже кое-чего из перечисленного не хотел. Например, глупых процессов над диссидентами, которые только придавали им известность и делали из них «жертвы тоталитаризма». Их надо было просто высыпал или высмеивать. Но для вас СССР как был, так и остался врагом. В этом вся суть.

Так вот, милостивый государь, вы мните себя борцом против сионизма, а на самом деле советские и американские сионисты до такой степени оболванили вас, что вы со

всем доступным вам старанием именно на них и работаете. Потому что недооцениваете сионистов, не понимаете, насколько тонки и ловки приемы их пропаганды.

Позвольте на этом наше случайное знакомство считать законченным.

В.Б.».

1 мая

Сегодня в Москве был парад. Это парад победителей. Парад на Красной площади и знамя Победы над рейхстагом. Какое это, вероятно, величественное зрелище — сегодняшний парад. А каким энтузиазмом охвачены люди! Первый парад после 41 года. Думаю, что 7 ноября 41 года Сталин предвидел этот майский парад. Интересно, была ли демонстрации. Может быть, и Нина на ней была.

Перед праздниками я был все дни занят. Писали лозунги, плакаты, делали знамена. Я научился замечательно рисовать серп и молот. На это дело пошли немецкое тряпье, перины — замечательный материал! На одной улице с нами живут немцы, и они вывесили красные флаги над каждым домом.

Вчера был вечер. Пименов сделал доклад. Потом выступил полковник Горбаренко. Вручали награды. «За отвагу» — Михайлину, Тупоносову, Тамаре Гусевой, Чевереву — многим. Между прочим, генерал все представления понизил на ступень. Откровенно говоря, было обидно и, вероятно, заметно по мне. Потому что когда выпили по первой и взялись за вторую, ко мне со спиртом в стакане подошел Михайлин и сказал: «Володя, я тебя понимаю и всегда понимал. Давай чокнемся». Он хороший парень, но он может жить со всеми мирно. А я вот с Савчуком не могу. А ведь я ничего плохого ему не делал и потому не понимаю его вражду ко мне. Самоуверенный наглец! Между прочим, за два месяца пребывания в роте его уже наградили Красной Звездой. Его, должно быть, любят полковник.

Между прочим, сегодня зачитали приказ о присвоении мне капрала.

6 мая

Провели подписку на заем. Я был во 2-м взводе. Взвод дал 9,4 тысячи. Я подписался на 500. Рота дала 48 тыс.

Какое-то тревожное ожидающее настроение.

Геббельсы застрелились. Их надо во что бы то ни стало найти.

Ермаков усиленно изучает фотографии Гитлера — вдруг попадется.

Против союзников немцы уже не воюют. И северная и южная группировки капитулируют. А вот здесь у нас на какой-то несчастной Фриш Нерунг огрызаются, как черти.

Все чаще разговоры заходят о демобилизации. Ходит слух, что с 15-го будут отпускать девчат. Ах, не дожила Надя Платонова! И ведь как глупо погибла: прыгнула с полуторки, держа в руке карабин, а он был заряжен и на взводе, при ударе о землю прикладом — выстрел и прямо в голову...

10 мая, Кенигсберг, Ротенштайн

Второй день мирного времени. Как непривычно и странно: война кончилась... Вчера уже с двух часов ночи почти никто не спал. И до утра была пальба изо всех видов оружия. И раненые в госпиталях ликовали. Утром у репродуктора политотдела, когда еще раз передавали акт капитуляции, встретил Швецова. Мы поздравили друг друга и поцеловались. Позже он пришел к нам на митинг, читал стихи.

А вчера, в самый-то День Победы я весь день гонял на велосипеде, которых здесь множество. Радость требовала физического выражения.

Днем вчера на одном из перекрестков были танцы, танцевали генерал Гарнич и сам Озеров, наш новый командарм (Федор Петрович, 1899—1971. Два ордена Ленина и др.).

Сейчас трудно нам понять все значение нынешних дней. Главное чувство — радость, торжество. Какое ликование в Москве, во всей стране! Как рада и Нина, теперь она ждет меня скоро.

Все гадают: когда будут отпускать, кого в первую очередь.

В такие дни, как сегодня, лучше молчать, все равно не выскажешь всей радости. Но не молчится!

11 мая

Вчера вечером пришел С.А.Шевцов и капитаном Марковым и дали редакторский заказ: написать строк 12—16 о том, как мы слушали Сталина. Часам к 12 я принес Шевцову 16 строк. Он уже спал. Встал, зажег свет, стали обсуждать. В трех местах он посоветовал исправить. Сейчас понесу в таком виде:

Если было б судьбой суждено мне
Жить до ста, даже тысячи лет,
И до тех бы времен я запомнил
Дня Победы и облик и цвет.
Слезы счастья и скорби на лицах...
Отстояли мы волю и честь!
Залпы тысячи пушек в столице,
О победе разнесшие весть,
И простое сердечное слово
Поздравленья отцом сыновей
В этот день мы услышали снова,
Дети разных земель и кровей.
Его слово нас в битвы водило,
В амбразуры бросало сердца
И его беспощадную силу
Враг сегодня узнал до конца.

Позже

О, кто без слез посмотрит ныне
На край измученный от ран,
На разоренные святыни,
На жертвы хищных англичан!

Это Байрон о Греции.

12 мая

Сегодня в «РВ» мое «Слово Сталина» напечатано. Я только начал было политинформацию, как приходит Шевцов и дает мне 5 экз. газеты: «Напечатали крупным шрифтом, как классика. Как Демьяна Бедного».

Последний выстрел где-то грохнул
И хлынула внезапно тиши.
Ты от нее с отвычки gloхнешь
И вдруг от радости молчишь.
А ведь какие, друг мой, речи,
Казалось, мог бы ты сказать!
Столица будет в этот вечер
Тебе опять салютовать.
То не привал настал короткий
Средь утомительных дорог.
Сегодня нету оперсводки
Советского Информбюро.
И воздух чист, синеет небо,
На листьях золотая пыль,
И зеленеют всходы хлеба...
Да, мир сегодня это быль!

Потом переписал так:

Где-то выстрел грохнул
И внезапно — тиши.
С непривычки gloхнешь
И молчишь.
А какие речи
Надо бы сказать!
Будут в этот вечер
Нам салютовать.
Не привал короткий
Посреди дорог —
Нет сегодня сводки
Совинформбюро.

Голубое небо,
Золотится пыль
И мечты из небыли
Превратились в быль.

18 мая

Стихи так и прут из меня в эти дни.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Теперь недолго ждать до встречи.
Во сне я вижу тот вокзал,
Где в долгожданный летний вечер
Опять гляжу тебе в глаза.
В них столько радостного света,
Что рядом меркнут свет огней.
Хоть в глубине и тлеет где-то
Тревога пережитых дней.
И в знак того, что все невзгоды
Теперь остались позади,
И не вернутся больше годы,
Тоской щемившие в груди,
Я положу на плечи руки,
Как это часто снилось мне
Все годы долгие разлуки,
Что были отданы войне.

20 мая

Сегодня в «РВ» напечатано «После победы». Хотя Шевцов и сказал: «Чемоданное настроение»

Сегодня открытие АДКА. Вчера наши комсомолки мыли там полы, принесли цветов. А они, канальи, дали нам всего один билет. Я отдал его Якушевой. Но билет нужен, оказывается, только для буфета, а на концерте могли быть все, и в кино тоже. Ведь ДК рядом с нами. Сейчас там танцы. В нашей комнате слышно музыку...

Сегодня уже второй выходной. Выходной!.. И особенно тоскливо: уж очень все напоминает мирную жизнь. А тут

еще от Нины долго нет письма. Последнее написала 9-го и обещала скоро написать еще, и вот нет. Что с ней?

А погода стоит чудесная. Весна в бурном расцвете. Распускается сирень. Я оборудовал неплохую спортплощадку. Еще 9 апреля в каком-то разбитом здании недалеко от Северного вокзала я заметил оборудованный спортзал. Вот туда и съездил на подводе два раза. Привез брусья, козлы, два турника, ядра, гири. Помогали мне немецкие ребята. А теперь есть и два хороших волейбольных мяча. Площадка для волейбола тоже готова уже. А парторг Гончаров ходит за Анькой, как хвост. Смотреть противно.

Оказывается, полковник за моими стихами следит. Был у Швецова разговор с ним обо мне. Ш. хвалил ему меня, а он недоволен, что я не поехал на курсы, думает, что я увильнулся.

27 мая, воскресенье

Писать дневник никакой охоты нет. Он превращается в стихотворный. А часто такие сильные чувства овладевают душой, но писать об этом в дневнике трудно.

Например, как много я передумал, перечувствовал, читая выступление товарища Сталина на приеме командующих. С какой теплотой сказал он о нас, русских: «Спасибо ему, русскому народу...»

Стихи пишутся гораздо охотнее, но иногда и стихи заставляю себя писать.

К Швецову захожу частенько, читаю стихи. Когда был последний раз, он завел речь даже о моем «лирическом голосе», о сборнике. Я ему, вероятно, нравлюсь. И он мне определенно нравится — понимающий, умный, чуткий человек.

Демобилизационные разговоры понемногу утихают. Никаких предпосылок. Тревожное чувство вызывает наглость лондонских поляков. Все еще артачатся. Пока не будет решен польский вопрос и обстановка вокруг Триеста, о демобилизации думать нечего.

Мы свято чтим и помним всех,
Кто жизнь за родину отдали.
Но я хочу сказать о тех,
Которым не салютовали.

Кто пал в начале дней войны,
Не увидав зари победы,
На берегах Березины
Всей горечи тех дней отведав.
Или в предгориях Карпат,
Или на западной границе,
Где мертвые с живыми в ряд
С врагами продолжали биться.
Кто даже, может быть, не знал,
Свой путь под пулями кончая,
Что другом вождь его назвал,
Судьбу страны ему вручая.
Они, как те, имеют право
На память вечную людей,
Кто путь войны прошел со славой
От первых до последних дней.

Завтра комсомольское собрание, первое после окончания войны. Вероятно, Завязкин будет вручать награды.

3 июня

Швецов обещает напечатать песню на мотив «Священной войны»:

Прошли огнем объятые
Военные годы.
Разгромлена проклятая
Фашистская орда.

Припев:

Ликуй, страна свободная,
Прекрасна и сильна.
Окончилась народная
Священная война.

Весь мир спасла от ужаса,
От рабства и оков
Своим великим мужеством
Страна большевиков.

И мы стоим уверенно
На вахте боевой.
Оружие проверено —
Мы вновь готовы в бой.

4 июня

Назревает большое событие для роты: мы куда-то едем. Вся армия остается на месте, а мы едем. Уже заготавливают на месяц продуктов, договариваются о вагонах, упаковывают, ремонтируют... Неизвестно только — куда. Есть слух, что на Дальний Восток. Я не верю, надеюсь, поедем не дальше Москвы. Конечно, хорошо бы из этой Пруссии вернуться в Россию. Адаев рассказывает, что Дюнюшкин поехал за пополнением. Да, это пахнет Д.В.

7 июня

Сегодня покинули Ротенштайн и направились на станцию в р-не Понарт, т.е. с северной окраины Кенигсберга перешли на юго-восток. Расположились в трехэтажном доме вблизи станции. Там пока делать нечего. Состав наш еще не подан. Все наше имущество лежит на путях. Погрузка, вероятно, будет завтра. Число вагонов для нас увеличили с 10 до 18. До сих пор неизвестно, куда едем. Хорошо бы дней на десять позже: во-первых, в ближайшие дни должны быть напечатаны «Бочонок» и «Ликуй, страна свободная»; во-вторых, в эти дни я уже мог бы получить, возможно, медаль «За отвагу». Впрочем, и по почте можно потом получить выписку из приказа.

Сейчас по Кенигсбергу шатаются группки наших пацанов. Я все больше встречал витебских и великолукских, но, говорят, есть и ивановские, даже куйбышевские. Вздесущие российские пацаны! Они отправляются за границу с буханкой хлеба и пол-литром молока. От Витебска до Кенигсберга едут три дня. А сейчас разъезжают по Кенигсбергу на велосипедах без шин, носятся с колясками, собирают трофеи. Как приятно видеть здесь, в Кенигсберге, русских пацанов!

12 июня, Режица

Понарт покинули 10-го в 10.45. Эшелон шел через Гутенфельд, Инстербург, Шталлпенен, Эйдкунен.

Протяжный ласковый свисток
Прошел над эшелоном.
И поезд двинул на восток
Со скрежетом и звоном.
Рябит от скорости в глазах,
Бегут дома Понарта,
Как будто кто-то их назад
Отbrasывал с азартом...

Приехали в Литву. Дальше — на Вильно. Там для лошадей взяли сена на продпункте. От Вильно повернули на север — на Двинск. Каунас я проспал. Проезжали его утром, часов в пять. Когда я проснулся, поезд стоял. Пошла Латвия — холмистые зеленые поля, красивые озера. После Двинска начались разговоры, что едем в Ленинград. Но ведь туда нас могли перебросить морем. В Двинске судьба не решилась: поехали на Режицу, где возможен поворот направо — на Москву. С пяти утра стоим в Режице. Соседний эшелон прошел на Москву. Неужели увижу?..

Поезд шел, подхлестывая даты,
Версты расстилая за собой.
На платформах ехали солдаты,
Только что окончившие бой...
Пили, балагурили, курили,
О родной мечтали стороне,
О войне, конечно, говорили...
О какой такой еще войне?

15 июня, ст. Шарья

В эшелоне творится безобразие. Большинство пьяны. Не проходит дня без драки. Все чаще отстают. Как только эшелон подходит к станции, сразу возникает базар. Продают перины, одеяла, простыни — все, что захватили. О, братья-славяне! Люди будут правы, если смотрят на нас пре-

зрительно. Я уже слыхал, как на платформе говорили: « Гляди, они все пьяные...»

Но можно ли осуждать нас, едущих с фронта на фронт, когда других демобилизуют... Уже поют: «Уходили комсомольцы на Японскую войну...» Да, теперь ясно: сегодня или завтра — новая война.

Кольку Шибаева на какой-то станции встретили мать и сестры. Только и успел сказать «Здравствуйте!» и «До свидания!» да обнять — и поезд пошел дальше. Солдату не судены долгие встречи.

Но как отрадно ехать по России. Какой милый народ! Особенно восхищают женщины. Ей-богу, на каждой станции влюблуюсь. Поразила меня молодая женщина в Рыбинске. Высокая, статная красавица. Может быть, потому так понравилась, что русыми волосами, свежестью лица напоминает Нину.

Ах, Нина, Нина, еще не скоро мы увидимся. Если увидимся.

18 июня

Сегодня минули Молотов. Стояли часа три. Весь эшелон помылся в бане. Порядок в эшелоне заметно улучшился.

Пишу после перерыва, вызванного пожаром в соседнем вагоне. Загорелось сено.

На разъезде Мулевка местная девчонка играла на гармошке и пела частушки. И все они были не плохи. Но спела и такую:

Лейтенанты, лейтенанты,
лейтенанты модные.
Хлеб разносите по бабам,
А бойцы голодные.

19 июня, Тюмень

Ни дня не обходится без ЧП. На последнем перегоне в соседнем вагоне один боец по пьянке застрелил другого. Поезд остановили только минут через 30—40 после выстрела. Ранение в голову, едва ли выживет.

23 июня

Рассказывают, что вчера на XII сессии Верх. Совета начальник Генштаба Антонов внес предложение о демобилизации 13 возрастов. Одни говорят, что демобилизации подлежат до 1908 года рождения, другие — до 1905-го. Будто бы всю зарплату за время войны выплатят снова. Старики, конечно, рады.

Эшелон двигается очень медленно. Прошлую ночь почти всю простояли недалеко от Новосибирска. Уж не усомнились ли в нашей необходимости на ДВ.

Сегодня опять было ЧП. На каком-то полустанке сукин сын сержант войск железнодорожной охраны выстрелил из нагана в живот инвалиду, зачем-то подошедшему к вагону. Инвалид упал. Солдаты все это видели. Кто-то крикнул «Бей его, мента!» И сразу орава озверевших солдат бросилась на сержанта и началось страшное избиение. Били долго, ожесточенно, яростно и кулаками и сапогами коваными. Я видел, что вмешиваться в дело значит разделить участь сержанта: настолько солдат возмутила его дурость, настолько ярость овладела толпой. Его хотели бросить под поезд, но поезд стоял. Я побежал к Павлову, но он не согласился идти со мной. Все же, кажется, не добили. Но все равно он уже не жилец.

Но как трогательны встречи с населением! Всюду, куда приезжаем, начинаются танцы, пляски, девушки кидают цветы, передают записки. И сколько их, хороших, красивых, милых...

4 июля

Итак, проехав 24 дня, сегодня выгружаемся на ст. Куйбышевка-Восточная. До нее осталось 152 км. Там стоит штаб фронта. Что же нас ждет? Все убеждает в том, что Японию будем бить. Уж скорее бы. Раздолбать бы ее, сердешную, и делу конец, и по домам.

Я начал эту тетрадь 25 января 44 года и кончу ее сегодня, 4 июля 45-го. Почти полтора года я делал записи от случая к случаю. Но все же главные события, кажется, не

оставил без внимания. События, но не мысли, мысли я записывал редко. Вероятно, потому, что не умею это делать.

Я начал эту тетрадь в белорусском лесу и, пройдя с нею всю Белоруссию, Польшу и Восточную Пруссию, оканчиваю на Дальнем Востоке.

За дорогу было много интересного, но в движении не всегда была возможность записать. Дневник буду продолжать вести, хотя пишу его неинтересно, но думаю, что и при этом он будет очень интересен потом.

Итак, моя старая тетрадь, отправляясь в вещмешок. На свое место появится новая, дальневосточная тетрадь. Долго ли она будет иметь право так называться? Поживем — увидим. Сейчас я смотрю в будущее спокойно. Все самое трудное — позади.

18 июля, ст. Куйбышевка-Восточная

Сегодня пятый день, как мы прибыли на место. Везли нас из Кенигсберга больше месяца. Понемногу начинаем привыкать к новым условиям. Вся рота пока в сбере. Отвели нам, я бы сказал, хорошую казарму. Она громадная! По углам две большущие печки, посредине шесть столбов, справа и слева по четыре окна. Этот зал мне напоминает тот, в котором я провел первые дни армейской жизни в училище химслужбы под Москвой. Только то помещение было еще больше.

Личный состав сейчас заново разбили по постам и говорят, что скоро посты будут выброшены. Комроты Савчук говорит, что удаленность постов от взвода управления будет огромная — до 200 км.

В этом городишке неплохо. В километре от нас протекает быстрая река Томь. Мы уже два раза ходили туда купаться — замечательно. А жара здесь стоит ужасная, изнуряющая, солнце не яркое, но печет так, будто его приблизили в два раза к Земле.

Вчера мы ходили в театр Дома Красной Армии. Правда, билеты не по солдатским карманам, от 18 до 25 рублей, но все-таки нашлись 40 человек любителей. Здесь дает гаст-

роли Московский театр комедии под руководством Рошина. Ставили «Испанского священника» Флетчера. Несмотря на то, что я уже более трех лет не был в театре, мне не смогло понравиться их искусство. Между прочим, с некоторыми девчатами из труппы я познакомился на реке, когда был там в первый раз. Среди них одна оказалась из Измайлова, с Третьей Парковой, соседка.

Полезное, что я извлек из этого посещения — там имеются читальный зал и библиотека. Спрашиваю у барышни: «Можно записаться в библиотеку?» Не отрывая глаз от тетради, в которой она что-то пишет, отвечает: «Пожалуйста». Потом поднимает глаза на мои погоны и спрашивает: «Ах, я думала... Библиотека только для офицеров». Но читальней-то, слава Богу, можно пользоваться всем. Да, здесь, в тылу, где живут по мирным порядкам, чувствуется грань, которую проводят между солдатами и офицерами. Я ее воспринимаю как оскорбительную. Беркович, чертов сын, все пророчит: «Погодите, скоро на воротах парков и театров будет написано: «Собакам и солдатам вход воспрещен». Когда-нибудь он договорится!

Думаю воспользоваться читальней. Но беда, что здесь шагу не сделаешь без увольнительной. Вообще бумажка здесь царит. Может, оно так и надо — аборигенам знать лучше. Парторг Гончаров ходил в политотдел и рассказывает, что для того, чтобы добраться до какого-нибудь начальничка, надо прежде через отдел подать заявку, получить пропуск, и уж потом вас соизволят пустить. У нас до самого Александрова легче было дойти, чем здесь до какого-нибудь лейтенанта. Это же замораживает, тормозит работу. Гончаров спросил, почему так много волокиты, ему девушки из партучета объяснили: это бдительностью. На фронте, дескать, бдительности нет, а вот у нас... Но потом они все же сознались, что все это от избытка времени и людей. Люди здесь служат подолгу. Двадцатилетнего лейтенанта не встретишь. С наградами почти нет. На нас смотрят как на мамонтов: «Фронтовики!»

Вчера Савчук решил подвести итоги нашего переезда. Развалился перед всей ротой в кресле, задымил папиросой — и начал. Просто неохота писать все то, что он говорил.

До сих пор не могут прикрепиться на почте!

23 июля

Нет охоты браться за дневник. А дни ползут, ползут... И до сих пор наше положение (да и не только наше, а общее) неопределенно. До сих пор продолжают идти на восток эшелоны. Трудно себе представить, сколько сил здесь сейчас собрано. Будет ли в конце концов война с Японией? В официальной политике пока никаких изменений нет. Все с интересом ждут конца Берлинской конференции. Может быть, это определит. Но я думаю, что если с Японией что-то будет у нас, то это пройдет скоротечно: у нас подавляющее превосходство. И все-таки 13 возрастов к 46-му году домой поедут.

Положение нашей роты тоже неопределенно. Савчук поехал в штаб фронта в Хабаровск. Вероятно, там решится вопрос о нас. Есть предположения, что мы будем фронтовой ротой.

В армейской газете «За счастье Родины» уже было напечатано одно мое стихотворение. Послал еще «на конкурс», еще — в «Тревогу», «Амурскую правду» и «Тихоокеанскую звезду». Я не из ленивых...

На почтовой базе, которая рядом с нами, служит очаровательный ефрейтор, которая очень недружелюбно относится к нам с Райсом.

26 июля

Вчера в дивизионе бронепоездов капитан из политотдела прочитал доклад о международном положении. Капитан молодой, лет двадцати шести, с правильной культурной речью, что встретить нелегко. Весь доклад он именно читал, изредка подымая глаза на аудиторию. Это, может быть, и не плохо, не отвлекает слушателей созерцанием

своей персоны. На мой вопрос о сущности происходящих во Франции событий, связанных с Генеральными штатами, ассамблеей и т.п., путем не ответил. Говорил о борьбе демократии с реакцией — одним словом, отдался общими словами. А мне хотелось бы это уяснить себе, я как-то не обратил на это внимание в газетах. Доклад он закончил призывом: «Водрузим знамя победы над Токио!»

Старшину Басова заменили — ст. с-т Чабан из пульроты.. В первый же вечер, когда он повел нас на прогулку, произошла неприятность. Мы отнеслись к нему сначала с недоверием и даже с некоторой враждебностью, отчужденностью. Дескать, мы воевали четыре года, а ты нас, не нюхавший пороху, учить будешь. Такое мнение чувствовалось. Это вздорное мнение, конечно. Ведь дальневосточники не виноваты в том, что они не были на фронте. Их пребывание здесь было необходимо. А если бы они попали на фронт, они бы, конечно, показали себя не хуже тех, кто там был. Я представляю себе их недовольство судьбой, досаду. И в будущем со стороны дураков можно ожидать выкриков: «Сидели в тылу, а мы воевали за вас!» Вот против этого надо бороться умно, умело, настойчиво. Но ни в коем случае нельзя умалять и заслуги фронтовиков, как это делает Савчук, который просто издевается над ротой. А что он видел сам?

Так вот, когда старшина подал команду «Запевай!», песни не получилось — пели единицы. Разъяренным чертом выскакивает лейтенант Эткинд.: «Они у меня запоют!» Побился минут десять, бросил — не запели. Вышел ст. л-т Пименов. Его уважают в роте, да и надоело маршировать — кое-как спели.

У Эткинда собачий слух, вероятно, выработанный его образом жизни. Он услышал, как я в строю сказал: «Слов не знают». Когда кончилась прогулка, вызывает к себе: «Агитируешь?» В общем, лаялся как паскудная собака. А я бесил его своим спокойствием и холодным выражением.

Когда Савчук приехал из Хабаровска, он ему, понятно, поспешил об этом сообщить. Этот тоже вызвал, и тоже, мер-

завец, начал лаяться. И опять его больше всего злило мое спокойствие и улыбки. Каким подлецом надо быть, чтобы, пользуясь своим положением, унижать и оскорблять человека. Правда, оскорблять он меня не оскорблял, потому что мат у него не сходит с уст и в лучшие минуты его душевного спокойствия, но угрожал как только мог. Дурак, невежда и хвастун. «Я не так много читал, как ты, но я больше тебя видел». Его и Эткинда бесит то, что я в чем-то повышаю их, и они пользуются любым случаем, чтобы показать свое превосходство административное.

А вообще-то у нас были хорошие командиры: старший лейтенант Ищенко, капитаны Ванеев, Требух, лейтенанты Алексей Павлов, Дунюшкин, техник-лейтенант Михайлин. Душевые, добрые мужики. Павлов, теперь полковник, и ныне живет в Алуште. Я не раз у него гостил даже с семьей, и он приезжал ко мне в Коктебель. До сих пор переписываемся, перезваниваемся, дарю ему книги, он мне, когда помоложе был, привозил домашнее вино да сотовый мед со своей пасеки. Не так давно они с женой Лорой помогли мне телефонами при написании статьи «Кладбищенская гиена» — об Ирине Бобровой из МК, которая прикатила в Алупку, чтобы написать грязные измышления о покойной матери Павлика Морозова. Вот беда, с глазами у него плохо, почти не видит, пишет каракулями... Звонил ему на новый 2012 год, а потом послал новую книгу «Мне из Кремля пишут». Он сказал: «Лора мне почитает...»

27 июля

Я заключил, что мне постоянно надо прислушиваться к своему «внутреннему голосу», к настроению при писании стихов. Как иногда все получается иначе! Я написал «Эшелон с запада» и задумал написать «Смерть лейтенанта» по рассказу комсорга ОБИС. И вот настраивал себя на эту тему все утро. Вдруг нашла туча, прошел ливень, стало скучно, тоскливо — и это у меня вылилось в двадцать строк груст-

ных стихов об осени. Сегодня уже преднамеренно написал еще 8 строк.

Писем все нет!

28 июля

Правительство Черчилля ушло в отставку. Полная победа лейбористов: они получили 389 мест. Я хотел их победы, но не надеялся, и теперь рад. Это очень большое дело! Поэтому затягивается и Берлинская конференция, ведь теперь вместо Черчилля там должен быть Эттли.

(О нем Черчилль хорошо сказал: «Овца в овечьей шкуре».)

Опубликовано сегодня обращение Черчилля, Трумэна и Чан Кайши к Японии с требованием капитуляции. Это не впервые — откажутся. Но ведь безумство противостоять таким силам. И не могут же они не знать о наших приготовлениях.

Итак, сегодня рано утром взводы разъехались. Сразу стало пусто, голо, скучно. Громадная казарма пуста. Хоть и остались еще более 60 человек, но их совсем не видно.

Вчера вечером мы долго сидели с Райсом на бревнах за воротами. Было очень грустно и чего-то жаль, тоска... Райс сказал: «Если со мной что случится, ты забери мои вещи». Он, возможно, хотел сказать что-то еще, но я перебил его: «Брось!» И мы опять замолчали, и минуты через две сказал уже я: «А если со мной что случится, писанину мою при случае передай...» Он понял, кому. Через несколько минут мы встали. Было около одиннадцати — совсем темно. Мы не торопясь шли в казарму. Но там никто не спал: получали продукты, собирались, прощались, шумели.

30 июля

11 постов разъехалось. Народу в хозяйстве осталось мало. Поэтому мне сегодня пришлось идти дежурить на ночь в штаб ПВО. Я дежурю до трех, а после — старший сержант Чернов.

Мы перешли в новое помещение, оно хуже, но то было для нас велико. Ужасно много клопов, но я пока сегодня их не слыхал.

Итак, дежурю в отделе. Из работников отдела здесь сегодня ночует начальник — капитан Федоров, немолодой, с простыми, мягкими, добрыми чертами лица человек.

Сейчас второй раз погасла коптилка. Спичек нет. Первый раз, когда капитан еще не спал, я пошел к какому-то дневальному внизу — так он, сукин сын, побоялся дать мне зажигалку. Я его выругал и ушел; добрые люди нашлись — дали зажигалку. А сейчас ходил с плошкой.

Якушеву отправили на пост. Постоянного почтальона сейчас нет. Временно хожу за почтой я. Сегодня было первое письмо: Ивану Чевереву из Москвы посланное 15-го. Завтра жду много писем. Но, вероятно, что будут не «кенигсбергские».

На почте свои порядки. Мне вчера начальник почты старший лейтенант по поводу того, что у меня нет форменной доверенности, как у штатного почтальона, заявил: «Это вам не фронт!» Он, капитан, гордится тем, что пятый год на Дальнем Востоке письма перебирает.

2 августа

Сегодня с Афанасием Адаевым пошли на почту. Он меня сопровождал как охрана. В здешней экспедиции, если придешь без вооруженного сопровождающего, ничего не дадут. Девушка-лейтенант обращается ко мне и говорит: «Ваша почта 66417? Вам есть перевод — Бушину». — «Я и есть Бушин». — «Ну и замечательно — получите деньги!» Смотрю я на бланк и недоумеваю — от кого? Наконец, спрашиваю: «А это откуда?» — «Это ваш гонорар за стихи в газете». О, это понимать надо — го-но-рар! И я с большим удовольствием получил шесть червонцев. Авторский гонорар! Впервые в жизни... Тут же у прилавка стоял какой-то парень-красноармеец, видимо, экспедитор из редакции. Он обратился ко мне: «Так вы будете Бушин? Можно вас поздравить. Ваше стихотворение сегодня напечатано». И еще

он, кажется, сказал, что другое сдано в набор, интересно, какое? Видно, этот парень близок к Смолякову. Оказывается, они вместе читали мое последнее письмо.

Я спросил его, кто он, Смоляков. «Это, — говорит, — здешний поэт, второй величины. Славный парень».

Когда шли обратно, Адаев сказал: «Ты пиши больше, здесь писателей не так много, как на Западе. Здесь плохо разбираются...» Я от души расхохотался бесхитростным речам Афоньки.

Потом оказалось, что это не гонорар. Никакого гонорара в армейских газетах в пору войны не существовало, а уж тем паче — на фронте! Да и что там делать с деньгами? Дмитрий Быков в недавнем пудовом сочинении о Пастернаке пишет, что вот, мол, во время поездки на фронт в 1943 году надмирный поэт встречался с фронтовыми журналистами, которые только и думали о гонораре. Это наводит на мысль, что сам автор только об этом и думает.

А получил я тогда, оказывается, премию за участие в литературном конкурсе не помню какой-то армейской газеты. И куда было девать эти деньги? Где-то купил я ведро молока, и мы с наслаждением распили его в роте. Так я использовал свой первый литературный заработок.

7 августа

3-го числа получили наконец письма. Сколько радости! Мне было 20 писем. Только от Нины три (за июнь). Три письма от С. Швецова, несколько писем от мамы и Ады, одно от дяди Гриши. Он после ранения в грудь навылет в Сталинграде был демобилизован. Одно письмо из «Комсомолки» от Смирновой (обещает показать мои стихи Владимиру Луговскому). Я послал ей еще несколько стихотворений, письмо из Гродно от милой Жени Трусевич (детское, полуграмотное).

От Швецова я не ожидал получить так скоро. Он прислал мне газеты с моими стихами, напечатанными уже после нашего убийства из Кенигсберга: от 12.VI — «Песня» и пере-

довица, посвященная начинаяющим поэтам, где я упомянут; от 13.VI — литстраница — «Бочонок» и от 30.VI — «Тост».

Вероятно, мои знакомые в Кенигсберге думают, что такое: рота уехала, а стихи Бушина все печатаются, уж не остался ли он? Шевцову послал новые стихи: «Дней погожих очень мало впереди» и «Поезд с запада». Он просил.

Писатель Сергей Александрович Шевцов, капитан, служил в должности «армейского поэта» в газете 50-й армии «Разгромим врага». Можно сказать, он мой литературный крестный, во всяком случае, впервые напечатал меня. После войны он много лет был главным редактором «Крокодила», т.к. работал в сатирическом жанре. Мы с ним виделись. Потом я узнал, что он — отчим Юры Томашевского, специалиста по Зощенко.

Но с первым стихотворением, посланным в начале 1945 года в газету («Все ближе заветная дата...»). Оно есть в моей книге «В прекрасном и яростном мире»), как я упоминал, произошел конфуз. Шевцов приспал мне письмо: не содрал ли я где-то сей стишок. Мне это, конечно, польстило: при первой же попытке напечататься заподозрен в плагиате из журнала! А это уже каким-то боком причастность к литературе. Но где там на фронте журналы! Это Солженицын много читал и писал на фронте, например, прочитал пьесу Александра Крона «Офицер флота» и отправил ему похвально письмо. Такое же собирался написать Твардовскому. Уж не говорю, что свои фронтовые сочинения слал он в Москву то и дело — Константину Федину, Борису Лавреневу и даже мало известному литературоведу Л.И.Тимофееву. Безногий Леонид Иванович, милейший человек, между прочим, был в Литературном институте моим научным руководителем в аспирантуре, а позже дал рекомендацию в Союз писателей.

8 августа

Вчера получил ответ из «Тревоги». Некто М. Карамушин, отметив теплоту моих стихов, искренность, лиризм и

грамматические ошибки, подвел итог: «Тов. Бушин, не унывайте, что ваши стихи не попали в печать. Они заслуживают внимания. На вас можно питать надежду как на будущего поэта». Этим он заканчивает, а начинает так: «Вы человек, хорошо овладевший техникой стиха». Нашел мои стихи «В разлуке» «сугубо личными». Хотелось мне ему сказать что-нибудь солоноватое, но ограничился только тем, что сообщил ему, что эти «сугубо личные» стихи, которые он ввиду этого их качества не находит возможным напечатать в военной газете, были напечатаны не только в военной, но во фронтовой газете во время боев. Но сказал это я ему мягко. Послал еще пару стихотворений. Все-таки думаю овладеть «Тревогой».

9 августа

В 6 часов сержант Беркович сделал подъем и сказал: «В 5 часов утра Молотов объявил состояние войны с Японией». Приняли как должное, давно ожидавшееся известие.

На станции погасли огни. Мирный период продолжался три месяца. Ну что ж, если понадобится, значит, будем воевать.

Позже

Создано три фронта: Забайкальский, Амурский и Дальневосточный. Командующие: маршалы Малиновский, Василевский, Мерецков. Савчук говорит, что севернее Б., где расположены склады с горючим, японцы уже обстреливают. Там стоит Денисов.

10 августа

Кончается второй день новой большой войны. Для нас он не принес особых изменений. Хоть и говорят о форсировании Амура на нашем участке. Рассказывают, что Сахалин добровольно сдался. Прислал парламентеров с белыми флагами. Войска японцев город оставили после наших ответных арт- и авианалетов. Опять-таки, говорят, что Забайкальским фронтом взяты два города, Дальневосточ-

ным — один (кроме Сахаляна). С соседнего аэродрома не вернулся один самолет, другой разбился о сопку. Первые жертвы. Война!

Газеты припоминают зверства японцев в 1918—1922 годах, их постоянную наглость.

Послал Смолякову стихи.

11 августа

Передано сообщение, что Япония приняла наши условия капитуляции. Вопрос передан на рассмотрение Англии и Америки.

Вот как! На ультиматум Англии и Америки — отказ, а как только свой голос присоединили мы... Это было бы разумно.

Позже

Итак, мы входим в состав 2-го Дальневосточного фронта. И справа, и слева от нас наступление идет стремительно.

Здешние дальневосточники, которые всю войну служили здесь, рвутся на передовую. Их досаду можно понять!

Американцы используют атомную энергию. 6 августа Трумэн сообщил, что на Хиросиму сброшена бомба, взрывная сила которой больше чем 20 тыс. тонн взрывчатого вещества. Ведь это 10 эшелонов по 100 вагонов в каждом! Во что бы то ни стало наши ученые должны овладеть этим открытием. Ведь страшно подумать, что может сделать это оружие в руках наших врагов. Осталось ли что от Хиросимы? Начнется новая эра техники.

Т. Драйзер вступил в компартию США.

Очень хотел бы видеть в завтрашней «З.р.» свои стихи.

14 августа

Вчера ввечеру приехали в село Константиновка, что на самом берегу Амура. Село, как и все села в здешней стороне, большое, грязное. Около каждого дома танки, самодходки, броневики, радио, орудия. Стоит неумолчный шум и скрежет. Знакомая веселящая музыка! Носятся мотоциклисты, машины. Все солдаты в касках. Фронтовики посмея-

ваются. В госпиталь уже поступают раненые. Рыча, несется «студебеккер», на борту, обняв рукой за плечи бойца с перевязанной головой, сидит девушка. Через Амур переправляются на пароходах. Завтра, вероятно, двинем дальше. За рекой раскинулась Маньчжурия — лесистые зеленые холмы. Здравствуй, Китай!

20 августа, Маньчжурия, несколько километров южнее Сун-У

13-го покинули Константиновку. Через Амур переправлялись на двух старинных баржах, которые буксировал теплоход «Сталинград». Высадились и по только что протопрленной дороге двинулись в глубь Маньчжурии. Отъехав километров 15, радисты (в том числе и я с З.М.) остались во взводе Гудкова, который мы встретили по дороге. Дальше путь продолжали с его взводом. Ночью шел сильный упорный дождь. Около двух часов стали на отдых. Не распрягая лошадей, стараясь не шуметь, без огня разместились вдоль какой-то боковой дороги. Наши предосторожности...

23 августа

Нет времени делать записи. Пытаюсь продолжить.

Итак, ночевали с Гудковым. Дождь беспрестанный, промокли до нитки. Я вдруг проснулся. Кругом мокро. Вдруг вижу вспышки — потом стрельба. Все схватились за оружие и начали беспорядочно отвечать. Удивляюсь, как не побили друг друга. Стрельбу прекратили. Дождь не прекращает. Начинает светать. Мы выехали.

День прошел без особых событий. Ночь и не отдыхали, и не ехали...

Следующую ночь провели благополучно в Эрчжане. Наутро тронулись. Я уехал немного вперед. Вижу, обоз стоит. Подъезжаю. Оказывается, убили старшину Абдуллаева, нашего коновода, ветеринара. Он искал овес вместе с сержантом Юрескулом. Привезли убитого, схоронили, дали салют из винтовок и автоматов. Кажется, он был узбеком. Тронулись дальше. Все время были наготове. Последнюю ночь ночевали около колонны автомашин вблизи дороги.

Опять перестрелка. До места осталось не более 28 км.
Делал запись выпивши.
Герои-дальневосточники обрадовались, что им без счета дали патроны, и стреляют боевыми.

Идем по маньчжурским дорогам,
Впереди ни огня, ни села.
Далеко от родного порога
Нас солдатская жизнь занесла.
Под палящим безжалостно солнцем,
По колено в грязи, под дождем,
Под огнем камикадзе-японца
Мы идем, мы идем, мы идем...

25 августа

Вчера вечером, не доезжая км. пять до Луньчженя, остановились на ночлег около каких-то складов. От Сун-У ведь это будет, пожалуй, километров 100, до Эрчжаня 70. Сейчас уже перевалило за полдень, а мы все еще никуда не трогаем. Говорят, впереди, километров за 10, образовалась громадная пробка в 500—800 машин. В городе, куда ездили старшина и Засимов, встретили Крылова. Он говорит, что рота застряла в этой пробке. Поэтому мы и не торопимся, хотя уже и хлеб кончился.

Надоело топать по этой грязище. Невероятно дикая страна — пустыня. На протяжении 150 км мы едва ли встречали десяток деревень. Население оборванное, забитое. Все китайцы и маньчжуры ходят либо с красными повязками на рукавах, либо с флагками. Идут несколько человек, впереди обязательно с красным флагком — как пионеры. Почти на всех домах тоже флагки. Поэтому улицы деревушек выглядят празднично. Один раз довелось даже встретить настоящий наш государственный флаг с серпом и молотом, со звездой.

Горы сейчас, кажется, кончились, началась бескрайняя равнина. Дорога в основном подходящая, но встречаются места, очень сильно разбитые прошедшей техникой. Кроме того, бесчисленные спуски да подъемы, это утомляет.

После гибели Абдуллаева пока все обходится благополучно, хотя редкая ночь проходит без перестрелки. Говорят, в Харбине был парад наших войск.

1 сентября

Третий день живем в Бейаньчжене. За эти дни, пока я не делал записей, наш путь протекал так. В Луньчжене своих мы не застали: дня два назад они ушли оттуда. Нас встречал только один Крылов, пьяный, в китайской соломенной шляпе. Отдохнув в Луньчжене сутки, подкормив лошадей, мы тронулись дальше. Погода соответствовала дороге — и то и другое ужасное. Повозки то и дело тащили на себе, кони вязли, падали, их распрягали, вытаскивали из грязи. И все это под проливным дождем, когда нет ни одной нитки сухой.

На первый же день пути, к вечеру, мы догнали свои машины. Они стояли в громадной пробке. Нашим «механизированным» войскам тоже было нелегко — машины приходилось то и дело толкать, стелить дорогу, копать. Но у них было то преимущество, что они меньше мокли — «студеры» крытые.

Пьяный Гудков, чтобы как-то оправдать себя, пожаловался ротному, что будто бы взвод жалуется на недостаток продуктов и отсутствие хлеба. А ведь об этом даже и разговоров не было! Савчук построил взвод, начал причитать, угрожать, запугивать. У него привычка все преувеличивать. Вызвал меня к себе в машину: «Ну, рассказывай все, как было». Я сказал ему, что Гудков руководить взводом не может. (Сейчас взводом командует Дунюшкин.)

Наутро мы от них уехали. Переночевали одну ночь в дороге, а на следующий день после обеда прибыли в Бейаньчжень. Но эти последние километры были, пожалуй, самыми трудными: дождь был ужасающим. Единственным сухим местом у меня остался правый карман, куда я положил пистолет и бумажник. И вдруг показался город. Он был для нас желаннее, чем земля обетованная. После дикой пустыни, грязи, полуразвалившихся фанз город нас поразил. Двух-, трех-, четырехэтажные европейского образца дома,

мощеная главная улица, особнячки американского типа. Но все-таки в каждой точке города помнишь, что он стоит среди пустыни — отовсюду видны поля, равнинны. Добротные красивые постройки, которые могли бы составить для города приличный фон, не создают его из-за своей разбросанности, беспорядочности.

Очень скоро нам удалось разыскать Павлова. Расположились в соседнем с ним доме. У Павлова больше десяти ящиков чистого спирта. Васин всех обносил с кружкой в руке. Выпили, согрелись. Первую ночь после Константиновки спали под крышей. На другой день я ходил в город.

Народу в городе много, нас встречают очень радушно. Улицы в красных, синих, красно-синих флагах. Праздничный, возбужденный вид. Улочки грязные, кривые, за исключением немногих. На домах надписи: «Китайскіе помісение» или «Китаец дом» и т.п. Все население также ходит с белыми повязками, где написаны их национальность, имя и профессия. Например, «Китаец (кореец) Сун-Фу-Чан зубной врач». Поражаюсь безделью населения. На каждой улочке торговля какой-нибудь мелочью: фруктовой водой, помидорами, луком, лепешками и т.п. Один торгует, другие ходят с какими-то бубенцами, третьи ничего не делают. Продавцов больше, чем покупателей. Удивительно мало женщин.

6 сентября

Город продолжает жить своей жизнью. Работает все: от электричества до публичных домов включительно. Есть рестораны, гостиные дворы. Все грязно, ветхо. Постоялый двор — какой-то страшный сарай с нарами, на которых лежит тряпье, всюду щели, в которые легко пролезет поросенок.

Вчера мы с Бочерниковым выбрали ресторан и зашли поесть пельменей. Пельмени замечательные, но очень велики — с яблоко. Есть все надо палочками. Привлеченные шумом и пением, мы зашли в какой-то базарный театр. Китайцы нас почтительно пропустили. Этот театр — громадный продолговатый сарай с плетеными обмазанными гли-

ной стенами, с соломенной крышей. Народу много, одни сидят на каких-то жердочках, заменяющих скамьи, другие расхаживают между сидящими. Все курят, лузгают семечки, разговаривают, и никто не обращает внимания на сцену, где две девушки и седобородый старик что-то старались изобразить на фоне экзотической декорации. Но время от времени весь зал дружно смеялся, все-таки, видимо, сцену слушали. Постараюсь еще походить по городу, поглядеть.

Скоро погрузимся и снова в Куйбышевку.

Я снова границу твою пересек,
Родная моя страна.
Сначала на запад, потом на восток
Кидала меня война.

21 сентября

Уже с недавно живем в Куйбышевке. Обратный путь из Бейаньчжена до Амура я проделал со взводами. В пути все было благополучно. Только у меня была неприятность с Павловым. Он дал мне своего коня, которого очень любит, я сел на него и уехал вперед. А конь пугливый, неспокойный. И вот когда мимо моста проходил «студер», он вдруг попятился. «Студер» стукнул его по задним ногам, и он упал. Я удачно выскочил из стремян и поднял коня. Он встал на три ноги, подняв правую заднюю. Я думаю, будь на моем месте кто другой, Павлов избил бы его. И с тех пор до Амура я чувствовал натянутость в своих отношениях с ним. Но сейчас это, кажется, рассеялось.

От Амура мы с Потемкиным поехали вперед одни. Доехали довольно хорошо, если не считать начала пути — наш «студер» задавил двух спящих шоферов. Вот смерть!

Как приятно было идти по темным знакомым улицам Куйбышевки!

24 сентября

Сейчас демобилизационная лихорадка. Старики и девчонки уже сдают оружие, готовятся. И ей-богу, грустно расставаться. Меня почему-то сейчас особенно тянет к Сане

Бароновой. Я ее почти ревную к Ручкину. Славная девушка. Таких очень мало. В роте она единственная.

Сегодня им, 35 демобилизующимся (всего демобилизуется 56 человек), выдали медали «За Победу над Германией».

У меня, оказывается, будет минимум 4 медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», ну и «За Победу», «За Кенигсберг».

26 сентября

Вчера проводили девчат и старииков. Я и не ожидал, что так грустно будет расставаться! На «студебеккере» в две очереди отвезли их на станцию. Ждать там пришлось недолго. Штурмом взяли вагон, предназначавшийся для нас, втиснули всех, усадили. Незадолго до отхода поезда приехал полковник. Какой приятной противоположностью нашему Горбarenке оказался! Тот — говорливый и мелочный, а этот умный, мягкий, обходительный. Я забрался в вагон, несмотря на страшную тесноту, сквозь мешки, сидора пассажиров. Добрался до самого конца вагона, где за горой мешков стояла Саня Баронова. Попрощался с ней, крепко пожал ей руку, она как-то жалко улыбалась, а потом прошел обратно к выходу, пожимая руки, прощаясь, желая счастья, доброго пути. Мне отвечали тем же. Все были возбуждены, взволнованы — и уезжающие и остающиеся. Ведь три года прожили вместе!

Наконец свисток. Поезд пошел. Они поехали сперва в запасный (46-й) полк, а уже оттуда поедут домой. Запасный стоит в Завитой, так что когда они поедут обратно, мы еще можем встретиться.

Как сразу пусто, тихо, скучно стало в казарме. Раньше шум надоедал, а теперь мы были бы рады этому шуму, суматохе, толкотне.

27 сентября

У меня на душе было отвратительно. К понятной грусти примешивалось чувство тревоги за свою демобилизацию. А она назревает. Пришел приказ о том, чтобы подать

сведения о наличии в/с с высшим образованием, студентов второго и выше курсов, с/х специалистов, нестроевых и т.д. А Нина пишет, что у них там уже демобилизуют студентов. Но меня Бочерников зачислил в графу нестроевых. Может быть, это и не совсем выгодно по сравнению со студентом? Я попросил в телеграмме Нину выслать мне справку, что я студент 2-го курса. Но все дело в том, что, как видно, в скором времени армия уедет на Южный Сахалин. Успеют ли нас до этого демобилизовать? Дни проходят в томительном ожидании, в тоске.

А вчера было просто невыносимо. Захотелось снова напиться, чтобы потерять ощущение времени. Я замечал за собой, что пристрастился к спирту. С тех пор как мы вошли в Сун-У, почти ежедневно пил. Но вчера не удалось выпить ни капли, несмотря на все старания Адайчика.

А сегодня, будто нарочно, и погода испортилась. А до сих пор стояло чудесное бабье лето.

2 октября

Часа два назад приходил Смоляков. Ему нужен был материал о демобилизованных. Я написал статью об Ильине. Смоляков сказал, что в завтрашнем номере будут мои стихи. Он пообещал у нас. Потом, сидя на нарах в нашей казарме, читал стихи. Нас обступили ребята. Стихи были хорошие, но я сейчас уже и не помню, о чем там. Помню, упоминалось имя Галина.

Я проводил его за ворота нашего городка. По дороге он рассказывал о себе, о Петре Комарове, о своих стихах. Он недоволен своей судьбой, тем, что не был на войне. «Под старость лет будет совестно жить с медалью «За боевые заслуги» — так он сказал Савчуку.

Савчук предлагает мне ехать в Иркутск, где штаб 50-й армии за выпиской из приказа о присвоении ему звания капитана. Интересно было бы встретиться там с кенигсбергцами, друзьями, с Швецовым, но ведь на это затратишь дней десять.

8 октября. Деревня Ключи, 20 км от Куйбышевки

Сегодня пятый день как живем в деревне Ключи. Заготовливаем здесь для жизни на Сахалине картофель, морковь, капусту. 10 тонн картофеля уже отгрузили (надо 25 тонн — на год), 1 тонну моркови (надо 5). Работаем хорошо, после работы чувствуешь здоровую трудовую усталость, замечательный аппетит, но и кушаем тоже хорошо, спим до семи часов. Одним словом, жизнь здоровая, крестьянская. Живем у крестьян в избах. Мы с Райсом — вдвоем. Хозяйка — молодая женщина богатырского сложения и здоровья, кровь с молоком и очень веселая, общительная. Райс пытался к ней подвалиться — безуспешно. Мать ее скорбная старуха, оплакивающая сына, погибшего в 42-м году. Я радуюсь каждому дню, проведенному здесь — авось дотянем до дня, когда будут демобилизовывать по второму указу. А ход дела дает надежду на это. Дай Бог! Так что торопиться уезжать отсюда нет надобности. Тем более, что погода стоит чудесная, погожая поздняя осень. 11 октября, Куйбышевка

Дня через 2-3-4 едем в запасный полк, который стоит в Свободном. А оттуда — домой! Нас едет 15 человек, все по второму указу, только пока не по 15-й, а по 9-й год.

Последнее время только и думаю о встрече с родными, особенно с Ниной, о том, как буду устраивать свою жизнь, где буду учиться. Да, где же, в конце концов, я буду учиться: в медицинском, ИФЛИ, МГУ? Вероятно в медицинском. Окончательно решу уже дома.

Как не терпится обнять, расцеловать Нинушку! Ждешь и ты, я знаю. А когда будет наша свадьба? А как же это я тебя поцелую при всех и все будут кричать «Горько, горько»...

Но получилось не совсем так, совсем не так. Я виноват перед этой женщиной, так виноват. Но ничего не мог поделать... Прости, Господи...

В декабре 2005 года она умерла. И тогда же я написал еще несколько прощальных строк:

Я не видал тебя в гробу,
Не бросил горсть земли в могилу,
Но и благодарить судьбу
За это тоже не под силу.

Смотрю на давний твой портрет
И оживает все сначала:
Ты та же — двадцати двух лет,
Когда меня с войны встречала.

23 октября

С 12-го октября по 20-е с Иваном Чеверевым ездили в Иркутск. Привезли Савчуку выписку из приказа о присвоении ему капитана, но в отношении своей медали сделать ничего не удалось, получил только обещания.

Иркутск меня приятно удивил. Много красивых зданий, приличные кинотеатры. И поразило обилие симпатичных девушек. Или это с отвычки? Ехали туда отвратительно — теснота, три ночи не спали. Обратно ехали просто-рно, но жрать было нечего.

Жаль, что не удалось побывать в Хабаровске.

Атомная бомба начинает мне даже сниться. Ведь только от двух погибло 480 тысяч!

5 ноября

Сегодня неделя как мы томимся в З-м з.с.п. Прибыли сюда вечером в прошлую воскресенье. С тех пор валяемся на нарах, изнываем от нетерпения и ждем отправки. Мы, конечно, зря поторопились — во-первых, будем дольше здесь отираться, а во-вторых, если б задержались на денек, Гончаров привез бы теплые брюки, меховые перчатки и т.д., и мы все это получили бы. А вот теперь приходится ехать в летних брючках и летних портянках. Брюки — да и не только брюки, все обмундирование, которое выдают здесь, безобразно. Так что если в части не обмундируют, здесь ничего хорошего не получишь.

Безобразия здесь более чем достаточно даже для запасного полка. Во-первых, живем очень скученно. Первые дни даже спали на полу. За все время, что здесь живем, видел только один раз армейскую газету. Но венец всего — столовая. Прийти туда и выйти назад небезопасно из-за давки в дверях. О пище лучше не говорить. Добиться тарелки — проблема, вымыть ее — того труднее. Так что иногда их моют либо супом (который вполне для этого пригоден), либо вообще не моют.

Но все это сглаживается радостью демобилизации. В казарме (человек 350—400), особенно вечером, шум, гвалт, пьяные песни, хохот, гармошка.

Сегодня нам выдадут прощальные посылки (10 кг муки, 5 кг риса, 2 кг сахара, сало, консервы, хлеб, сухари) и завтра грузимся в эшелон.

Отращиваю усы. Боюсь, как бы Нина меня за них не оттаскала.

8 ноября

«Много на этом свете взглядов, и добрая половина их принадлежит людям, не бывшим в беде». Чехов, «Несчастье».

13 ноября

Бледным светом мерцает свеча,
Тихо тени дрожат по углам,
А колеса на стыках стучат:
По домам... по домам... по домам...
От печурки струится тепло,
Сышен сонный размеренный шум.
За морозным оконным стеклом
Проплывает в ночи Урушум.
Спят солдаты на нарах вповал,
Словно братья под крышей одной.
Каждый честно из них воевал
И теперь они едут домой.

(Ст. Амазар)

14 ноября, ст. Шилка

Из Свободного уехали вечером 11-го. Ночью формировались в Шимановской. Пока едем ничего — в среднем 500 км в сутки. Вчера ночью часа четыре стояли. Говорят, какой-то демобилизованной девице приспичило рожать, так вот из-за нее и стояли. Если дальше поедем так же и никому не приспичит рожать, то 27-го, в первый день сессии, будем в Москве.

21 ноября

После Байкала едем отвратительно. На некоторых станциях стоим по 5 часов. Сейчас стоим в Новосибирске. Сходили в баню, пообедали. Итак, до дома осталось не больше недели.

Говоря словами Паоло и Франчески, «и в этот день мы больше не читали». И много дней не писали. Не до этого было. Приехали на Казанский вокзал. Не помню, чтобы меня кто-то встречал. Но помню, что дома сразу завалился спать, а сестра Ада, придя откуда-то домой, радостно кинулась обнимать и целовать меня, сонного. И я, не понимая где нахожусь и что происходит, заорал и стал дубасить ее кулаками.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Вернувшись в декабре 1945 года с Дальнего Востока в Москву, я не знал, что мне делать, куда пойти учиться, а была середина учебного года. С одной стороны, я уже был отравлен публикациями моих стихов и тянуло к литературе. Но это же дело темное, зыбкое. С другой, мать хотела, чтобы я пошел в медицинский. А за плечами у меня был один суммарный курс Бауманского и потом Автомеханического. И надо было думать, что было тогда не пустяк, о продовольственной карточке. Как тут быть? И я решил: уж если учиться в техническом вузе, то надо в Бауманском, МАИ или Энергетическом. По крайней мере до весны, а там видно будет. Эти три вуза считались лучшими, даже знаменитыми. А ближе всех — Энергетический, МЭИ, где директором тогда была Голубцова, жена Г.М. Маленкова. Туда после собеседования по математике с молодым профессором Левиным, приехавшим из Индии, но прекрасно говорившим по-русски, я и поступил. Кроме Толстовского и этого, я знал в жизни еще трех Левиных по Литературному институту: известный критик Федор Маркович, в свое время допустивший большую беспактность по отношению к только что умершему Макаренко, вел у нас курс современной советской литературы. Виктор Давыдович преподавал нам старославянский язык. И был еще студент постарше меня курсом Костя Левин, хромой фронтовик, честный и талантливый парень. Его все донимали по поводу стихотворения «Нас хоронила артиллерия». И однажды мне пришлось идти с ним в райком комсомола, где я по мере сил старался защитить его.

В Энергетическом я проучился несколько месяцев — до лета. Чем они запомнились? Успел на почве художест-

венной самодеятельности, где читал стихи, влюбиться в милую Нину Моисеенко с последнего курса; подружился с Витей Бабакиным, тоже пришедшем с войны, он очень интересовался нашей веселой однокурсницей Наташой Майзель, а она, кажется, — мной; бегали смотреть на знаменитого инженера Рамзина, главного обвиняемого по делу Промпартии в 1930 году, а в 1943-м — лауреата Сталинской премии за какой-то «прямоточный котел Рамзина» и теперь читавшего лекции в МЭИ; помню в апреле 46 года вечер памяти Маяковского, на котором Виктор Шкловский и Семен Кирсанов поносили как могли Константина Симонова... Так же, помню, и Антокольский в Литинституте.

Странное дело, иные наши патриоты терпеть не могут Симонова. Однажды я написал об этом Александру Проханову.

«Саша!

Не могу не вступиться за Симонова, которого ты сегодня по телефону определил одним словом: гедонист.

Я тоже гедонист: обожаю красивых женщин, люблю армянский коньяк, фуги Баха, шашлык, Коктебель... А ты не гедонист? Прожить с одной женой — не всем это удается. Я женился трижды. А Симонов — четырежды: Типот (Нат. Соколова) — Ласкина, от которой сын Алексей — Серова — Жадова. И что — гедонист? (Кстати замечу: две первые жены — еврейки, третья — полу, и только последняя — русская. Трудно выкарабкивался).

Ты сказал, как я могу в такое время, когда гибнет Россия, ввязываться в драку из-за каких-то литфондовских дач. Саша, живущий в стеклянном доме не должен швыряться камнями. Я ввязался и в эту драку и в драку между Михалковым и Бондаревым-Ларионовым, не имея никаких личных целей. Я выступил против грабежа писателей, против наглости и бесстыдства. Ты почитал бы, что они писали в ПАТРИОТЕ не только о 95-летнем Михалкове, но и о его жене, о секретарше. Да, мне доставляет удовлетворение, я рад, что могу так выступить, я даже наслаждаюсь, и это тоже можно назвать гедонизмом.

А твои пышные юбилеи в ресторанах и грандиозные презентации то в ЦДЛ («Господин Гексоген»), то в барском особняке у Никиты Михалкова («Симфония пятой империи»)? Тут было не только общественное, но и нечто сугубо личное, не так ли? После празднования твоего шестидесятилетия мне позвонила Таня Глушкина и сказала: «Пир во время чумы?» Что мог я ей ответить? Ведь и тогда родина гибла. Как и в твое семидесятилетие. Что делать! Таков человек. Вон в Китае только что погибли во время землетрясения 70 тысяч, а они готовятся к олимпиаде. Винокуров сказал:

Трагическая подоснова жизни
Мне с каждым днем становится ясней...

Я понимаю враждебность Бакланова к Симонову: «Он служил Сталину!». Но удивляет враждебность к Симонову многих людей твоего круга, восклицающих: «Мы — сталинисты!» Наперсный друг Бондаренко назвал его даже «писателем, далеким от патриотизма!» Да он просто не читал ни поэм «Ледовое побоище», «Суворов», ни строк

Опять мы отходим, товарищ.
Опять проиграли мы бой.
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной...

Симонов был прежде всего не гедонист, не эпикурец, не жуир, а труженик, талантливейший трудяга. Ты читал его двухтомник «Разные дни войны»? Это дневниковые записи тех дней и позднейшие замечания к ним. Это — лучшее, что он оставил, и самое честное о войне. Бондарев, например, не читал.

Да, мы люди разного поколения. Это многое объясняет.

После нашего разговора по телефону и твоих слов о какой-то двухуровневой даче Симонова, я позвонил давнему товарищу по «Литгазете» Лазарю Шинделию, много писавшему о Симонове, хорошо знавшему его лично. Он ска-

зал, что Симонов купил в Переделкине дачу Ф.В.Гладкова, но жил там недолго, а когда разошелся с Серовой, оставил дачу ей. Каким образом именно купил, Лазарь не знает. Много лет подряд он снимал дачу, кажется, в Сухуми. Но корить за это с его силикозом так же нелепо, как больного Толстого — за Гаспру, как Чехова — за дом в Ялте, как Горького с его чахоткой — за Капри.

Будь здоров и дай Бог нам удачи.

Посылаю статью, о которой говорил. Если не лень, посмотри.

Обнимаю. В.Б.

21 мая 08, Красновидово».

Летом 46 года, чтобы успокоить мать, я сдал экзамены и в Первый медицинский на Пироговке. Но подал все-таки заявление и в Литературный. От избытка сил — еще и в Юридический на экстернат. И всюду был принят. Так я оказался студентом сразу четырех вузов.

И вот однажды, видимо, в середине сентября, у меня в Измайлово раздался звонок... нет, пожалуй, стук в дверь. Выхожу, открываю. На пороге незнакомый парень.

— Здесь живет Бушин?

— Это я.

— Почему вы не ходите на занятия? Я староста группы...

А у меня крутится в голове: откуда он? из какого института — Эн?.. Мед?.. Юр?.. Оказалось, из Медицинского. Я извинился, что кому-то перебежал дорогу, занял ненужное мне место и сказал, что учусь в Литературном. Тогда я испытал неловкость и больше об этом не думал. Но как это смотрится ныне? Кто сейчас поехал бы в такую даль (станции метро Первомайская еще не было), чтобы узнать, почему не ходит на занятия неведомый Бушин...

А с Литературным так дело было.

8 июля 1946 года

Был сегодня в Литературном институте на Тверском бульваре. Тихохонько вошел, пугливо озираясь, и первое,

на что обратил внимание — доска объявлений в узком коридоре против окна. И что там прочитал!.. «Виктору Пушкину объявить выговор...»... «Ирине Бальзак предоставить академический отпуск...»... Что-то еще про Якова Белинского. Куда я лезу! Но заявление и газеты с моими стихами, рукописи все-таки оставил. Секретарь приемной комиссии или директора Людмила Купер.

Вскоре я получил обратно все свои публикации и писания с резолюцией: «Вы не прошли творческий конкурс». А критик Бенедикт Сарнов уверяет ныне, что тогда всех фронтовиков принимали в институты безо всяких экзаменов и препон. И вот они-то, фронтовики, преградили ему, большому таланту, путь на филфак МГУ. К слову сказать, по возрасту Сарнов тоже мог бы быть фронтовиком, но почему-то не воспользовался благодатной возможностью. А Владимир Войнович уверяет, что дважды пытался поступить, но оба раза не приняли, потому что еврей. Неужели так и сказали: «Мы евреев не принимаем. Идите в Пищевой имени Микояна»? А я, говорит Войнович, вовсе и не еврей никакой, это мать у меня еврейка по недомыслию. Но вот вам я, сударь, — и русский, и фронтовик, и член партии, и уже печатался, а получил решительный отлуп.

На моих рукописях не было никаких помет, и я решил, что их никто и не читал, что и неудивительно. Мой однокурсник Семен Шуртаков потом писал, что было подано более двух тысяч заявлений, а допустили к экзаменам только 18 человек (Воспоминания о Литинституте. М.1983. С.310). Последняя цифра непонятна, ибо приняли около 30 человек. Но если и так, то ясно, что попасть в институт можно было или при чьей-то очень сильной поддержке в виде, допустим, рекомендации известного писателя, или чисто случайно. Много лет спустя, я узнал, например, что с рекомендацией Ильи Сельвинского поступила Бела Ахмадулина. На каком-то юбилее института, видимо, на тридцатилетии в 1963 году, отмечавшемся почему-то в огромном банке на этой же стороне Тверского бульвара, что институт, я при-

гласил ее, молодую, красивую, танцевать и спросил, правда ли, что Сельвинский усмотрел в ее стихах проблески гениальности. Да, ответила Бела, опустив глаза. Она тогда уже окончила институт и уже вышла первая книга «Струна». Ее звезда восходила.

У меня же никакой поддержки не было, да и мысль о ней не пришла мне в голову. Просто с уверенностью, что мои стихи в приемной комиссии не читали, я пошел в справочное бюро, за 50 копеек узнал домашний адрес Федора Васильевича Гладкова, директора институт, и послал ему пакет с моими писаниями и сомнениями. Через несколько дней получаю телеграмму: «Вы допущены к приемным экзаменам».

С экзаменами был полный ералаш. Приходили сдавать по литературе, а нам устраивали по истории; являлись на географию, а должны были писать диктант и т.д. Но ничего, все обошлось.

А Виктор Пушкин оказался очень способным человеком — стал чемпионом Москвы по боксу в легком весе. А Ирина Бальзак работала позже как переводчица под псевдонимом Снегова. А Яша Белинский был достаточно известным в московских кругах стихотворцем, хотя ныне и забыт.

НАС БЫЛО МНОГО НА ЧЕЛНЕ...

В Литинституте, в отличие от больших вузов, и курс, и поток, и группа — это все было тогда одно. В феврале 2005 года я по памяти составил список нашего курса-группы и разослал его однокашникам Бондареву, Бакланову и другим. Никто не отозвался даже телефонным звонком. А список выглядит так, если по алфавиту: Эдуард Асадов и его жена Лида, Григорий Бакланов (Фридман), Юрий Бондарев, Владимир Бушин, Герман Валиков, Евгений Винокуров, Николай Войткевич (все пять лет — староста), Михаил Годенко, Всеиволод Ильинский, Эдуард Иоффе, Дмитрий Кикин, Михаил Коршунов, Алексей Кофанов, Михаил Ларин, Василий Малов, Андрей Марголин, Лидия Обухова, Григорий Поженян, Юрий Разумовский,

Рекемчук (Нидерле) Гарольд Регистан, Бенедикт Сарнов, Владимир Солоухин, Семен Сорин, Владимир Тендряков, Людмила Шлейман (Кремнева), Семен Шуртаков.

Позже на наш курс пришли **Алла Белякова, Санги Дащцевгин** (Монголия), **Георгий Джагаров** (Болгария), **Дзята** (Албания), **Юлия Друнина, Владимир Кривенченко, Алексей Марков, Евгений Марков, Лазарь Силичи** (Албания), **Леонид Шкавро**. Но довольно скоро ушли с курса: **Ю.Друнина, Д.Кикин, М.Ларин, А.Марков, А.Рекемчук.**

Большинство с нашего курса, 27 человек действительно стали писателями, по крайней мере, членами Союза писателей, некоторые — даже очень известными писателями, орденоносцами, лауреатами разных премий — Бондарев, Бакланов, Винокуров, Друнина, Рекемчук, Солоухин, Тендряков... Бондарев — Герой Социалистического Труда, Ленинский лауреат.

Сегодня нас осталось достоверно известных мне шесть человек: Бондарев, Бушин, Годенко, Рекемчук, Сарнов, Шуртаков — и тогда самый старший на курсе, ему сейчас 95 лет. Удивительное дело, большинство, кроме Сарнова и Рекемчука, — фронтовики, т.е. люди, имевшие еще в юности шанс никакого института не увидеть. Совершенно куда-то исчезли, не оставив никаких следов даже не в литературе, а в прессе Ильинский, Кикин, Ларин, Марголин. Когда я работал в «Молодой гвардии», Андрей Марголин приходил ко мне с рукописью вроде бы повести о комсорге на какой-то стройке. Это было так слабо и неинтересно, что сделать ничего было не возможно. Как недавно рассказал Годенко, он приходил с этой повестью и к нему в «Москву». Результат, увы, тот же. А года два тому назад я встретил в какой-то газете какого-то Андрея Андреевича Марголина. Кинулся разыскивать. Возможно, это был его сын, но я до него не добрался, увы...

В институте я начале занимался в поэтическом семинаре профессора Тимофеева Леонида Ивановича, но на втором или третьем курса почему-то перешел в семинар по критике, которым руководила Вера Васильевна Смирнова.

Бодлер заметил: «Невозможно, чтобы поэт не содержал в себе критика». Вместе со мной в семинаре были Владимир Огнев, Андрей Турков, Бенедикт Сарнов.

В студенческие годы и после я больше всех дружил, встречался с Винокуровым, Кафановым, Валиковым, Мароголиным, с Людой Шлейман. Вот чудом сохранившаяся записочка: «Бушину. Володя! Освещенный солнцем — ты невероятно красив. Л.(юдмила) Ш.(лейман). С подлинным верно. Л.(иля) О.(бухова)». Это, должно быть, они прислали мне во время лекции.

С Винокуровым мы даже в мою деревню в Тульской области ездили, где он едва ли не влюбился в мою двоюродную сестру Клаву, и по надобности давали ключи друг другу от квартир на время отъезда из Москвы: он мне — на улице Веснина, я ему — на Красноармейской. Мне с ним, человеком душевным, мягким и много знающим, всегда было интересно. Но однажды он на меня рассердился за какое-то упоминание в «Литгазете», которое посчитал недобрым, хотя там же была моя очень хвалебная рецензия о нем — «Поэзия отзывчивого сердца». В другой раз произошло какое-то недоразумение с моими стихами, предложенными «Новому миру», где Женя заведовал отделом поэзии. Видимо, я написал ему сердитое письмо и вдруг получаю ответ: «Товарищ Бушин...» Я это едва пережил от смеха, хотя стихи в итоге и не были напечатаны. Женя бы чувствителен и обидчив. Запомнилось еще, как он возмущался каким-то врачом, который при осмотре сказал ему, что он близок то ли к инфаркту, то ли к раку. «Какой болван!» — негодовал Женя. Я ему сочувствовал. А позже как-то сказал мне, что я молодо выгляжу, и, помолчав, добавил: «Но ты рухнешь». Именно это слово слетело у него. Какой ужас! Но почему я непременно рухну? А главное, чем ты тут отличаешься от того врача, что сулил тебе инфаркт или рак.

Женился он на Тане, которая была какой-то технической сотрудницей в ЦДЛ. В одном стихотворении он писал, что вот как все у нас с тобой привычно, знакомо, почти обыденно, — «Но ты уйдешь и я умру». Когда ей было уже

за пятьдесят, она ушла к Анатолию Рыбакову, с которым, по слухам, у нее был роман до замужества, и они уехали в Америку. Чего их туда потянуло? Неужели думал Рыбаков, что его «Детей Арбата» и в Америке читают?

А Женя впрямь вскоре после ухода жены умер. А Рыбаков был на пятнадцать лет старше и в Нью-Йорке пережил его на пять лет. Похоронили его в Москве.

ГОФС И ПЕРИКЛ

По праздникам, а иногда и просто так пять-шесть однокурсников мы собирались у Люды Шлейман, приходили еще сестры Сушкины — Светлана и... забыл. Бывал еще Юра Вронский, одногодий горлопан, не помню, где он учился. Павел Соломонович, отец Людмилы, известный под псевдонимом Карабан, был переводчиком. Они жили на первом этаже в доме 6 по Фурманному переулку недалеко от Чистых прудов. Не помню, чтобы шибко пили, но много и охотно читали стихи — и свои и чужие, всем известные, знаменитые. Много было всяких шуток, розыгрышей. Помню, утром в день экзамена по старославянскому языку, который нам преподавал В.Д.Левин, я послал Люде телеграмму: «Зрю сквозь столетия: двойку обрящешь днесь. Феофан Прокопович». Она пришла на экзамен и показала телеграмму Левину. Виктор Давыдович рассмеялся и спросил, кто это мог послать. Людмила сказала, что скорей всего, Бушин. «Если встретите его, передайте, — сказал Левин, — что он может не приходить на экзамен. Я ставлю ему пятерку». Так в Литинституте ценили тогда юмор.

В материальном смысле жили мы уж, конечно, не богато, но не замечали этого. Тот же Шуртаков пишет в воспоминаниях, что стипендия у нас была 220 рублей, а 93-летний Михиал Годенко (мы соседи по даче) недавно сказал мне, что 420. Не помню. Может быть, мне было легче тех, кто жил в общежитии, хотя мы с матерью в Измайлово занимали одну 16-метровую комнату в двухкомнатной коммунальной квартире с хорошими соседями Морозовыми.,

и она была всего лишь медицинской сестрой — какое ботатство? Однако же нам хватало, мы оба получали рабочие карточки, и порой я даже ездил на Немецкий рынок недалеко от метро «Бауманская» и продавал хлебные талоны. Но, видимо, это только в первый год, когда я учился в Энергетическом, мне было на этот рынок по пути. А на четвертом курсе Литинститута меня после Игоря Кобзева — доброй ему память — избрали секретарем комитета комсомола и, к моему изумлению, я стал получать в райкоме комсомола какую-то зарплату. На пятом курсе в должности секретаря меня заменил Иван Завалий, но тогда я стал получать стипендию Белинского. Да и вообще жизнь быстро улучшалась. Я часто ходил в театры, был завсегдатаем консерватории, покупал книги. А Иван-то, кажется, еще студентом попал под электричку...

Кобзев был славным парнем и хорошим поэтом, но с годами у него развились мания преследования. Однажды я спросил его, что это за бочонок стоит у него на книжных полках под потолком. И он с совершенно серьезным видом поведал... Позвонил незнакомый человек, представился большим его почитателем и попросил встретиться. Пришел, говорит, вот с этим бочонком, в нем мед. Но в разговоре обнаружилось, что у нас совершенно разные взгляды. И когда гость ушел, Игорь заключил, что это был «черный человек», который замыслил отравить его сладким медом, и не притронулся к нему, так мед и стоит уже несколько лет, наверное, засахарился. «Примерно через год он мне позвонил, — рассказывал Игорь, — и представляешь, спрашивает: «Как вы себя чувствуете?» То есть хотел проверить действие меда... Я расхохотался. Сколько присылали мне и меда, например, фронтовик Седых из Яранска, и вина — вот совсем недавно к Новому 2012 году второй раз прислал две большие бутылки своего прекрасного виноградного вина да еще две бутылки подсолнечного масла читатель Гуньков из Ставрополья. Масло я не ожидал, подумал, что тоже вино из светлого винограда и хлопнул рюмашечку. Ничего, жив остался...

На похоронах Игоря я прочитал его, возможно, по сюжету и не выдуманные стихи о подводной лодке, которая в бою потеряла управления и шла на базу под парусами, которые моряки смастерили и подняли:

А их не ждали на востоке,
И кто-то разглядел с трудом
Тот самый парус одинокий
В тумане моря голубом...

От дней избрания меня на место Игоря секретарем сохранилась предновогодняя записка «Володьке от Гофса». Это от Инны Гофф. Видимо, я почему-то звал ее Гофсом. Она писала:

«31.XII.49

Володечка!
С Новым годом!
С Новой Пятилеткой в четыре года!

Ненавижу типов грустных,
Меланхоликов — долой!
Пусть же здравствует Капустник
И Перикл наш удалой!

Мы еще себя покажем,
Секретарь наш дорогой!
Чтоб нас вспоминали даже
Не одною «Я — тайгой».

P.S. Будь здоров и счастлив в любви, творчестве и пла-
катах (?).

Ни пуха тебе, ни пера!

Инка».

Да, она себя «еще показала» и в прозе и в стихах. Кто не помнит хотя бы песню на ее слова «Русское поле»!

А «Я — тайга» это ее первая повесть, написанная тогда. Капустники же институтские сочинял я, Перикл. А о каких плакатах тут — не помню. Должно быть, юмористическое объявление о капустнике.

В 1948 году после второго курса мы с красавцем Андреем Марголиным впервые поехали по туристским путевкам на Черное море — от Туапсе до Батума. Веселая молодая компания. Эльза Бабкина из Иркутска, говорившая мне Володишна.

Море — впервые! Незабываемо!.. А вот мои внуки...

Ваня начал жизнь шикарно —
Ваня съездил в Монте-Карло.

Правда, по нужде, для проверки здоровья. А потом с сестричкой Машей они уже два раза побывали на Крите и в Египте. Да еще в Эстонии и Финляндии аж за Полярным кругом, о чем им выдали там официальное свидетельство. Да еще катались на оленях и даже собаках, что мне и не снилось. И когда я увидел море, было мне 24 года, а им и сейчас четырех нет. После Крита внука я зову Ваня Критский.

ПИСЬМА НА АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И ЖЕНСКОМ

Эльза была преподавательницей английского языка и членом горсовета Иркутска. Я написал о ней статью в «Смене». Она слала мне письма на английском языке, только имя мое писала по-русски, но на сибирский дружеский манер. Вот 14 ноября 1948 года:

«Володишна, good day!
It is early evening in my native town, but it is day in
Moscou...»

И так четыре-пять-шесть страниц. Неужели тогда я все это понимал? Да, понимал! Ведь писем было много. Писала она и по-русски. Вот одно даже с эпиграфом: «Жить прекрасно и удивительно».

«Сегодня не знаю, почему, как-то особенно хорошо на душе.

После долгого собрания возвращалась домой. Немного морозный, но с весенней свежестью вечер. Шла очень медленно. С Ангари тянул легкий ветерок. На улице темно. По ясному небу кое-где разбросаны звездочки. Вся эта обстановка почему-то увела меня к нашим вечерам на юге со всеми дорогими мне лицами.

Пришла домой, умылась, закуталась в длинный махровый халат и первое, что пришло мне в голову — поговорить с тобой, Володишка...»

А время шло, многое менялось, я женился, развелся, опять женился, а Эльза все слала английские и русские письма: из дома, с дорогие, когда куда-то ехала, из Гагр, где отдохала, а вот уже 3 июля 1954 года из Риги, куда поехала по туристской путевке, а я провожал ее на вокзале:

«Володишка, ты, наверное, сказал тысячу благодарностей всевышнему и железной дороге за то, что поезд умчал эту надоедливую и назойливую сибирячку, которой пора бы забыть о тебе и не беспокоить своими звонками и письмами...»

Увы, я перестал «понимать-принимать» ее и русские и английские письма. Но прошло и еще несколько лет, у меня родился сын Сережа, а она писала моей маме:

«Дорогую Марию Васильевну всех, всех поздравляю с Новым 1957 годом!

Хорошие мои, желаю вам самого большого счастья и радостных дней. Пусть ваша семья растет из года в год и все будут счастливы.

Очень вас всех люблю.

Целую.

Эльза».

ДВЕ КОМПАНИИ

Но вернусь в 1950 год. В июне — июле меня, как секретаря комитета комсомола института, обкомом комсомола направил в Уваровский район Московской области создавать комсомольские организации в деревнях. Это самая восточная часть области за Можайском. Сейчас такого района, кажется, нет, он стал частью Можайского. Я приехал в деревню Поречье, что на реке Иночь, и поселился у Ульяны Васильевны Хрусталевой. З июля Рита Уралова писала мне туда:

«Вовочка, родной!

Своей открыткой ты доставил всем нам огромное и чрезвычайно продолжительное удовольствие. Я верю — ты великий человек!!! (Вероятно, имела в виду мой ужасный почерк. — В.Б.)

Вовка, милый, я очень рада, что ты доволен работой. Это действительно должно быть все интересно.

Когда собираешься приехать? Может быть, можно тебя навестить?

Пиши чаще. Пришли адрес Белошицкого. Экзамены сдала (она кончала 10-й класс. — В.Б.).

Привет от Мартены, от мамы и папы.

Целую. *Rita».*

Сейчас это кажется невероятным, но тогда я создал комсомольские организации в нескольких деревнях Уваровского района, за что получил от обкома почетную грамоту. И напечатал в «Комсомольской правде» очерк об этом — мое единственное выступление в «КП».

Тут пора рассказать, кто эти Рита Уралова, Мартена Равдель, Володя Белошицкий.

А дело было так. Я уже говорил, что, кроме Литературного, учился в экстернате Юридического на улице Герцена. Там познакомился с некой Линой Поташник. Видимо, я ее

привлекал, интересовал. Она пригласила меня к себе в свою компанию на встречу Нового 1947 года. В смокинге, который был прислан в 45 году из Восточной Пруссии, я и заявился. Началось пиршество. Но после двух-трех тостов вдруг погас свет. Будучи уже в ушкайном состоянии духа, я вышел из квартиры, спустился этажом ниже и постучал в первую попавшуюся дверь. Ее открыли сразу несколько милых девушек. Это была хозяйка квартиры Мартена, ее подруга Рита и кто-то еще. Свет и у них не горел, но я спросил:

— У вас тоже не работает закон Ома?

В трофеином смокинге я был неотразим. Девицы засмеялись и вовлекли меня в квартиру. Я не сопротивлялся. Усадили за стол. Молодые люди встретили меня неприязненно или даже враждебно. Еще бы — советский молодой человек, не конферансье, а в смокинге! Началась какая-то пикировка. Потом Рита говорила мне, что трое из этих молодых людей стали Нобелевскими лауреатами. Не знаю... Тогда девушки были на моей стороне. Так завязалось знакомство.

Это произошло в доме № 21/29 по Можайскому шоссе. А я жил на противоположном конце Москвы. Когда и как я вернулся тогда домой, конечно, не помню, но знакомство завязалось на всю жизнь.

Этот дом на Можайке или подъезд, в который я попал, были примечательны тем, что там жили высокопоставленные металлурги. Отсюда, кстати, и металлургическое имя Мартина, которое поначалу, конечно, удивляло и даже смешило. Но к любому имени со временем привыкаешь. Взять даже Пушкина. Ведь смешно: Пушкин, Пистолеткин, Револьверкин... Внуков Василия Шукшина, живших в соседнем с нами подъезде, зовут Фока и Фома. Это в наше-то время! И что? Ничего. Привыкли. На фронте у нас в роте был Кадушкин. Посмеялись и забыли, привыкли. Но потом появился Бочкин и оживил комизм Кадушкина, и уж тогда оба они до конца войны заставляли улыбаться.

А особенностью этих металлургов было то, что все они почему-то оказались евреями. И Мартина потом вышла за

муж за еврея по имени Зорик (Завершим Объединение Рабочих и Крестьян), впоследствии член-кора Академии Наук. И Рита — за Льва Кокина, впоследствии довольно скучного члена Союза писателей, написавшего книгу о Петрашевском и стихи о маршале Жукове, который-де был так жесток. Именно так пишут о Жукове многие из них от Григория Поженяна до Иосифа Бродского.

Словом, я угодил в густую еврейскую среду. Правда, я ее несколько разбавил. В 1939 году в пионерском лагере подружился с ровесником Володей Белошицким. В том же году здесь в Москве я провожал его в какое-то военное училище на Красносельской улице. Но окончил он военно-морское училище в Ленинграде, знаменитую Дзержинку. Во время войны мы потеряли друг друга. Но, должно быть, как раз в том 1947 году случайно встретились на каком-то вечере или концерте в Центральном доме работников искусств, в знаменитом ЦДРИ на Пущечной. Радости не было конца. Он — морской лейтенант, я — студент Литинститута. Дружба возобновилась, так сказать, в полном объеме. Он жил на Люсиновке и уверял, что это дом генералиссимуса Суворова. Во всяком случае на лестнице было большое и явно старинное зеркало, на потолке — лепнина.

У Володи было много друзей-морячков: Юра Багинский, Володя Струков, Спартак Корсунский. Все молодые, здоровые, веселые любители выпить. В этом доме можно было встретить и довольно неожиданных людей. Таким оказался знаменитый тогда гиревик Григорий Новак, многократный чемпион мира.

ДЕТИ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

Некоторые друзья уже имели семьи. И Володина мать Софья Ильинична страстно мечтала женить сыночка, да он и сам очень этого хотел, но все как-то неудачно. А у меня была, не помню откуда взявшаяся, приятельница Инна Роер, потом совсем забытая. Однажды она позвонил мне и сказала: «Приходи. Познакомлю с интересной девушкой».

Повторять такое приглашение мне было не нужно. Пришел. Они жила напротив Курского вокзала. Девушка по имени Милица, Мила действительно была качественная. Мы с ней обменялись телефонами, перезванивались, несколько раз встретились. Однажды, помню, были в зале Чайковского, может, еще где-то, но, увы, почему-то она у меня ничего, кроме толерантности, не вызывала. Встречаться стало несколько тягостно. И тут я вспомнил о друге. Вот кому она может быть спасением!

Однажды мы условились с Милой об очередной встрече у шляпного магазина в начале Пушкинской улицы. Я срочно позвонил Володе и мы условились, что он тоже придет, мы разыграем случайную встречу детей лейтенанта Шмидта, и если она ему понравится, он так, чтобы я видел, на мгновение зажмурит глаза. Все, как по нотам, и произошло. Мы встретились с Милой у шляпного магазина и стояли в притворном с моей стороны раздумье, что предпринять, куда пойти, как провести вечер. Тут является Володя, мы издааем радостные лживые восклицания по слуху нечаянной встречи, я их знакомлю, мой друг так зажмуривает глаза, что я боюсь, он их не откроет, но — отверзлись вещие зеницы и он приглашает нас пойти в ресторан «Москва», это совсем рядом, и отметить присвоение ему очередного звания старлейта. Как можно от этого отказаться! Пошли. Всю дорогу мой друг время от времени зажмуривал глаза, и я опасался: не попасть бы под машину.

В величественном, весь из мрамора, с высоченным потолком ресторане, на открытой веранде с прекрасным видом на Манежную площадь, еще не знавшую никаких демонстраций, мы отлично посидела, опорожнили хорошую бутылочку, а когда настало время, я, негодяй, сказал: «Мне ехать далеко, в Измайлово, метро скоро закрывается, мне пора, а вас, Милочка, Володя проводит».

И таких встреч втроем было несколько. Но Мила по умолчанию продолжала считаться как бы моей девушкой. Что делать? Как быть? А тут через не помню как залетевшую с Гоголевского бульвара в мою жизнь Машу Ованесо-

ву, впоследствии жену известного тогда театроведа Григория Бояджиева (1909—1974), в 49 году объявленного космополитом, я познакомился с ее одноклассницей Кюной Игнатовой, они только что окончили школу. Кюна жила в каком-то убогом древнем доме с подвальными окнами в Староконюшенном переулке близ Арбата. Ее мать — русская, причем, ну, уж такая некрасавица, а отец — якут, я его никогда не видел. И вдруг в лице их дочери получился такой совершенно очаровательный нацкоктейль, что отец был совершенно прав прозорливо дав ей имя Кюна, что по-якутски «солнышко». Да еще норовистый характер. Я был обворожен. Потом она окончила мхатовское театральное училище, а где играла, не знаю.

И вот однажды в тот же ресторан на ту же открытую веранду с видом на Манежную площадь на встречу трех я заявился с четвертой — с Кюной. И милая девушка сыграла тогда свою первую и лучшую роль — роль Александра Македонского, разрубившего мечом гордиев узел трех.

А после училища Кюна красиво снялась в бездарном фильме по молдавским мотивам «Ляна» и, кажется, на этом ее актерская карьера закончилась. Но она стала женой замечательного мхатовского артиста Владимира Белокурова, сталинского лауреата, Народного. Невозможно забыть, как он играл на сцене хотя бы Чичикова, а в фильме «Хмурое утро» — Левку Задова, начальника махновской контрразведки. Он умер в 1973 году. Но это уже другая, печальная песня...

ЗЛОДЕЙ СЕЛЕДКИН

А после удара мечем все пошло как по маслу. И через недолгое время — свадьба. Меня не пригласили. Как, лучшего друга? Я понимал, кто я. Поставщик. Они никак не могли меня пригласить, но все-таки было обидно, и я решил отомстить. В день свадьбы в самый прайм-тайм я позвонил по телефону и голосом уставшего, но доброго водопроводчика сказал взявшей трубку Софье Ильиничне:

«Должен предупредить: идут ремонтные работы и через двадцать минут будет выключена вода...» — «Что?! Вода?! У нас свадьба!!! Мы без воды не можем. Ради Бога, отложите!» — «Ничего не могу сделать. Указание свыше. Ну, накинем еще минут десять». И положил трубку. В свадебном доме открыли все краны и заполнили все емкости. В точно рассчитанное время свадьбы приходит почтальон — тогда это можно было заказать — и приносит телеграмму: «Желаю дорогим новобрачным столько счастья, сколько сейчас в доме воды. Домуправ Селедкин». Все, конечно, догадались, кто этот злодей.

Так вот, полуеврейскую компанию Белошицкого (русскими были жена, ее родственники-ровесники, друзья-морячки, но хватало и евреев) я познакомил, можно сказать «слил» с чисто европейской компанией Риты-Мартены. И ничего, жили, собирались на праздники, отмечали дни рождения, хорошо жили. Чаще всего встречались на квартире Белошицких в старом советском доме в Большом Тишинском переулке. Но, конечно, не обходилось без несогласий, жарких споров, воплей. И чем дальше, тем больше. И тут я был главным спорщиком. А главным объектом ристалищ был, конечно, Сталин. Многие из них аж бледнели при его упоминании. Но я твердо стоял на своем. А подкупал я их чтением наизусть стихов Пастернака, которого никто из них не знал не только наизусть. Они недоумевали: Сталин и Пастернак?!

ЧУЕВО

Бывают же совпадения в жизни! Из Уваровского района Московской области, где был в июне-июле 50-го года, в августе я попал в Уваровский же район Тамбовской. Мы двинули туда с Белошицким и Ритой не помню, с какой статьи, с чьего совета или рекомендации — в село Верхнее Чуево. 6 августа я писал оттуда домой:

«Добрый день, мама. Итак, мы в тамбовской глухи. Деревня очень хорошая. Отдохнуть можно великолепно. Ду-

маю, что возвращусь домой в конце месяца... Отдыхай без меня как следует. Напиши, как решила с отпуском: останешься дома или поедешь в Ирбит к Аде...» Дальше — о делах семейных.

Там нас, конечно, окружала местная молодежь. Как же, москвичи! И забрались в такие дебри. Сейчас уже никого не помню, но вот во многом примечательное для того времени письмо уже в Москву от одной тамошней девушки. Ее звали, кажется, Люба, а фамилия Казакова. У нее болели легкие. Она лечилась.

«20.XII — 50 г.

Здравствуйте, Володя!

Примите от меня комсомольский привет и лучшие пожелания в Вашей жизни.

Уже давно получила Ваше письмо. Не знаю, как у Вас (в Литинституте. — В.Б.) прошло отчетно-выборное собрание, но думаю, что благополучно: я Вас ругала весь день.

Уж очень страшно Вы представили посадку в поезд в Мучкапе. Вероятно, никогда не приходилось Вам так ездить. Тетя так смеялась над строками, где Вы описываете дорогу...

Чувствую себя замечательно. Температура нормальная. Поддуваюсь через две недели.

У нас в деревне закончилась избирательная кампания. День выборов прошел очень весело. Все жители деревни единодушно отдали свои голоса за родную Советскую власть. Тетю возили голосовать на лошади. Подшутите над ней в письме. Голосование закончилось к 12 часам дня. Теперь моя мама депутат сельского Совета.

В Нижнем Чуеве выборы прошли менее бурно. На день выборов Сашок приходил в нашу деревню с гармошкой. Я часто бываю у тети. Слушаем передачи Москвы и других городов — Тамбова, Мучкапа.

Володя, я не согласна с Вами, что Аксинья сумела пронести свою любовь через все невзгоды незапятнанной. Раз-

ве ее поведение у пана Листницкого во время пребывания Евгения дома не ложится пятном на нее?

Пишите.

Большой привет от тети и от меня Вашей маме, Володя».

Должно быть, ей было лет 16—17. И думаю: многих ли нынешних сверстниц этой деревенской девочки волнует судьба шолоховской Аксиньи?

Как ни прекрасно было нам в Чуево, но выросшая на асфальте Рита долго не выдержала и вскоре укатила в Москву. Я почему-то уезжал один. И посадка в Мужчапе действительно была ужасна. Такая давка у билетной кассы, что я крикнул толпе: «Есть тут коммунисты?!» Никто не ответил, но билет я все-таки взял.

«НАЦИОНАЛЬ». ЗА ЦВЕТЫ И ЗВЕЗДЫ!

И вот я на четвертом курсе Литинститута, а живу в Измайлово. Это от Тверского бульвара далеко, пообедать не сбегаешь. Мне же по разным причинам, например, в ожидании спектакля, концерта в консерватории или какого-то комсомольского совещания порой приходилось оставаться в центре до вечера. В институте не было ни столовой, ни буфета. И я с Тверского бульвара ходил перекусить в какую-то уютную забегаловку недалеко от Елисеевского. Брал пару бутербродов с икрой или белой рыбой да стакан томатного сока. Как поперчишь — лучше не придумать! А если было время, спускался по улице Горького до углового кафе «Националь», что находился в здании одноименной гостиницы, и там заказывал почти всегда одно и то же: бульон с пирожком, судак по-польски и мороженое, а то и бокал цинандали. Тут сумму я почему-то запомнил — рублей 15. Помню, она приводила в негодование Петра Васильевича, отца Володи Белошицкого: какое мотовство!

Запомнилось, как однажды буквально в трех шагах от меня из гостиницы стремительно вышел и прошелестел мимо в стоявшую у подъезда машину Анастас Микоян, то-

гда, кажется, министр пищевой промышленности или торговли. А что писал о Сталине после его смерти!.. «От Ильи-ча да Ильича — без инфаркта и паралича»

В дальнем конце этого кафе состоялся и наш выпускной вечер, о котором я ничего не помню, кроме тоста Германа Валикова: «За цветы и звезды!»

Позже любил я захаживать в «Националь» и вечером. Нередко встречал там непьющего критика Валерия Павловича Друзина, заместителя и какое-то время и.о. главного редактора «Литгазеты», хорошо пьющего критика Бориса Ивановича Соловьева и других известных тогда литераторов. А однажды встретил там любезную мне Лу, Лукерью, Лушку, а на самом деле — Луизу и не одну, а в обществе Евгения Евтушенко. Ах, прохиндей! Ах, Синяя Борода! Вот сюрприз! Каковы были последствия, не могу вспомнить, но свой заказ на 15 рублей я съел с обычным аппетитом. Но сюрприз я потом запечатал:

О, сколько дней!.. Какая даль!..
Вот я, небрежно хлопнув дверью,
Вхожу в кафе «Националь»
И вижу — всем известный враль,
Кадрит прекрасную Лукерью...

и т.д.

Позже, когда работал на зарубежном радио (это в огромном и ныне стоящем здании за площадью Пушкина в Путинках, там я заведовал литературной редакцией), мы с прелестной Мариной Л., работавшей по соседству в музыкальной редакции, иной раз в обеденный перерыв соговаривались по внутреннему телефону, выходили порознь на стоянку такси здесь, рядом, и катили обедать в старинный «Гранд-Отель». Он был как бы бережно принят в корпус щусевской гостиницы «Москва», обращенный торцом к Историческому музею. Марина была дочерью замечательного артиста Театра Революции (потом имени Маяковского), партнера великой Марии Бабановой. Да разве в этом

дело...О, этот «Гранд»! Вот было время! Но это уже другая прекрасная песня, об этом — дальше.

Впрочем, для завершения темы «Националя» приведу письмо, что помянутая Лу еще до сюрприза (даты нет) прислала мне, когда она отдыхала в Гудаутах, а я — в Коктебеле.

«Мне впервые попадаются такие опасные и зловредные Таракашкины, как ты.

Стоило мне только подумать о тебе (а это уже значит — согрешить), как у меня поднялась температура: 37,2. Вот.

Стоило тебе только приехать к Черному морю инести свое стариковски-порочное тело в его воды, как сразу же испортилась погода: море взбунтовалось и вышло из берегов!

А что-то я не почувствовала, Лушин, в твоем письме обычного для тебя сексуально-озабоченного тона. Такое впечатление, что одной рукой ты «овевал» прекрасное тело женщины, а другой царапал свои гнусные каракули. Боже, сколько надо терпения, чтобы их разобрать! За что мне такие муки?

Да, разумеется, Таракашкин, мне хотелось бы приехать к тебе, и никакие трудности не остановили бы меня. Тем более, я наотдыхалась здесь в Гудаутах по горло. Только уж больно сложно, Лушин, — все равно, что левой рукой за правое ухо. Представляешь, Гудауты — Гагра — Адлер — самолет (билеты, чемодан, Кира) — Симферополь — автобус — и наконец твои порочно-похотливые ямочки на щеках.

Я решила так. Поеду в роскошную Гагру, отдохну там две недельки и буду ждать тебя довольная и загорелая в Москве. Если мой план осуществится, я тебе сразу же напишу. Идет? Надо было бы нам с тобой сразу решить в Москве — ехать вместе и никаких гвоздей. Если Голубые Штаны окончательно тебя не затмят, я обещаю тебе отдыхать вместе в будущем году.

Условие — голубые штаны, красная полосатая блузка, медный обкусанный крест на груди и пестрые трикотажные трусики.

Я уже здорово загорела. Чувствую себя значительно лучше, морально, разумеется. Сам догадываешься, куча поклонников, но я думаю только о тебе одном, конечно.

Лушин, правда, мне очень хочется занять пустующую кроватку в твоей комнате, но почему я должна предпринять такое сложное турнэ ради фразы: «Я к тебе еще не подобрал ключика...» Ты не находишь, что тебе тогда надо было вообще ничего не говорить? И почему вы иногда бываете так бестактны!

Ведь натура моя такова, как ты не раз убеждался, что я тебе это так скоро не прошу. Я придумаю какую-нибудь красивую благородную месть, чтобы ты опять, глядя на меня, глупо улыбался, ел горчицу и соль вместо мяса и забывал свою красную икру на столике в кафе...

Испугался? Ты попугайся, ты попугайся, а я посмеюсь.

Лушин, пишу не как ты, а без лицемерия: я все чаще думаю о тебе и не понимаю, зачем это. Ведь я знаю, кто ты и что ты. Зачем ты мне, а? Тем более без ключика. Напиши мне еще в Гудауты.

Твоя Лушка»

Вот такая озорница, и юмористка, и светлая строка моей жизни. Если бы шолоховская Лушка писала письма Давыдову, то, вероятно, в таком же примерно духе... А Евтушенко был наказан мной за встречу в «Национале» неоднократно, последний раз — в статье «Самый стеснительный, обаятельный и привлекательный» («Это они, Господи!», 2011)

ОТШИБЛО?

О Литературном институте есть несколько книг воспоминаний его воспитанников и преподавателей. Первая книга вышла в 1983 году — к пятидесятилетию. Книга содержательная, интересная. В ней более восьмидесяти статей, начиная с таких знаменитых писателей, как Паустовский, Симонов, Бондарев.... Замечательные фотографии. Но она могла бы быть лучше, шире. Ее главными состави-

тели — Константин Ваншенкин и Андрей Турков, входившие и в состав редакционной коллегии.

16 марта 1984 года я написал Ваншенкину письмо:

«Дорогой Костя!

Посмотрел сейчас по телевидению передачу о Литинституте по твоему сценарию и вспомнил о еще прошлогоднем намерении сказать тебе несколько слов о сборника воспоминаний о нем.

Прежде всего замечу, что ты и твои братья могли бы несколько расширить круг авторов. Назову лишь Колю Войткевича. Он все годы был старостой нашего курса, одного из самых интересных и плодовитых за всю историю института. Он всех нас знал, как облупленных, и у него много разного рода документов, фотографий, которые можно было использовать.

Ты, вероятно, скажешь: «Места было мало!» Место, друг мой, можно было найти хотя бы за счет некоторого сокращения воспоминаний одного из составителей сб-ка, не слишком содержательных, а порой и непечатных. Он, пользуясь своим положением составителя, занял в сб. больше места, чем Симонов или Алигер, Трифонов или Евтушенко, Наровчатов или сам директор Пименов. А вместе с супругой они отхватили больше страниц, чем Паустовский, Бондарев, С.Васильев, А.Марков, Долматовский, Ошанин, С.В.Смирнов, Друнина, Старшинов, Коваленко и Раиса Ахматова, — больше, чем эти 11 писателей, живых и мертвых, вместе взятых. С другой стороны, сб. мог бы легко обойтись без воспоминаний таких литераторов, как В.Шорор, высшее творческое достижение которого — должность помощника Г.Маркова. Помнишь, как мы говорили о способностях некоторых авторов и о книгах, которые нам не нравились: «Хоть шорором покати!»

В воспоминаниях неназванных выше писателей-супругов очень много возвышенных слов о товариществе, дружбе, лицейском духе. Тем огорчительней видеть некоторое несоответствие этим возвышенным словам реальных дел.

По отношению к Шуртакову и Годенко ты допустил бес tactность: «наши общественники». Да, были общественниками, как и мы с тобой — членами комитета комсомола, но в не меньшей степени, чем мы, и студентами, начинаяющими литераторами.

С удивлением я прочитал у тебя: «Володя Семенов — даровитый поэт, но, к сожалению, полученные ранения и развившиеся следом болезни не дали ему возможности работать в полную силу». Как можно писать подобные вещи! Какие болезни? И с чего ты взял, что сам работаешь в полную силу, а он — не в полную? У него вышло немало прекрасных книг, он отличный переводчик. А если у него книг меньше, чем у тебя, совсем по другой причине.

Печально все это, дорогой однокашник».

Я уж не упомянул в письме о том, как он в своей статье «ALMA MATER» обошелся со мной. Он там писал: «В 1973 году институт отмечал сорокалетие. В ЦДЛ был вечер, посвященный этому. Среди прочих(!) выступал и я. Тогда в институте обучалось чуть больше ста человек. Я задался целью восстановить по памяти пятьдесят из них, что и удалось без труда. Затем я только расположил их по алфавиту и зачитал этот список» — от Маргариты Агашиной до Отара Челидзе. Среди них — одиннадцать человек и с моего курса. Потом назвал еще семь человек, учившихся позже. И вот среди этих 57-ми меня не оказалось. Ах, Костя! Да как же так, друг любезный? Какая ранняя амнезия! Ведь в 73-м тебе еще и пятьдесят не стукнуло. А я в институте был все-таки человеком довольно приметным, хотя бы как секретарь комитета комсомола, членом которого состоял и ты, хотя бы как автор капустников и других затей. Сколько раз мы с тобой вместе на заседаниях комитета и на собраниях шумели, сколько всяких дел переделали. И выступать со стихами ездили вместе, а однажды в редакции «Молодой гвардии», где тогда работал, я нахваливал тебе песню Эдуарда Колмановского на твои стихи «Я люблю тебя, жизнь», правда это уже в 1956 году. Сейчас-то ты изображаешь эту

песню как нечто жутко оппозиционное тому времени, той жизни, что, дескать, отчетливо стояло за словами «я хочу, чтобы лучше ты стала». Лучше!.. Ах, какой страшный выпад!.. А тогда в институтскую пору и тебе нравилось кое-что из моих писаний, например, стихотворение об одной картине или кинохронике , кончавшееся словами

И в этом с гордостью законной
Я был подметить сходство рад
С картиной «Сталин в Первой Конной
Среди буденновских солдат».

Упомянутой здесь супругой Ваншенкина оказалась, к моему удивлению, милая Инна Гофф. Они поженились еще студентами. Их свадьба где-то за городом надолго запомнилась многим (меня не было): на ней состоялась грандиозная драка. И как ей не быть! Нешибко сытые молодые ребята под клики «Горько!» на вольном воздухе хлопнули по стакану водки — тогда ведь рюмки были в редкость — и что от них ждать? Это дело разбирали на партбюро, и были попытки придать ему национальный характер на том основании, например, что Володька Солоухин свернул нос Грише Бакланову (еще Фридману). Но Солоухин это решительно отверг. «Ничего подобного! — сказал он. — Вижу я, что с горки на меня бегут Тендряков и Фридман. И я врезал Грише просто потому, что удобнее было, с руки именно ему. Какой это национализм?». Никаких административных последствий у этой драки не было, а нос у Гришки скоро выправился.

...В 2008 году к 75-летию вышли еще два больших, роскошных, объемистых тома воспоминаний. Ваншенкин с Турковым, конечно, и здесь фигурируют. А в 2010-м к 65-летию Победы — сборник стихов бывших студентов Литинститута. Ваншенкин и тут. Много уже и почивших, и не бывших на фронте, и подавшихся за бугор, а я даже и не знал, что готовятся все эти книги, никто и не известил, хотя Семен Шуртаков, однокурсник, входил во все редакции.

БРАКИ СОВЕРШАЮТСЯ НА НЕБЕСАХ. ИНОГДА С БРАКОМ

У Семена вскоре после окончания института вышла книга со скучным заглавием «Трудное лето». Почти как у Слепцова. Но как бы то ни было — большой успех! Надо же отметить — первая книга! Не знаю, было ли праздничное застолье. Я написал похвальную рецензию и напечатал ее в «Смене», где работала наша однокашница Оля Кожухова. Вот рецензию почему-то было решено непременно обмыть и Семен, как моряк, увлек меня не куда-нибудь, а в ресторан «Якорь», довольно скромный, но — на улице Горького, где-то в середине на левой стороне в угловом здании. Мой друг, видимо, решил, что дал мне возможность изрядно обогатиться через его роман с помощью рецензии. Но это мелочь. Гораздо важнее, что какую-то свою премию Шуртаков отдал на сооружение памятника своим не вернувшимся с войны односельчанам.

В институте он симпатизировал как раз Инне Гофф, веселой, живой, ко всем дружелюбной. Но она, странное дело, как я упомянул, вышла замуж за сдержанно-осторожного Ваншенкина, а Семен женился позже на Майе Ганиной, что было тоже очень странно и кончилось разводом. Она потом вышла за Юрия Сбитнева, а Семен так и остался бобылем.

ЧТОБ СТАТЬ МУЖЧИНОЙ, МАЛО ИМ РОДИТЬСЯ...

Но вот интересно! В 2008 году Ваншенкин и Турков перепечатали свои статьи из сборника 1983 года, ничего в них не изменив. То есть прошло после института еще 25 лет, но Ваншенкин так меня и не вспомнил! А ведь я за это время не раз напоминал ему о своем существовании. Например, когда в 1985 году в списке кандидатур на Государственную премию по поэзии остались только он и Михаил Львов, русский татарин, фронтовик, я предложил ему снять

свою кандидатуру: ты, дескать, гораздо моложе, все впереди, и вспомни, как в институте мы, перебивая друг друга, чуть не все поголовно бормотали стихи Львова:

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться,
Как стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться
И как руда, пожертвовать собой!

А его стихи о Маяковском за границей?

Он так глядел на все крамольно,
Как будто прибыл к ним затем,
Чтоб выбрать здания под Смольный,
Назначить крепости под Кремль.

Я убеждал: ну что премия! Закатишь ты банкет, и скоро все о ней забудут. А твой отказ запомнился бы почти так же, как выход из Академии наук Чехова и Короленко в знак возмущения отказом царя утвердить избрание в Академию Максима Горького. Но все было тщетно. Ваншенкина мое предложение изумило и даже возмутило. «С какой стати! — писал он мне. — В этом году впервые присудили премии за художественные достоинства». Вот как! Оказывается, Шолохову, Фадееву, Симонову, Каверину, Светлову — всем до Ваншенкина давали премии, не принимая в расчет художественные достоинства их произведений. А Миша Львов вскоре умер...

Был еще и такой случай напоминания о себе. Когда появилась песня Давида Тухманова «День Победы» на слова Владимира Харитонова, Костя на съезде писателей возмущенно осудил ее и даже предложил ввести уголовную ответственность за такого рода, по его понятию, пошлых произведений о войне. Ну, совершенно как в свое время Вера Инбер заклеймила в «Комсомольской правде» песню Блантера «Враги сожгли родную хату» на слова Исааковского или Станислав Куняев — фильм «Кубанские ка-

заки». Я, конечно, выступил против расправы над лучшими песнями о войне. Но разве все это дает основание для сознательного затмения памяти?

Правда, в студенческую пору вспоминается еще и вот какой скорбный эпизод. Мы с Костей и почему-то Виктор Бершадский из Одессы, оказавшийся в Москве, должны были ехать куда-то читать стихи. Стоим мы с Костей у ворот Союза писателей на Поварской и ждем, а того все нет и нет. Чуть не час прождали, а дело было зимой. Я не вытерпел и говорю: «Слушай, неужели мы с тобой, два русских добрых молодца, не обойдемся без одного хилого одессита? Поехали!» Костя ничего не ответил. Только позже я понял смысл его молчания... Вот так и живу и коротаю дни вне памяти и сознания поэта-лауреата.

СГОРЕВШАЯ В ПОЛЕТЕ

До следующего юбилея и сборника воспоминаний далеко. На всякий случай я предложу здесь читателю свою статью, напечатанную в журнале «На рубеже» («Север») №3 за 1962 год. Она называлась «Здравствуй, Наташа...»

«Этот сборник рассказов привез мне из Сталинграда поэт Федор Сухов. Его автор Наталья Лаврентьевна. Наташка... Я кончал Литературный институт, а она была первокурсницей.

Федя говорил о книге с увлечением, но, зная его бесконечную доброту и восторженность, я склонен был отнести к его словам осторожно. И я не хотел читать книгу, боялся читать. Она издана посмертно. Четыре года назад Наталья Лаврентьевна погибла в Волжске при выполнении редакционного задания областной газеты. Сейчас ей едва перевалило бы за тридцать.

Я боялся читать, потому что слишком отчетливо помню Наташу живую. И мне было страшно: вдруг в рассказах не найду таких знакомых и дорогих мне черт. Вдруг цельный и обаятельный ее образ потускнеет, заслоненный серенькой книжкой!

В Наташе уживались восторженность и серьезность, застенчивость и решительность, мягкость и строгость. А еще она была очень добра. И любила жизнь. И в людях всегда умела найти хорошее.

Тогда, на первом курсе она была ужасно влюблена. Влюблялась в ребят, по моим понятиям, самых нелепых. Я спрашивал: «Что ты в нем нашла? Это совершенно неинтересный человек». Она смотрела на меня чуть искоса и тихо, убежденно говорила: «Ты в нем ни-че-го не понимаешь». Очевидно, она была права.

Дело не только в парнях. Она была влюблена в институт, в его стены и коридоры, в наш сквер, в сурового профессора античной литературы Сергея Ивановича Радцига, который, как гласила древняя институтская легенда, однажды на экзаменах заплакал, когда поэт Александр Межиров не смог рассказать ему о прощании Гектора с Андромахой; она была влюблена в институтского сторожа, в Тверской бульвар, в наши вечера и капустники — в весь мир!

Вспоминается яркий весенний день. Мы. Несколько студентов разных курсов, идем после экзаменов по бульвару в сторону Пушкинской площади. Настроение — как Первого мая на Красной площади. Наташа (она тогда писала стихи), не обращая внимания на прохожих, декламирует. В памяти остались только две заключительных строки:

Хорошо в двадцатых числах мая
В нашей замечательной стране!

Стихи, вероятно, были не весть бог какие, но она читала их так звонко, восторженно и убежденно, что и сама и стихи казались такой же естественной частью этого весеннего дня, как солнце на небе, нежная зелень бульвара, легкий ветерок в лицо.

Такой она была, Наташа... А время шло. У вчерашних студентов-сокурсистов, у которых было так много общего, стала своя жизнь, подступили свои заботы. Вести о Наташе доходили до меня урывками. Она с отличием кончила

институт, вышла замуж за однокурсника Михаила Роцина (Гибельмана), ставшего известным драматургом после пьесы «Валентин и Валентина», многих инсценировок и сценариев, родила дочку, потом разошлась с мужем и уехала в Сталинград работать в областную газету. И вдруг — весть, которой никто не хотел верить. Смерть ее была мгновенной. Торопясь на редакционное здание, она со всего лету, видимо, не справившись с управлением, врезалась в бульдозер. Наташа словно захлебнулась в погоне за жизнью. И случилось это 25 июля в самый полдень лета, назавтра после дня ее рождения.

И вот лежит на столе ее книга. На обложке — зима, падает крупный снег, молодая женщина в черном пальто с коричневым воротником, в платке уходит в даль. Художник, видимо, знал Наташу, и этой печально уходящей женщине придал сходство с ней, ушедшей навсегда.

Приходилось читать, что в рассказах Лаврентьевой «не найдешь сложных положений, но в них есть сочувствие к человеку. Она рассказывает о жизни маленьких людей с их трудом, заботами, скромной любовью...»

Наташа лишь сочувствует, а не борется? Она — певец «скромной любви»? А что это такое? А бывает «скромная ненависть»?.. Я стал читать рассказы, и чуть ли не в каждом слышна тема любви, звучат горячие слова признаний, герои говорят о том, что им всего дороже на свете, чем они живы.

«Он обхватил ее плечи.

Умница моя, — шепчет он в темноту. — Я хочу, чтобы у тебя было возможно больше радости в жизни. Все одолеем. Мы затем и жить остались». Это говорит молодой парень, недавно вернувшийся с войны, своей жене, актрисе. Лихолетье войны заставило ее отказаться от сцены, и она разуверилась было в своем призвании, сникла душой. Но вот сегодня на даче у друзей вспомнила старое, прочитала по их просьбе монолог из пьесы и, ощущив восхищение слушателей, поддержку, воспряла, возвратилась к своему таланту. Рассказ так и назван — «Возвращение».

«— Тебе не холодно? Возьми пиджак. Слышишь, осина дрожит? Мелко-мелко.

— И осину, и ветер, и звезды — все, все люблю! И тебя люблю. Между прочим, тоже. Пиджак не снимай, мне не холодно.

Всю обратную дорогу они молчаостояли у раскрытой двери. Электричка. Как межпланетный корабль, неслась во тьму, и влажный ветер, похожий на морской, бил в лицо».

Нет, это писала рука не проповедника «скромных чувств». Они не любят, когда ветер в лицо, особенно влажный, привольный, морской. В их голове не родится сравнение электрички с грядущим космическим кораблем.

Образы движения, полета, ветра, реки, как любимые символы великой душевной неуспокоенности переходят из одного лаврентьевского рассказа в другой.

«— Давай, давай! — кричала рыженькая (девушка-строительница из рассказа «Добрые люди»), похожая на парнишку. Она стояла на самом верху в голом каменном проеме окна, там, где рождается ветер, и требовательно кричала стоявшим внизу, словно приглашала их с собой в полет...»

Немолодая редакционная курьерша из рассказа «В другую жизнь» так вспоминает свою молодость: «Я-то смолоду жила! Со Степаном на плотах ходила... Кашу варила, песни играла. Бывало катимся себе вниз, воды не слыхать, темнюка такая, что песню вовсю орешь, чтобы, значит, не страшно... Звезды в глаза так и катятся, так и катятся... Вот — жизнь!»

Может быть, свою ненасытную жажду жизни, желание все повидать, познать, испытать Лаврентьева полнее всего воплотила в образе молодой женщины Раисы из одноименного рассказа. Она работает в затоне то механиком, то самоходкой управляет, то слесарное дело освоила, а то и плотницкому искусству обучаться стала. И ведь все не как-нибудь, а как следует! Жадность до жизни увела ее даже от любимого человека, тихого, доброго, честного человека,

который хотел чтобы Раиса сидела в его тихой квартире, читала книжки, ждала его с работы. И она ушла, поступила на стройку разнорабочей.

Шофер Федосов говорит:

«— Не поймешь тебя, Рая. Другой раз не знаешь, с какого бока к тебе подойти.

— А ты узнай. Я ведь гаечным ключом не открываюсь. Подход нужен. Только не запоздай. — Она засмеялась. — Жить надо бегом».

Еще и так она говорит: «Бывает мне и трудно, и неудобно, и обидно, а я — все смеюсь. Я и реку за это люблю. У нее, как у меня, характер. Покидается, похмурится и опять течет себе, будто ничего не было... Я люблю в воду глядеть. Ночью, когда никто не мешает. У нас на корме канат лежит. Сядешь на него и глядишь... Уходит. Уходит от тебя вода, и новая накатывает, и тоже уходит...» И все это — «маленькие люди», нуждающиеся в чьем-то сочувствии? Нет, это люди большого сердца и чистых страстей.

Рассказ «До востребования» тоже о большой любви, хотя она и остается как бы «за кадром». Молодая женщина, Варвара Семеновна Гаврилова, очевидно, недавно приехавшая в город, ходит на почту за письмами до востребования. А писем все нет, нет и нет. Время идет, а их все нет. И она устала ждать... Но вот одно письмо пришло, за ним — второе, третья, пятное, восьмое... И все написаны одной рукой. Все с далекого Севера.

Иван Никодимыч, старый работник почты, заприметивший Гаврилову, решает разыскать ее — городок-то невелик — чтобы вручить письма. И нашел ее адрес! И в студеную зимнюю ночь идет к ней. Вот ее дом. «Дверь в комнату была приоткрыта. Варвара Семеновна, веселая и румяная, сидела на диване и, опустив глаза, перебирала кисти праздничной скатерти. Напротив сидел полный мужчина с копной курчавых волос и ел суп. Стояла бутылка вина, рядом — коробка конфет... Стариk остановился в дверях...

— Вам кого? — недовольно спросил мужчина с толстым лицом.

Варвара Семеновна подняла глаза, удивленно взглянула на вошедшего. «Простите. Я ошибся. Я не туда попал», — ответил старик и, скомкав адресный листок, двинулся к выходной двери. Он взял в руки галоши и вышел на площадку. Здесь он не спеша надел их и поплотнее закутался шарфом.

Ветер, подталкивая в спину, помогал идти. Стариk уходил все дальше, прочь от дома с уютным диваном и праздничной скатертью на столе...

Ему хотелось назавтра, придя на службу, отправить назад невостребованные письма и сообщить далекому Григорьеву, что пишет он зря и больше писать не надо. А письма до востребования пишут тем, кто умеет ждать и кто не устает приходить за ними».

Почти неуловимыми штрихами в приведенной сцене создана атмосфера сытой пошлости, одолевшей Варвару Семеновну — милую, женственную, но слабую и нестойкую. И кажется, что писал ей Григорьев в каждой письме все одно и то же, одно и то же:

Средь этой пошлости таинственной
Скажи, что делать мне с тобой,
Недостижимой и единственной,
Как вечер дымно-голубой...

Далекий Григорьев и его любовь — вот главные герои рассказа, хотя о них прямо почти ничего и не сказано. Они, как вершина айсберга, лишь незначительной частью своей выступают над поверхностью.

Лаврентьева всегда видит своих героев духовно богатыми, значительными, и ныне и завтра заслуживающими счастья. В ее рассказах царит атмосфера духовного обновления, движения — преодолевая препятствия!- к счастью. Молодая актриса Шура из рассказа «Возвращение», победив робость, неуверенность, твердо решает вернуться к своему призванию — на сцену, то есть делает смелый шаг навстречу счастью. Светлана из рассказа «Последний снег» находит в себе силы преодолеть горечь измены мужа, оста-

вившего семью, — и это тоже шаг по пути к счастью, тоже обновление души. Тридцатилетняя секретарша Нина из рассказа «В другую жизнь» закисла в скучной мелкой работенке, тянеться к стремительному движению жизни, но боится его, не верит в себя. И все же жажда жизни, тяга к новому побеждают. И совсем иной становится женщина, и иные — радостные! — открываются перед ней пути.

Мне думается, замечая и описывая отрадные, благие перемены в душах своих героев, Лаврентьевы была очень чутка и к духу времени, и к человеческой натуре. Это и заставляет думать, что смерть унесла художника, который со временем дал бы нам многое.

У автора, как и у героев книги, отличное зрение. Они видят, ясно различают хорошее и дурное, настоящее и поддельное. «Хороший человек», — думает о Красине студентка Тоня. «Хорший ты, Федосов», — говорит Раиса. «Он хороший!», — решительно заявляет пятилетняя Зиночка о своем пожилом друге по прозвищу Кактус. И для таких людей, как Варвара Семеновна или ее возлюбленный, Кульков и его жена тоже найдены точные слова, ясные характеристики.

Я завидую твоему зрению, Наташа.

...Недавно, в день выборов в Верховный Совет я дежурил на избирательном участке. Мои обязанности были несложны: встречать пожилых избирателей, помогать им разобраться, что к чему — где бюллетени выдают, где урны для голосования. Дела было не много, и я прогуливался по избирательному участку, иногда надолго остановливаясь перед корзинками цветов, стоявшими за урнами, любуясь ими.

Вдруг в дверях показалась старушка. Я поспешил к ней, провел к месту голосования. Опустив бюллетень в урну, она подняла глаза и увидела цветы.

— Хорошо, — сказала не только губами, но и всем своим добрым морщинистым лицом. — Какие красивые цветы! А жаль, что без бумаги обойтись не удалось...

— Без какой бумаги? — оторопел я.

— Обыкновенной. Не видите разве? — она поправила очки. — Часть цветов искусственные. Вот, вот и вот. Да иначе и нельзя, больно дорого было бы.

И она пошла к выходу. Я открыл перед ней дверь, попрощался, но долго еще стоял на пороге, смотрел вслед маленькой медленной удалявшейся фигурке. Радостно было за нее, старую, в очках, но сумевшую одним взглядом отличить живое от неживого. И грустно за себя, столько часов пляшившего глаза в одну точку да так и не разглядевшего настоящее от искусственного.

Это было, Наташа, до того, как я прочитал твою книгу. Мне кажется, теперь я стал зорче».

Пусть эта статья будет моим последним поклоном Литературному институту.

А Рощин долго болел и недавно умер. Он несколько раз женился и разводился. Я знал по Коктебелю его мать и Наташину дочь, когда той было лет пять.

В ДЕНЬ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Когда осенью 50-го года мы после каникул явились на пятый курс, то вскоре обнаружили, что в институте появилось нечто новое, интересное. Это была молодая преподавательница немецкого языка Наталья Владимировна Смирнова, чрезвычайно увлекательное создание. Увлеклись многие, но больше всех — я. Мы были ровесники. Не помню уже, под каким предлогом я стал ее провожать. Она жила у Патриарших прудов. Это недалеко от института, от Дома Герцена, которому более двухсот лет и о котором писали многие — от самого Александра Ивановича, родившегося в этом доме, до Маяковского («Хер цена дому Герцена») и Михаила Булгакова, не говоря уж о помянутых воспитанниках института.

Это знаменитое здание фасадом выходит на Тверской бульвар, а сзади — Большая Бронная. Мы шли с Натальей Владимировной по Большой, сворачивали направо на Малую, пересекали Спиридоньевский, Малый Козихинский, а дальше вот они — Патриаршие. Провожания стали постоянными. Иногда перед тем как расстаться, мы садились еще поговорить о чем-то на одну из скамеек, что стоят вокруг

пруда. Ее старинный многоэтажный дом — на углу Ермоловского переулка и Пионерского (ныне — Малого Патриаршего), буквально с ста метрах от пруда. Она показывала мне свое окно на четвертом этаже.

Так было и 5 декабря 1950 года. Было уже темно и безлюдно. Над прудом — там был каток — горели разноцветные огни, слышалась музыка, иногда — невнятный говор и смех катающихся на коньках. Сердце у меня стучало так, что мне казалось, она слышит. Я взял ее за плечи и привлек, и поцеловал. Она сказала: «Сегодня день конституции. Вы не нарушили ни одну из ее статей?» Я ответил: «А разве там есть запрет на право целовать красивых женщин?» — «Своих — нет запрета».

В феврале мы поженились, она стала «своей». А жили они с прихотливой большой матерью в довольно большой комнате большой коммунальной квартиры. Мы стали жить у нее. Конечно, это не просто. Я писал диплом, иногда напевая на мотив популярной тогда «Сормовской лирической»:

Но девушки краше Смирновой Наташи
Ему никогда и нигде не найти...

Она работала над кандидатской диссертацией. Вскоре я заметил, что по телефону (он висел на стене в коридоре для общего пользования) стали раздаваться какие-то странные, очень смущавшие ее звонки. Она что-то невнятно лепетала и вешала трубку. После нескольких таких звонков я настоял, чтобы она рассказала, что это такое. И под клятвой молчать она рассказала...

БЕРИЯ — НЕ ВОЛАНД, ОН ЗНАЛ МЕРУ

Ермоловский переулок после пересечения его Спиридовонкой переходит во Вспольный, а в конце Вспольного на углу с Малой Никитской, тогда улицы Качалова, на правой стороне стоит огороженный высоким забором особняк, в котором обитал Берия. В своих прогулках по этим

переулкам он заприметил всегда спешившую по своим делам Наташу, и, как говорится, положил на нее глаз. И дал своему охраннику полковнику Саркисову разведать, что это за особа. И начались звонки домой, или ее догоняла машина и ей, вероятно, этот полковник говорил, что ее хочет видеть человек, «которого вы знаете по портретам»... Это было до нашей женитьбы, когда еще был жив ее отец Владимир Иванович, человек горячий. Она ему все рассказала. И однажды, когда раздался очередной звонок, он взял у нее трубку и наорал, пригрозил, что пожалуется товарищу Сталину. И звонки прекратились. Но вот вдруг опять. Однако и на этот раз после ее решительных отказов звонки вскоре прекратились. Да, как видно, Берия был большой женолюб, но разговоры о том, что по его приказанию девиц хватали и таскали к нему в постель, явная чушь. Я думаю, хватало доброволок. И смешно было видеть в фильме «Московская сага», как Берия разъезжает в машине по Москве и из под занавески высматривает в подзорную трубу красоток. Фильм этот сварганили люди, не имеющие никакого отношения к искусству вообще и к кино в частности, по невежественному и похабному роману Василия Аксенова, написанному в Гваделупе. Но звонки не сыграли никакой роли в скором крушении моей семейной жизни.

Гораздо важнее другое. Как выяснилось после публикации в 1966 году в журнале «Москва» булгаковского «Мастера», событие 5 декабря 1950 года произошло на той самой скамейке — да, да, скамейки там массивные с чугунным корпусом, с чугунными ножками, и с той поры вполне могла сохраниться именно та скамейка — на той самой, на которой в двадцатые годы «однажды весною в час небывало жаркого заката на Патриарших прудах появились два гражданина и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной». Помните этих двух граждан? Михаил Александрович Берлиоз, председатель литературной ассоциации МАССОЛИТ, и поэт Иван Бездомный. Позднее вечером они собирались быть на заседании этой ассоциации как раз в Доме Герцена. Но тогда в час заката вдруг появился загадоч-

ный хромой человек с золотыми зубами, у которого правый глаз был черный, а левый — зеленый. Берлиоз и Бездомный приняли его за иностранца. Но они ошиблись. Это был чародей Воланд. Он «окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что он видит это место впервые и что оно его заинтересовало. Он остановил взор на верхних этажах...». Его заинтересовало место нашего первого поцелую, он остановил свой взор на этаже, на окне моей возлюбленной. Ясно, что его любопытство ничего хорошего нам не сулило. И действительно, когда роман, в котором фигурирует Воланд, появился и всем стали известны проделки Воланда, мы читали роман уже порознь. И почему так произошло, убей меня Бог, не понимаю, не помню, не могу объяснить. Ну да, жили мы в одной комнате с ее матерью, это не просто, мать меня не любила, но никаких конфликтов с ней, помнится, не было. Бог весть! Право, остается лишь валить всю вину на происки Воланда. Видно, Анушка пролила масло и на нашем брачном пути.

В ВОДОВОРОТЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

Жизнь развела многих моих однокурсников. Да как! Пожалуй, особенно резко уже после того, как они стали известными писателями, разошлись по разные стороны баррикады Бондарев и Бакланов, в институте бывшие друзьями. Нельзя забыть, как столкнулись они на XIX партконференции. Бондарев, тогда один из самых известных и авторитетных писателей, в своем выступлении уподобил начавшуюся горбачевщину опасному самолету, который поднялся, а где сядет — неизвестно. Бакланов и знаменитый офтальмолог Святослав Федоров яростно возражали: «Мы знаем куда летим и знаем, где приземлимся!» Бакланову договорить не дали, согнали с трибуны. Федоров вскоре разбился как раз на самолете, который летел по известному ему маршруту. Как символично! А Бакланов умер года три тому назад и имел возможность вволю вкусить сладость своего уверенно-слепого пророчества.

Задолго да конференции и вскоре после их разрыва Бакланов написал повесть «Друзья», в которой, рассказав о разрыве вымышленных персонажей, с удовольствием довел своего друга до смерти, а Бондарев, спустя много лет, не так давно напечатал в «Правде» рассказ «Друг», в котором тоже с не меньшим удовольствием похоронил бывшего друга, тогда еще здравствовавшего.

Судьба Юрия Бондарева драматична. Его так громко и долго хвалили, так щедросыпали наградами и сажали на такие высокие должности вплоть до первого секретаря Союза писателей России и заместителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР, что контрреволюция, когда вдруг все исчезло, ударила по нему особенно сильно. На него обрушилась Ниагара злобы. Некто Вигилянский (сын писательницы Варламовой-Ландау, когда-то мой сосед по дому, а ныне духовное лицо в Московской патриархии) выступил в «Огоньке» со статьей о действительно уж очень многочисленных изданиях Бондарева. Александр Яковлев заявил, что как только из Канады вернулся в ЦК, сразу обнаружил, что на ближайшие годы в разных издастельствах запланировано 11 собраний его сочинений. Это было вранье, но 11 книг вполне могли стоять в издательских планах.

Юра все это тяжело переживал, но когда в 1994 году по случаю 70-летия Ельцин решил наградить его орденом «Дружбы народов», у него хватило мужества публично отказаться от милости алкаша. Это было достойно.

Но был и такой случай. Ведь когда заваруха началась, то все наши прославленные писатели — Герои и Ленинские лауреаты, акыны и ашуги, как один, замолкли: М.Алексеев, Е.Исаев, М.Каримов, К.Кулиев, А.Чаковский... — все! Долго молчал и Бондарев. Помню только одну хорошую статью Расула Гамзатова в «Советской России». А многие просто переметнулись на сторону контрреволюции, пошли в услужение ей, наплевав и на совесть, и на свою партийность: А.Ананьев, Г.Бакланов, Б.Васильев, Д.Гринин, Ан.Дементьев, С.Куняев, Б.Окуджава, А.Приставкин, В.Соловьев.

ухин... С ними заодно оказались и беспартийные — Герои В.Астафьев, В.Быков, ак. Д.Лихачев, а также Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко А.Кушнер, Э.Радзинский, Ю.Нагибин... Эти оборотни, партийные и беспартийные, конечно, не молчали. Совсем наоборот. Голосили во всю Ивановскую.

О набравших в рот воды Ю.Бондарев в 1991 году напечатал в «Правде» статью «Почему молчат писатели», в которой пытался оправдать свою немоту, подвести под нее некий морально-этический фундамент. Я принес в «Советскую Россию» статью, в которой возражал: да, Герои молчат, а мы не молчим и нас не мало. Редакционная дама, которую я попросил перепечатать статью, тотчас сообщила о ней Бондареву и он позвонил мне. Стал уговаривать: зачем ссориться старым товарищам и т.п. Я сказал: «Юра, никакой ссоры. Просто ты думаешь так по важному вопросу, а я иначе и хочу высказаться». И вдруг слышу: «А я выдвинул тебя на Шолоховскую премию...» Увы, номер не прошел, статья появилась, и небеса не рухнули.

А на даче, встретив Сергея Викулова, я опрометчиво похвастался, что вот, мол, Бондарев выдвинул меня на премию. «Бондарев? — возмущенно переспросил Сергей. — Это я тебя выдвинул!» Что ж, ответил я, прекрасно: два таких могучих авторитета за меня. Значит, наверняка получу. Однако, когда дошло до дела, оба забыли обо мне, а премию поделили пополам, вернее, получил тот и другой. Но я хоть и через десять лет, но все-таки тоже получил в 2001 году. Правда, в 2005 году комитет по премиям хотел отобрать ее у меня за непочтение к начальству, но не удалось. Бог им судья...

Было и такое. Бондарев однажды спросил меня, как я отношусь к его роману «Берег». Я ответил, что мыслей на сей счет немало. «А ты напиши мне!» Я не поленился, написал огромное письмо, которое послал в двух конвертах. И что? Он даже не позвонил. Думаю, только потому, что там были не только похвалы, но и какие-то критические суждения. Например, желая показать жестокость, беспощадность войны, Бондарев дал тщательно выписанную живописную

сцену смерти... Знойный летний полдень. Где-то близко к передовой лежит на земле в малиннике совсем молодой солдат и ловит губами спелые ягоды, с наслаждением ест их, но вдруг летит пуля... Да, война жестока и беспощадна. Но чей это солдат? Немецкий. Чья пуля убила его? Наша. А кто его звал на советскую землю? А разве судьба наших молодых солдат была иной? И не только солдат — женщин, стариков, детей... В частности и об этом я написал Бондареву. Даже если был не согласен — ведь это было не в газете, а в частном письме — мог бы однокашнику-то звякнуть и, выразив несогласие, сказать хотя бы спасибо. Нет. Тогда были разговоры, что Юра метил на Нобелевскую. Не знаю...

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ И НЕ ЗАБЫВАЙ В СТАРОСТИ

А когда нам было уже за восемьдесят, а Сергею Михалкову за девяносто, началась эта отвратительная свара в Международном союзе писательских союзов (МСПС): Бондарев, много лет работавший заместителем Михалкова, объявил его уволенным. И на страницах «Патриота», куда мне по его настоянию путь закрыли, началась небывало грязная травля Михалкова с привлечением личности даже его жены и с предсказаниями его скорой кончины. Бондарев напечатал в пяти газетах письма, чернящие своего вчерашнего собрата и начальника, а также главного редактора «Литгазеты» Юрия Полякова. А возглавил травлю Арсений Ларионов, впоследствии осужденный за махинации с домами Союза писателей.

А тут еще позорное дело с Шолоховской премией, которую Бондарев стал выдавать уж таким литературным титанам, окружившим его... Выдал и Валентину Сорокину, не только писавшему пронизанные антисоветчиной прозу и стихи, (которые, впрочем, охотно печатала «Правда»), но еще и клеветавшего на самого Шолохова. Он работал в одном издательстве с дочерью Михаила Александровича и начал подбивать колышки, а та ни в какую, но он упрым,

бесцеремонен. Когда у нее кончилось терпение, она пожаловалась отцу, ну, и тот, естественно, как всякий отец, вступил за родную дочь. И вот выходит книга и там — поток вздорной, невежественной, злобной клеветы на Шолохова. И именно за эту книгу из рук Бондарева клеветник получает Шолоховскую премию. Другого примера такого цинизма или полного незнания, безразличия к делу я в литературе не знаю.

Во всей этой заварухе я принял сторону Михалкова, что вызвало, с одной стороны, мою статью о Ларионове «Последний любимец Лили Брик» и о Сорокине — «Позы, грозы и метаморфозы литературной сороконожки», обе — в газете «Дуэль»; с другой, — открытый обмен письмами между мной и Бондаревым. Я писал в той же «Дуэли», он — в «Патриоте». Все эти мои письма, в том числе и «бондаревские» — «Что сказал бы Шолохов, Юра?» и «Виноват, ваше превосходительство» — вошли в книгу «Живые и мертвые классики» (Алгоритм, 2007). Бондарев свои письма Михалкову, Юрию Полякову и мне едва ли включит в книгу.

Но как бы то ни было, а 2 мая 2011 года на юбилейном вечере Егора Исаева в музее Пушкина на Пречистинке я по рядам передал Бондареву, сидевшему в зале с женой, книгу своих стихов с надписью: «Валентине и Юрию Бондаревым с признательностью за любовь к поэзии». Как и на давнее письмо о «Береге», он ни словом не отозвался.

Правда, я еще посмеялся в «Завтра» по поводу его рассказа на страницах «Правды», от которой, дескать, мы ежедневно ждем призыва «Граждане, на баррикады!», — рассказа о пылком акте любви с чужой женой. Вроде бы как бунинский «Солнечный удар», да не совсем. Но это уже в октябре и тут я не назвал ни автора, ни газету.

ЩЕДРОСТЬ ГЕНИЯ

А с «Солнечным ударом» был такой эпизод. Читая в его «Береге» сцену пылкой встречи посаженного на гауптвахту лейтенанта Никитина с немецкой девушкой Эммой,

которую привел к нему караульный Тужиков, я почувствовал что-то знакомое: « они кинулись жадно друг к другу, задохнулись в поцелуе...» Вчитался, вдумался — да это «Солнечный удар»! Достал, раскрыл, сверил — точно! И позвонил Бондареву. Он не поверил и даже обиделся. Хорошо, сказал я, пошлю тебе оба текста, сравни. Послал. Он и тогда не отозвался. А ведь я вовсе не думал и не обвинял, что это он сознательно списал. Просто пронзительный бунинский текст так запал в душу, что прижился, натурализовался там, стал своим и однажды вот неожиданно выплеснулся как свое собственное. Не любит Юра никакие критические замечания о себе, они на него плохо действуют. А ведь мог бы просто шутя позвонить: надо же, мол, чего в жизни не бывает. Спасибо, что разглядел. Я потом не смотрел и не знаю, переписал ли эту сцену. Мог бы и не переписывать.

Ведь что такое заимствования? Гёте говорил: «Что я написал — то мое. А откуда я это взял, из жизни или из книги, никого не касается, важно — что я хорошо управился с материалом... Вальтер Скотт заимствовал одну сцену из моего «Эгмонта», на что имел полное право, а так как обошелся с ней очень умно, то заслуживает только похвалы... Мой Мефистофель поет песню, взятую мной из Шекспира, ну и что за беда? Песня оказалась как нельзя более подходящей, и говорилось в ней именно то, что мне было нужно».

А многие ли знают, что «гений чистой красоты» это не Пушкин, а Жуковский, но там он «не прозвучал», а под пером Пушкина сделался несравненной жемчужиной поэзии. В начальную пору ельцинской контрреволюции пытались охать даже песню «Вставай, страна огромная!» Ведь ее текст был опубликован уже 24 июня в «Красной звезде» и в «Известиях», а 26-го А.В.Александров написал музыку. И вот люди, которым просто недоступно понять, что такое вдохновение да еще помноженное на патриотизм, вопили: «Не могла песня появиться так быстро! Такая песня была еще в Германскую войну, еще в 1914 году. Только там говорилось не о фашистской, а о тевтонской орде!». Это чушь. Достоверно известно хотя бы из книги Евгения Долматов-

ского «50 твоих песен» (1967), которую он подарил мне в Коктебеле, что песня родилась именно в первые дни войны. Но если даже допустить, что подобная песня была в 1914 году, то ясно, что тогда она не прозвучала и в памяти народа не осталась.

Кстати... В прошлом году в каком-то сочинении военного министра ФРГ дотошные блюстители авторского права обнаружили несколько чужих фраз или абзацев. И что? Министр вынужден быть подать в отставку. И это в стране Гёте!

У меня больше всего литературно-политических перебранок было с Баклановым и Сарновым. Это есть и в моих, и в их книгах. Нет нужды пересказывать. В 2009 году Бакланов умер. Незадолго до этого мы неожиданно встретились под одной обложкой незнакомого мне журнала «Русская жизнь». Прознав о нашем давнем конфликте, нас намеренно, в расчете на сенсацию свел журналист Олег Кашин, известный больше тем, что его однажды жестоко избили, видимо, за журналистские проделки. Сочувствие ему выражал сам президент. Как не выразить! Он работал тогда заместителем главного редактора в этом журнале, позже — в газете «Коммерсантъ».

Весной 2008 года побывав у обоих дома, он побеседовал с каждым и дал две статьи с фотографиями. Гриша, должно быть, уже больной, выглядит на фотографии печально. Статья обо мне оказалась довольно развязной, и он хотел узнать, что я о ней думаю. Пришлось написать ему письмо. Поскольку в нем оказались некоторые биографические моменты и упомянуты те знакомые мне писатели, что названы выше, пожалуй, есть смысл это письмецо воспроизвести.

ПИСЬМО КАШЕВАРУ

«Олег!

Вы спросили по телефону, доволен ли я вашей публикацией. Ну, какое это имеет значение? Допустим, да. А кое-какие несогласия есть. Но прежде — о журнале.

Зачем вы злоупотребляете бессмысленной дурашливостью. Вот на обложке здоровенная, уродливая и вовсе не смешная баба. И ничего не добавляет сидящая рядом замухрышка. Такая же чушь на обложке №1, который вы мне подарили. Ваши вроде бы близкие родственники «Русский журнал» и «Трибуна русской мысли» без таких вывертов выглядят гораздо привлекательней. На нашем ТВ выпуски новостей начинают под такой музыкальный грохот, что ничего невозможно расслышать, т.е. люди работают против самих себя. И вы — против себя. Многие важные тексты, даже имена сотрудников, авторов, адреса и телефоны, у вас набраны таким микроскопическим шрифтом, что невозможно прочитать. Впрочем, это ваше дело, лучше скажу кое-что о статье.

Заголовочек: «Гений последнего плевка»... Бушин — гений? Вы тут не одиноки. Именно так меня величают многие читатели, например, Роза Ивановна Белова из Гродно. И даже некоторые писатели. Первым был Владимир Соловухин. Когда в «Литературной газете» появилась моя статья «Кому мешал Теплый переулок?», в которой я протестовал против бесконечных и часто нелепых, антиисторических, даже антинациональных переименований городов, улиц, площадей и о необходимости вернуть многим прежние названия, Володя влетел в мой кабинетик в «Дружбе народов» с воплем: «Ты — гений!». Это было в октябре 1965 года. А в 2009-м молодой писатель Захар Прилепин на мою статью «Маршал Рокоссовский и килька пряного посола» откликнулся в интернете: «Гениально! Низкий поклон». Так что, вот 45 лет хожу в гениях. Да еще критик Лев Данилкин нарек меня в «Завтра» критиком №1, а Вл. Крупин там же — «лучшим критиком современности». Правда, я его спросил в той же газете, знает ли он, какие критики водятся ныне на Мадагаскаре или в джунглях Нигерии. Не ответил.

Впрочем, я и сам не скромничаю. Есть у меня на сей счет стихотворение «Поэты и клеветники», посвященное Александру Байгушеву:

Об этом думаю все чаще,
И вывод сам собой возник:
У всех поэтов настоящих
Есть персональный клеветник.

Все началось еще с Зоила.
Ему несносен был Гомер.
А уж потом их столько было!
Взять хоть Россию, например.

При Пушкине Фаддей Булгарин
Работал лейб-клеветником.
Поэт прозвал его Фиглярин.
Так нам он ныне и знаком.

А век двадцатый?.. Что за хари!
Какая злоба! Что за пыл!
Лгал о Есенине Бухарин,
При Маяковском Коган был.

А вот пришли и наши сроки.
И у меня есть клеветник —
Орденоносный стол Морокин,
Давненько чокнутый старик.

Ему лишь дай малейший повод —
И тотчас — визг, проклятья, крик...
А это самый веский довод —
Я гениален и велик.

Но порой я просто не выдерживаю, и тогда слетают с
уст и такие строки:

Порой в глаза мне лепят: «Гений!»
— Опомнитесь! — кричу. — За что?
А кто ж известный всем Евгений?
А рядом с ним Куняев — кто?

А вы, Олег, называете мои статьи «плевками»? Но, как сказал поэт, «А ведь кто-то называет эти плевочки жемчужиной». Но почему «плевок последний»? Нет, мы еще поплюемся... Когда я писал о Солженицыне «гений первого плевка», то, во-первых, принимал в расчет, что некоторые известные критики и впрямь так его именуют, ставят между Толстым и Достоевским. Во-вторых, я опирался на его собственные слова: «Главное — плюнуть первым». А на что вы опирались, присобачивая к статье такой заголовок? Надо же уметь что-то свое придумать, а не переиначивать чужое. А намекать на мой почтенный возраст просто неприлично.

Вы увлеклись словесной игрой, каламбуром. Я и сам не пренебрегаю этим, но, допустим, если «Бушин против времени», а почему «время против Бакланова»? Ему на его журнал «Знамя» давал миллионы долларов Сорос, он принимал в ресторане ЦДЛ Рейгана, напечатал в «Знамении» ворох вещей в поддержку нынешнего времени, его Ельцин или Путин наградили орденом «За заслуги», он получает президентскую пенсию, — словом, человек много сделал для прихода этого времени и не забыт им. Так ли уж оно против него? Во всяком случае, если в чем-то против, то пусть ест то самое, что своими руками варганил.

А теперь несколько замечаний просто по вашему тексту. У вас плохое зрение, слабый слух, неважная память. Вот пишете, будто я сказал вам: «Мне все звонили и говорили: «Ты (своей статьей) уокошил академика Сахарова». Ничего подобного вы от меня не слышали. Был только один звонок, чей — не помню. И я отбил дурака. Об этом и сказал вам.

Некоторые вещи вы могли не знать. Так надо же проверить, а не пороть чепуху, например, о моей «бесплатной даче». Дачи в Переделкино правительство в 1934 году просто подарило Литфонду, писателям, а мы вопреки вашей уверенности строили в Красновидово на собственные деньги. Жена говорит, что мы с ней заплатили 16 тысяч тех самых, советских, не путинских.

«Здесь жил даже Гр.Горин...» Почему «даже»? Здесь живет даже и антисоветчик-враль Радзинский. Здесь обитает даже похабник Ерофеев, такой же лютый враль. Здесь можно встретить даже матушку их брата по разуму Млечина и матушку покойного Гайдара, в характеристике не нуждающегося...

«Горин очень трепетно(!) относился к бродячим собакам». Так-таки и трепетал? У него был свой спаниель Патрик, а как он относился к бродячим, я не знаю, хотя однажды мы ездили с ним в Истру на рынок и продали там два щенка от прижившейся у нас собаки. А вот мы с женой действительно повозились с ними. Всех помним и не забудем: Жучка, Мишка, Катька, Булька, Филька, Малыш, Бушка, Нюшка, Аноська, а сейчас — Ширли и Дик. И у каждой свой характер, свой норов, своя любовь в нам. Мы прооперировали за эти годы шесть сучек, причем первых трех — прямо в своей квартире. А ведь надо было еще найти ветеринара, уговорить его приехать, потом несколько дней ухаживать за несчастной собачкой, наконец, снять швы... А незабвенная Нюшка после операции возьми да ощенись. Вот где трепет-то был! Да еще пять собак я похоронил в лесу. Их отравили негодия... Вот где опять трепет-то. Горин этого не знал и лучше не вспоминать...Вот и 30 апреля оперировали лохматую милашку Герду, но это уже при нашем минимальном участии.

«На чьей стороне воевал отец в Гражданской войне, Бушин не знает». Ну, это уж написано просто в состоянии помутнения ума временного или хронического. Совершенно непонятно, как это могло вам взбрести в голову. С чего вы взяли? У вас кто-нибудь из родственников был на войне? И вы не знаете, на чьей стороне он воевал?

«Его отец вскоре даже вступил в партию». Почему опять «даже»? В партию вступали миллионы лучших людей страны. Что, у вас из родственников никто в партии не был? Или папа и мама вступали, но их вскоре выставили? Помню, однажды покойный писатель Иосиф Прут беседовал на ТВ с Евг.Киселевым и упомянул, что во время Гражданской служил в Красной Армии. Так этот теледуб ляпнул: «Как это

vas угораздило!» Он живет в уверенности, что в Красной Армии никого, кроме Сталина и Буденного, не было.

«Бушина можно было бы считать русским Артом Бухвальдом». Как в вашем возрасте вы помните его? Он давно забыт, и нешибко был интересен. И ничего общего: у меня — исследования, а у него — хохмы.

«Журналистское сообщество» относилось к авторам «Дня» и «Завтра» как к унтерменшам? Не замечал. И что это за «сообщество» — ваши друзья? Ведь ненавидеть, оболгать, оскорбить это не значит считать унтерменшем. Надо показать, что противник таков. Но за все время в свой адрес я не получал никаких существенных опровержений, никаких попыток доказать мое «унтерменшество», а только вопли и брань. О конкретных ошибках, конечно, были порой замечания (например, о счете между футбольистами киевского «Динамо» и командой люфтваффе в игре 22 июня 1942 года). Такие ошибки могут быть у всех, и о них дружески писали мне мои единомышленники. А для вас «сообщество» это радзинский-радзиховский?

И нет конца вашему пристрастию к халтурке и верхоглядству. «Бушину позвонил завотделом металлургии ЦК». Да никогда не было такого отдела. А в дотошном перечислении портретов в моей комнате вы пропустили Святослава Рихтера. Однажды, будучи уже не у дел и слегка не в своей тарелке, с предложением за комиссионные проценты продвинуть в печать любое мое сочинение («Мои ученики во всех газетах и журналах!») ко мне явился живший через дорогу Виталий Сырокомский, бывший заместитель главного редактора «Литературной газеты» и отчим Ленида Млечина по совместительству. Ну, ничего он, конечно не напечатал, но запомнился своим изумлением при виде у меня портрета принцессы Дианы. «Как! У Бушина — Диана?!» Ожидал увидеть Пугачева, Дзержинского и вдруг! Должно быть, и вы так же изумились при виде Рихтера и, подобно Сарнову, сочли это за маскировку.

К слову сказать, Анатолий Салуцкий не так давно вспоминал: «В.А.Сырокомский стал первым замом Чаковского.

Через неделю Виталий Александрович пригласил из «Вечерки» меня, еще через неделю — Соломона Смоляницкого. Эти приглашения не были случайными. Сырокомскому нужны были свои люди... Поначалу я работал в отделе писем, который возглавлял Залман Румер, попросту Зяма... Я был человеком Сырокомского» (АГ, №1'10). Интересно, а чьим человеком был Зяма? И тут мы подходим к интересному вопросу.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ И АНТИСЕМИТОВ

«Не знаю почему, но советский патриот, как правило, всегда отчасти антисемит — вот и Бушин, говоря о Бакланове, всегда оговаривается, что его фамилия Фридман». Что вы врете-то? Во-первых, если кто назвал человека по его настоящей фамилии, к которой привык со студенческой поры, уж такой ли это антисемитизм, чтобы о нем в рельсу бить? Во-вторых, что значит «всегда» — в разговоре с вами, что ли? Этого не было. И зачем я буду, как идиот, долдонить это всегда? Кому интересно, знают и без меня. А я касался этого вопроса только, когда Бакланов уверял, что его заставили взять псевдоним да вычеркнули его посвящение повести погибшим братьям. Наши шахматные гроссмейстеры, поди, процентов на 80 евреи, но только один из них, Вайнштейн, взял псевдоним Каспаров. Мама ему сказала, что иначе он ничего не добьется. А Ботвинник, Таль, Бронштейн, Корчной, Болеславский, Бондаревский, Авербах, Геллер, Штейн и множество других? Все — известнейшие гроссмейстеры. И одни даже доходили до финальных матчей на звание чемпиона мира, а другие и были им.

Так что, осторожней на скользких местах, сударь. Могу посоветовать мою статью «Изготовление евреев» в газете «Дуэль» №17 за 2010 год. Она есть и в моей книге «Живые и мертвые классики». Мне кажется, там для вас много интересного.

И как поворачивается язык у иных сограждан говорить об антисемитизме в стране, где в контрреволюции и ограблении народа евреи сыграли такую выдающуюся роль, где

едва ли не подряд четыре премьера и четыре вице-премьера — евреи или, как выражается критик Сарнов, «с большой прожидью», где телевидение — почти сплошь такое же, что проявилось хотя бы в недавних трехчасовых и дважды показанных (второй раз — 3 мая) по первой программе передачах, посвященных 70-летию... кого?.. Ильи Резника. Есть поэты, которые просто пишут стихи, и некоторые из них кладут на музыку: Исаковский, Фатянов, Матусовский... А есть текстовики, они делают тексты специально для песен. Таков Резник, тороватый текстовик. Вы, русский человек, всего этого не видите?

Бакланов у вас говорит: «В редакции мне сказали: «Что такое Фридман? Может, нам его из Америки заслали? Так я стал Баклановым». В какой редакции сказали? Это вранье, расчет на идиотов: словно он был в стране единственным среди писателей с такой фамилией. А почему остались при своих именах Эренбург, Пастернак, Шкловский, Фраерман, оба Гроссмана, даже Радзинский и т.д. Вот еще Михаил Шатров. Его фамилия Маршак. И он уверял, что знаменитый однофамилец Самуил Яковлевич сказал ему: «Для нашей литературы хватит одного Маршака, придумайте псевдоним». Поверить в это трудно. Образованный С.Я.Маршак знал, что в русской литературе три Толстых, из которых два Алексея и два Николаевича, но никто их никогда не путал. Мало того, у нас три «Кавказских пленника», и тоже — никакой драмы.

Еще Бакланов уверял, не называя ее, что в редакции «Знамени», где позже он был главным редактором, у него потребовали снять посвящение повести своим братьям, имевшим еврейские фамилии. Опять вранье. Во-первых, как пофамильно показал в своих воспоминаниях С.Куняев, в редакции этого журнала, как и во многих других, преобладали как раз евреи. И кто же из них обидел Гришу? Во-вторых, у меня, например, есть стихотворение, посвященное памяти одноклассников, погибших на войне, и среди них — евреи. Я печатал это стихотворение неоднократно, и никто никогда нигде не требовал у меня убрать еврейские фамилии.

Недавно Катя Глушик как-то непонятно то ли от себя, то ли от него принесла мне «Петербургские хроники» Дмитрия Карависа, которого я знал до этого только по его колонке в «Литгазете». Книга очень большая, шрифт мелкий, едва ли я ее одолею. Но первые страницы просмотрел и на 20-й прочитал запись 1983 года о приятеле автора: «Бутмин — псевдоним. Настоящая фамилия — Бутман. Илья говорит, что ему пришлось стать Бутминым, когда вышло(!) негласное указание поменьше печатать евреев». И автор не поинтересовался, чье это указание, откуда оно вышло, куда пришло. Увы, дальше мне придется к этому вопросу возвращаться не раз.

А что касается псевдонима, который Бакланов взял из фадеевского «Разгрома», то при его появлении в «Литгазете» еще в институтскую пору мы, однокурсники, сказали ему: «Гриша, уж если из «Разгрома», то лучше бы взять имя не второстепенного героя Бакаланова, а главного — Левинсона». Осерчал...

Да, Олег, порой я слышу в свой адрес вопли таких, как Беня Сарнов: «Антисемит!» Но не реже раздаются в мой адрес и визги таких, как Байгушев; «Еврей!» Я об этом и статью написал — «Еврей и антисемит в одном фургоне» («Завтра» и «Своими именами» №14'11). Ведь стоит задеть еврея, и тотчас вопль: антисемит! А что делать, если они на самых высоких колокольнях и громче всех поносят мое время. Мих.Шатров и Гр.Явлинский собирались подавать на меня в суд (правда, без обвинений в антисемитизме), но собирался и русский Степашин, а Владимир Карпов и подал. Представьте: Герой, член ЦК, депутат, лауреат, первый секретарь СП... Только и спасся я встречным иском.

Бакланов у вас говорит: «Когда началась война, я пошел на фронт добровольцем». Когда началась война, т.е. в июне 41-го, Гриша, как сам писал, подался из Воронежа, который немцы захватили только спустя год, в предгорья Урала, а в армию и на фронт попал, когда шел ему 19-й. Ка-

кой же доброволец, если брали восемнадцатилетних? Не вы ли сделали его добровольцем?

«До «Знамени» Бакланов никаких должностей не занимал. Просто писатель». Вы просто сотрясатель атмосферы. Он был и членом Правления СП СССР, и секретарем правления, даже сопредседателем...

«Бакланов получал анонимки с угрозами (не факт, что настоящими) от общества «Память». На самом деле «факт» состоит в том, и вы должны бы знать, что это была провокация не «Памяти», а некоего Аркадия Норинского из Ленинграда, и Бакланову было известно, что это провокация. Но все-таки он напечатал его письмо, приняв неизмеримо более существенное участие в провокации. У него была склонность к таким вещам. Многие не забыли, что в «Знамени» он напечатал статью генерал Д.Волкогонова и писателя В.Карпова, которые уверяли, что маршал Жуков в 30-е годы написал донос на маршала Егорова, в результате чего тот был репрессирован. И ведь некую бумажку предъявили! Оказалась фальшивка. Пришлось извиняться. Я потом спросил Карпова: «Как же ты мог?» И что он ответил? «Да ведь Волкогонов-то был генерал-полковником и дважды доктором наук!» И такой человек возглавлял Союз писателей... А за Норинского не помню, извинялся ли Бакланов.

ЕГО ФИНАНСИРОВАЛ СОРОС

«Бакланов назвал Бушину фашистом. Собрали партгруппу. Бакланов извинился. Дело замяли». Где вы научились такой легкости в мыслях — у Сванидзе? Во-первых, на партгруппе он вовсе не извинился, а продолжал катить бочку: «Бушин не советский человек!» Он, вымаливавший подачки Сороса, советский человек, а я — не советский. А извинился по требованию партгруппы только через несколько дней, прикатив ко мне в Измайлово. Во-вторых, ничего не замяли: разговором на партгруппе, его извинением все за полной ясностью и кончилось. А лет через сорок он стал врать, что его за это из партии исключили и вообще чуть не погубили всю карьеру.

Бакланов и это у вас сказал: «Выпивши я тогда был. Бушин мне никогда не нравился». За долгие годы неоднократно вспоминая тот эпизод, он впервые вдруг признался, что был пьяным. Но дело не в этом. Главное, «не нравится» — этого ему достаточно, чтобы многих называть фашистами. Например, об известном критике Ю.Барабаше, тогда заместителе главного в «Литгазете» писал: «Я мысленно надел на него эсэсовскую фуражку и ахнул!..» А здесь у него фашисты уже «Хасбулатов и компания». И не соображал, что ведь и его мысленно может кто угодно обрядить в любую форму, в какую угодно одежду, например, в одежду палача и сунуть в руки топор.

Бакланов — вам: «Бушин вообще очень фальшивый тип».

Фальшивый — это лжец, лицемер, приспособленец, перреметчик. Так? И если бы я, например, попал на фронт в 18—19 лет, а потом изображал из себя добровольца; если бы врал, что нашу армию и еще одну во время тяжелых боев совершенно не кормили; если бы я извинился перед человеком, которого оскорбил, и дело было исчерпано, а через сорок лет стал изображать свое хамство как смелый благородный поступок, который грозил мне гражданской смертью; если бы я встречался и беседовал с Эренбургом, а потом с целью опорочить Симонова вложил в уста Эренбурга вздорный вымысел о нем; если бы я поносил Симонова («Он служил Сталину!»), а потом принял премию его имени; если бы я лет пятьдесят состоял в партии, а потом плонул на нее и стал высмеивать; если бы я съездил в США и написал о ней неприязненную книгу, а потом якшался бы с американским президентом; если бы я на страницах «Русской жизни» объявил генералов Крейзера и Драгунского русскими*, — если бы все это было на моей совести, то, конечно,

* Г. Бакланов в «Еврейской газете» объявил евреями генерала Льва Доватора — белоруса, маршала бронетанковых войск Михаила Катукова — русского, и Маршала Советского Союза Романа Малиновского — украинца, по поводу чего имел тяжелое объяснение с некоторыми родственниками названных Героев Советского Союза.

меня следовало бы назвать очень фальшивым человеком. Но ничего этого за мной не числится. А Гриша как раз все это или подобное и проделал. Так кто же фальшивый?

ХОТЬ БЫ СЛОВО ПРАВДЫ, ХОТЬ БЫ КРУПИЦА УМА!

«Бушин зачем-то издал сборник своих стихов». Если бы вы показали, что это плохие стихи, тогда «зачем». Надо же доказывать свои оценки. Вот я уже доказал, что вы литератор недобросовестный, так учитесь, если можете. Я печатал стихи во многих газетах и журналах — в «Литературной России», «Правде», «Завтра», «Нашем современнике», «Молнии»... Одни читатели пишут, что плакали над моими стихами; другие — что расклеивали их на заборах; третий слышал, как на трамвайной остановке женщина читала мои стихи наизусть... Так почему не составить сборник? Недавно издал свои стихи, да еще с матерком, Вяч. Иванов (Кома), сын известного писателя Всеволода Иванова, и все ахнули: старик, академик, а так и не понял, что всю жизнь был графоманом. Об этом писала ЛГ.

«До перестройки делом всей жизни Бушин мог считать Энгельса (так в тексте), которому он посвятил добрый десяток биографических книг». Нет, вы действительно того... Какое дело всей жизни? Какой десяток? Это была одна книга, которая переиздавалась с некоторыми дополнениями. Кажется, было 4—5 изданий. А контрреволюция моего отношения к Энгельсу, как и ко многому другому, в целом не изменила. Я готов и сейчас переиздать книгу о нем с некоторыми уточнениями.

«Самая известна из книг Бушина о Энгельсе — «Эоловы арфы» — выдержала множество изданий (см. выше) и считалась эталонной биографией». Что такое эталонная биография? Кем моя книга таковой считалась? «Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!»

«Энгельс всегда был в тени Маркса, и Бушину казалось это неправильным». Ни в какой тени он не был, и мне ни-

чего не казалось. Разъяснять долго и скучно. А если вам кажется, перекреститесь.

«Энгельсом Бушин занялся не от хорошей жизни. Просто возникла необходимость заработка». Ведь ничего другого, кроме заработка, вы и помыслить не в состоянии. Фигура Энгельса увлекла меня после прочтения известной книги Меринга о Марксе. Ну, а гонорарные соображения в той или иной степени в литературной работе, как и во всякой другой, конечно, есть всегда.

«Сын погиб на собственном 18-летии». Я вам этого не говорил. Он погиб после окончания МГУ. И прошу этого не касаться.

«С 1979 по 1988 Бушина, как он считает, именно по вине поклонников Окуджавы нигде не печатали». И это я не говорил и не считаю. Опять врете. Какие поклонники? Меня не печатали С. Викулов в «Нашем современнике» да М. Алексеев в «Москве». Это поклонники Окуджавы?

«Главный редактор «Дружбы народов» Баруздин привнес в журнал роман Окуджавы «Бедный Авросимов». Бушин говорит: «Как замечательно, давайте обсудим. Но все хором: «Что там обсуждать! Печатать!» Вы просто не можете остановиться. И я не выражал восторга, и хора не было. Баруздин сам решил печатать без обсуждения. А ведь пишете так лихо, будто своими глазами все видел, своими ушами слышал.

«Бушин выступал с антиокуджавскими речами». Где? В каком зале? Перед какой аудиторией? Или по радио? По телевидению? Или на кухне у вашей тещи? Я выступил в «Литгазете» с критикой конкретного произведения, а не против Окуджавы вообще, многие песни которого, как я писал, мне нравятся до сих пор. Другое дело, как я стал к нему относиться после того, как он выразил восхищение расстрелом Дома Советов.

«Бушин написал статью. Но ее, конечно, не напечатали». Ну, что с вами? Повторяю: напечатали в «ЛГ», выходившей тогда огромным тиражом. А Баруздину я ее, разумеется, не предлагал.

Дальше вы уверяете, что услышали от меня: «Я отдал статью такому(!) Мише Синельникову», а «такой» Миша воскликнул: «Как же ты попрешь(!) против своего журнала?» Знаете, драгоценный, вам надо искать другую работу, осваивать другую профессию... Миша Синельников, Михаил Хананович, был моим добрым младшим товарищем, я впервые напечатал его в «ЛГ», когда там работал. Мы были на «вы». И сказать мне «попрешь» он никак не мог. Возможно, я вам действительно сказал «ты попрешь», но вы же должны соображать, что одно дело — простецкий пересказ события третьему лицу, и совсем другое — само событие. Это азбука журналистской профессии. И какой от всего этого разит пошлостью!

И вот опять то же самое. Уверяете, что главред «ЛГ» С.С.Смирнов будто бы сказал мне: «Хочу побеседовать с тобой...» Во-1-х, не побеседовать, а объявить о нежелательности моей работы в «Литгазете». Во-2-х, в ту пору — ну поймите же! — не водилось такого панибратства, как сейчас. И Смирнов был со мною, конечно, на «вы».

ВСЕ ЗНАЕТ И НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ

«Главредом «Нашего современника» стал Куняев. Разумеется(!), отношения с ним у Бушина. испортились сразу(!)», поскольку-де он сам хотел стать главредом. Все-то вы знаете, милейший, но ничего не понимаете. В людях, которые вам не нравятся, вы непременно видите негодяев. Да, с Куняевым отношения испортились, но вовсе не сразу, а только после того, как он вслед за Бурлацким в «Литгазете» смахнул с обложки НС портрет Горького, целый год печатал Солженицына, объявил горбачевско-ельцинскую контрреволюцию Божьей благодатью, ввел в редакколлегию махрового антисоветчика Шафаревича, его устами со страниц журнала призвал вместо Антифашистского комитета в помощь Ельцину создать Антикоммунистический и судить 250 тысяч коммунистов, оклеветал Беломоро-Балтийский канал и т.п. То есть «отношения испортились» только после

того, как ворох антисоветчины в журнале стал уже невыносим. А пока «процесс шел» и набирал силу, он меня печатал. Да и ныне, в глубине души, видимо, все-таки сознавая тяжкий грех своих деяний в те решавшие судьбу родины годы, Куняев ищет оправдания, примирения, забвения. У Твардовского хорошо сказано:

Немалые старанья о забвенье
Немалого и требуют труда.

И вот на открытие номера посвященного 65-летию Победы, Куняев даже дал хорошую подборку моих стихов. Правда, потом в приступе величия прислал письмо, в котором эти стихи, без моей просьбы по добной воле им напечатанные, назвал «публицистикой в рифму». Даже если так, а что такое хотя бы «Клеветникам России» Пушкина, «Смерть поэта» Лермонтова или «Не Богу ты служил и не России» Тютчева? Чистая «публицистика в рифму».

Видимо, в вас, Олег, неистребима жажда писать понаслыше и вы шпарите: «Баруздина, Ананьева, Залыгина трудно считать прорабами перестройки. А вот редактор гораздо более скромного «Знамени»...» Баруздин умер в 91 году, в журнале его заменил безвестный А.Руденко. А тираж «Знамени» доходил до миллиона. Какая же тут «скромность»?. Залыгин же, главный публикатор Солженицына в «Новом мире», вдруг стал американским академиком. За скромность? Ведь писатель-то весьма средний. Хотя я и похвалил в свое время его повесть «На Иртыше».

«Цензуру не устраивало в записках Ржевской о марша-ле Жукове то, что она писала, будто однажды Жуков назна-чил ей встречу, а у нее была путевка в санаторий». Недав-но какой-то Цукерман заявил по ТВ, что в советское время была запрещена йога. Ему завидуете?

Чушь и второе замечание о цензуре в связи Ржевской. Ее лживые записи были напечатаны со всем этим вздором. (См. мою ст. об этих записках — «Кто дублировал Бабетту?» в кн. «За родину! За Сталина!»)

Но нелепость о цензуре вы продолжаете и в связи в «Роковыми яйцами» Булгаками, вещью совершенно бесталанной, как, впрочем, и упомянутое тут же «Собачье сердце».

«Надо отдать Соросу должное: он спас российские толстые журналы от гибели в условиях рынка». Отдайте. Он действительно спас журналы, но только те, которые ему были нужны для разгрома России: упомянутые вами «Знамя», «Октябрь», «ДН», «НМ»... По словам самого Бакланова, он дал 4 миллиона долларов (ТВ, 5 мая 08, Культура. Повтор).

«Желчный старик. Поболтать с ним интересно, а дружить или просто часто видеться — нет уж, увольте».

Это особенно возмутило мою племянницу, которая принесла мне ваш журнал. Но я успокоил ее, сказав, что дружбы вам я не предлагал и не только часто, а даже еще хотя бы один раз встретиться со сплетником и «поболтать» — тоже.

В полном восторге от вашей статьи моя Аноська, упомянутая в ней. Она задирает теперь и нос и хвост: «Обо мне, наконец, заговорила столичная пресса...» Оценить литературные и нравственные достоинства вашей публикации моя собачка, к сожалению, не может. Впрочем, вскоре она, увы, околела. Не от вашего ли упоминания ее честного имени в вашем бездарном журнале? Говорят, что и он околел? Если так, то уж это точно — от таких публикаций, как эта ваша.

Хороши фотографии. Я могу их купить.

Всего !

4 мая 08, Красновидово».

КОЛЯ ГЛАЗКОВ ДА ТРЯПКИН КОЛЯ

По коридорам института бродили стихи Николая Глазкова такого рода:

Пусть говорят, что окна ТАСС
Моих стихов полезнее —
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия.

Или вот еще:

Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый, век необычайный!
Чем эпохи интересней для историка,
Тем для современника печальней.

С Колей, уже по помню как, сложились очень добрые отношения. Никто не дарил мне столько своих книг, как Винокуров и он. Женя издавался много, у него выходило и по две-три книги в год, и мне он подарил десятка полтора. Колю печатали меньше, но с десяток своих книг подарили и он. А его бесчисленные письма, красочные открытки, а то и стихи на фантиках, что присыпал он из поездок по всей стране. Где он только не был! И письма всегда были забавные, с выдумкой, с шутками, со стихами и о себе и в честь адресата. 31 августа 1976 года писал:

«Дорогой Володя Бушин!

На поезде «Россия»
По лучшей из дорог
(Не видывал красивей!)
Я еду на Восток!

Совершаю 14-е путешествие в сторону Уральского хребта! Из Владивостока предполагаю махнуть на Сахалин и, возможно, на Курилы.

С дружеским приветом!
Твой верный поэт и великий путешественник».

И кажется везде побывал, кроме Курил. Во всяком случае, поздравляя с Днем Победы, прислал в подарок акrostих:

Бушуют яростные волны
У Магаданских берегов,

Шумят и пляшут своевольно
И достают до облаков!..
Не волны эти так проворны —
Упали облака на волны!

А раньше, еще в октябре 1973 года, когда он жил на Арбате, Коля прислал на цветной бумажке акrostих еще более полного характера: «ВОЛОДЕБУШИНУ»

Волга серая и синяя
Ощущала стужу льдов.
Лучезарность снега, инея
Оживляет дни уныния,
Дни, бегущие по линии
Ежегодных холодов

и т.д.

В 1975 году Глазков жил уже на Аминьевском шоссе и оттуда однажды прислал мне вот что:

ВРАГИ И СТИХИ

Писал я много на веку,
Но все, народ, сожги,
Коль хоть одну мою строку
Вдруг запоют враги!

Игорь Кобзев. «Закон»

Хотя врага, который сер
И бел, почетно бить,
Но самый белый офицер
Мог Пушкина любить.
И меньшевик или эсер
Не мог его забыть.

Пока под солнцем и луной
Вращается земля,
Враг волен выбирать любой
Себе репертуар.

Не все то брак,
Что любит враг,
Не все то суррогат.
Когда поэта враг поет,
Попавший в сложный переплет,
Поэт не виноват!

Я, кажется, на это не ответил. Но вскоре он прислал на эту же тему еще одно стихотворение. И тогда я ответил.

ГИТЛЕР И ЦВЕТЫ

Николаю Глазкову, приславшему мне
переведенное им с якутского языка сти-
хотворение М.Дорофеева «Флоксы».

Неужто Мишка Дорофеев
Попал в когорту корифеев,
Поскольку ныне сам Глазков
Его вознес до облаков?

Но вот что пишет сей эстет:
«Я вроде как бы маков цвет.
За то, что чтут меня враги,
Корить поэта не моги.

Мы разве вправе ханить флоксы
За то, что Гитлер их любил?». — Нет! — я сказал. — Но это ж фокусы
С цветком, что сорван средь могил.

Известен фокус нам таковский.
Но я поэтов чту иных:
Рылеев, Лорка, Маяковский —
Враги уничтожали их.

Врагов у нас немало в мире.
Коль приглянусь им хоть на миг,
Готов, как лермонтовский Мцыри,
Я вырвать грешный мой язык.

По мне, Глазков, твой Дорофеев —
Гляжу без розовых очков —
Иль из породы фарисеев,
Иль из блаженных дурачков.

Его ты не переводи,
А лучше выпить заходи.

Коля отозвался очень живо:

Мыслю я: во время ужина
Можно выпить не зазря —
И спешу поздравить Бушинा
С наступлением пьянваря.

Потом приспал два стихотворения, одно из них — «Бюрократическое творчество»:

Бывал я в древних городах,
Смотрел на памятники зодчества
И удручен меня размах
Бюрократического творчества.
В названьях улиц, площадей
По непонятному велению
Присутствовал абстрактный день
Вне времени и протяжения:

Вне памятников старины,
Вне живописной этой местности,
Вне города и вне страны,
Вне исторической конкретности.
Лассали, Либкнхеты и Бебели
Ни разу в жизни здесь и не были,
С врагами не боролись тут,
Заводов, фабрик, школ не строили.
Хотя их справедливо чтут,
Они стоят здесь вне истории.
Как гражданин и как поэт
По званию и по призванию
В горисполком и в райсовет
Хочу пойти и дать совет:
Верните старые названия!

8 декабря 1975 года я писал ему:

«Дорогой Коля!

Спасибо за два прекрасных стихотворения. «Бюрократическое творчество» ты прислал, надо думать, не просто так, а помня мою статью «Кому мешал Теплый переулок?», что была напечатана в «Литгазете» еще в 1965 году, и, желая поддержать и продолжить ее идею борьбы против безобразия у нас со всякими переименованиями. Я тогдаставил вопрос о возвращении исконных названий Нижнему Новгороду, Вятке, Самаре, Твери... Потом, в январе 1966-го, об этом же и о других подобных вопросах была передача Ленинградского телевидения, которая транслировалась на всю страну, а участие в ней, кроме меня, принимали Д.С.Лихачев (тогда он был членкором и вел передачу), Владимир Соловухин, Олег Волков, Николай Успенский, В.Иванов, будущий академик, кто-то еще. Передача вызвало бурю вплоть до кладной записку А.Яковлева в Политбюро и объявления ее идеологической диверсией и снятие с работы нескольких работников Ленинградского телевидения во главе с директором Фирсовым.

Удачно, Коля, и второе стихотворение о том, что мы стра-
даем не только от бюрократизма, но и от его недостаточного
умного развития. Об этом в свое время говорил Ленин.

К Николину дню шлю тебе в подарок стихотворение на
близкую твоим стихам тему, о том, что надо действовать
разумно и в соответствии с обстановкой.

ЖУРАВЛИ

Когда ты видишь в небе журавлей,
Наш север покидающих печальный,
Об участи их, право, не жалей,
Хотя и трудно им в дороге дальней.

Их ожидают холод, и гроза,
И голод, и тревожные ночлеги,
И молнии сверкание в глаза,
И хищников внезапные набеги...

Но, несмотря на множество преград,
Сумеют они все-таки не сбиться
И в нужный день до цели долетят,
А ведь они не более чем птицы.

Все дело в том, что тягостных оков
Слепого почтания не зная,
Всегда в свой срок меняет вожаков,
Летящая к заветной цели стая

А прежнюю нашу тему считаю исчерпанной моими
строками:

—Мы разве вправе ханить флоксы
За то, что Гитлер их любил?
— Нет! — я сказал. — А можно ль фокусы
Показывать среди могил?

Да, подчеркивание какой-то общности между нами и
убийцей миллионов Гитлером есть фокус, и только. Зачем

это? Мало ли можно найти точек сходства. У меня два уха и у него, у меня пять пальцев на руке и у него. Что дальше? А ты пристал к этому, как слепой к тесту.

Конечно, тому или иному фашисту могли нравиться то или иное произведение искусства даже русского, в частности. Но как историческое явление фашизм презирал и отвергал русское искусство и русский народ, уничтожал их. Так зачем же мне, русскому литератору, совать под нос некие точки общности с Гитлером?

Будь здоров и не наводи тень на ясный день.

Обнимаю и приветствую по случаю Николина дня и спешащего за ним Нового года!»

Позднее Глазков прислал открытку с фотоснимком на ней перламутрового украшения XVIII века из Алмазного фонда:

Ты, Володя Бушин, мудр.
Мысль твоя — как перламутр...

и т.д.

Вскоре после того, как я въехал в кооперативную квартиру на Красноармейской улице, Глазков нагрянул ко мне. На шестой этаж шел почему-то пешком и голосил на весь подъезд: «Какие вы тут все счастливцы — вы живете в одном доме с Бушиным! В одном доме! Под одной крышей!..» Радостно орущим на лестнице он и остался в моей памяти.

И Николая Тряпкин... Малеевка. Кажется, февраль. Мы стоим на тропке, что вела о основного корпуса корпуса к конторе, и он читает мне. Вернее. Напевает: «Летела гагара...» Их было два Коли-Николая — Глазков и Тряпкин. Как бы деревенские дурачки не от мира сего, блаженные. И какие стихи написал Тряпкин незадолго до смерти!

Не жалею, друзья, что пора умирать,
А жалею, друзья, что не в силах карать,
Что в дому у меня столько разных свиней,
А в руках у меня ни дубья, ни камней...

Дорогая отчизна! Бесценная мать!
Не боюсь умирать. Мне пора умирать.
Только пусть не убьет стариковская ржа,
А дозволь умереть от свинца иль ножа.

Ему было восемьдесят, когда он умер, но все-таки — не от стариковской ржи, а от ножа демократии. А перед смертью успел вознести страстную молитву:

За великий Советский Союз!
За святейшее братство людское!
О Господь! Всеблагой Иисус!
Воскреси наше счастье земное.
О Господь! Наклонись надо мной.
Задичали мы в прорве кромешной.
Окропи Ты нас вербной водой,
Осени голосистой скворешней.
Не держи Ты всевышнего зла
За срамные мои вавилоны, —
Что срывал я Твои купола,
Что кромсал я святые иконы!
Огради! Упаси! Защити!
Подними из кровавых узилищ!
Что за гной в моей старой кости,
Что за смрад от бесовских блудилищ!
О Господь! Всеблагой Иисус!
Воскреси мое счастье земное,
Подними ты мой Красный Союз
До Креста своего аналоя.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

9 апреля

Получил великолепную рецензию Александра Николаевича Макарова на дипломную работу, в которую вошли большая статья о Маяковском и рецензии на «Студентов» Юрия Трифонова, «Жатву» Галины Николаевой и на спек-

такль «Студент третьего курса» в театре Моссовета. О первой статье пишет, что ей «могут заинтересоваться молодежные журналы, она этого заслуживает». А если, мол, кое-что добавить, то «это будет статья, которая заинтересует любой толстый журнал». Ура!

12 апреля

На кафедре творчества получил рецензию Андрея Туркова. Он окончил институт в прошлом году, сейчас заведует отделом критики в «Огоньке». Но как он смел брать на себя роль судьи моей дипломной работы! Мы же ровесники и занимались в одном семинаре у Веры Вас. Смирновой. И он выносит мне приговор! Откуда такая самоуверенность и злобность? В подобной ситуации можно было бы согласиться рецензировать диплом только для того, чтобы поддержать товарища, а он взялся, чтобы утопить. Ну и хлюст!

27 июня

Вчера впервые в жизни я видел в лицо предательство. Оно выглядит буднично, ничего особенно примечательного в нем нет. Турков на мою защиту не явился. А Макаров вышел на кафедру и стал говорить прямо противоположное тем похвалам, что были в его рецензии. Я не верил своим ушам. Можно было бы встать и огласить то, что он писал, но это был бы скандал, и я не решился.

А когда в перерыв, будучи от созерцания изменения не в себе, шел между рядами к выходу и поравнялся с Баклановым, сидевшим с краю, он вдруг так на меня окрысился... Ну и денек...

Как потом я узнал, Макарова вызвал завкафедрой творчества Василий Александрович Смирнов и высказал ему недовольство его похвальной рецензией, может быть, и потребовал сказать на защите то, что тот и сказал. Макаров был тогда фигурой видной, он много писал, был членом редколлегии «Литературной газеты» и т.д. Человек, бесспорно, талантливый, но столько и робкий, нерешитель-

ный, податливый. Смирнов нажал — и все, пошел на прямую подлость. А Смирнов, не знаю, почему, видимо,шибко меня не любил. Хотя гораздо позже, году в 1964, будучи без работы, я пришел к нему в «Дружбу народов», где он был главным редактором, и он охотно взял меня заведовать отделом культуры. И помню, как однажды мой очерк «На легких играх Терпсихоры» о танцевальном фестивале в Кишиневе, так его обрадовал, что, будучи на даче, он пошел куда-то далеко по сугробам к телефону, чтобы позвонить мне и похвалить. Неожиданный он был человек.

Однажды он сказал Смелякову, заведовавшему в журнале поэзией:

— Ярослав, давай дадим подборку еврейских поэтов.

— Давай. Только все равно нас не перестанут считать антисемитами.

Да как же Ярослав не антисемит, если, с одной стороны, он написал «Оду русскому человеку», а с другой, в стихотворении о «Машке из рабочей слободы» сказал о ней:

Завтра утром стирает
для еврейки бельеци
и печально напевает,
что потеряно кольцо.
И того не знает дура,
полоскаючи белье,
что в России диктатура,
и не чья-нибудь — ее.

А в журнале, как почти во всех, уж столько евреев работало: Вайс, Герш, Дурново, Лена Дымщиц, Шиловцева, Оскоцкий, не говоря уж о еврейских мужьях и женах — Бодганов, Перуанская, Дмитриева (жена Аидиса-Лиходеева), тут и жена физкультурника Бори, которого она в 1969 году оставила и стала женой О.В., ровесника ХХ века.

Однажды во время какого-то редакционного праздничного застолья мне пришлось встать из-за стола и пойти в свой кабинет позвонить кому-то по телефону. Едва я кон-

чил говорить, как вдруг дверь открылась и произошло вот что, о чем я, спустя долгое время, написал стихотворение «Сейчас и здесь»:

Вы в кабинет средь бела дня
Вошли и весело сказали:
— Хочу я, чтобы вы меня
Сейчас и здесь поцеловали!

Что я в ответ вам мог сказать?
Не столь уж тягостная просьба.
Не в силах был я отказать.
Да много ль стоиков нашлось бы?

С тех пор минувших дней — не счасть!
О, молодость! Но я не скрою:
Прекрасный зов «Сейчас и здесь!»
Доныне мнится мне порою...

ЛИЦО ВРАЖДЫ

А рецензия Туркова тогда, конечно, ужасно огорчила меня. Она была вовсе не случайна. Если в 51 году он мог просто оставить меня без диплома, а только с бумажкой, что, мол, товарищ «прослушал курс», то позже энергично боролся против и моего приема в Союз писателей. Тогда, между прочим, он писал в рецензии и такое: «В работе В.Бушина о Маяковском отдельные формулировки просто ошибочны». Это такие же? И он указывал: «До революции у поэта слышались мотивы тоски, одиночества, безысходности». И что? «Заявление довольно безответственное». Какая, мол, тоска и одиночество могли тут быть, если товарищ Сталин назвал Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Он просто обязан был всю жизнь быть круглосуточным оптимистом! Но ведь чего стоят хотя бы такие строки из стихотворения «Несколько слов обо мне самом», написанного в 1913 году:

Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека.

Это о самом себе, а не о критике Туркове, беспробудном оптимисте.

Мы с ним представляли как бы два полюса литературной жизни. Об этом он сам прямо заявил 10 апреля 1961 года на заседании бюро секции критики, когда рассматривался вопрос о рекомендации меня в Союз писателей: «Сознавая все неудобство того, что я и некоторые товарищи из бюро стоим на противоположных Бушину позициях, я буду голосовать против его приема в Союз». В 1951 году взявшись вынести приговор ровеснику и однокашнику, Турков не мог не понимать всю постыдность этого дела, но все-таки приговор вынес — убийственный. Прошло десять лет, он не раскаялся, не пожалел об этом, и вот опять выносит такой же убийственный приговор. Да, противоположность позиций! В роковые годы контрреволюции и ограбления страны Турков на страницах «Известий» пел дифирамбы А.Н.Яковлеву, а я об этом теоретике грабежа и академике в особо крупных размерах опубликовал с полдюжины уж очень неласковых статей, в которых обличал его, как оборотня, лжеца и предателя.

В январе 2012 года Путин удостоил Туркова правительенной премии. Да как же ее не дать певцу Яковлева и клеветнику Сталина...

СВОЛОЧИ

А.Турков твердил самые грязные зады клеветников Советской России. Так, в биографическом словаре русских писателей XX века (М.2000) ему принадлежит большая статья о Твардовском, где читаем: «В поэме «Дом у дороги» впервые с состраданием сказано о пленных, которых Сталин объявил изменниками». Где, когда объявил? В каком приказе, директиве или выступлении? Ведь надо быть полным идиотом, чтобы объявить три миллиона солдат сво-

ей армии изменниками. Но даже самые тупые клеветники при всей их ненависти к Сталину давно согласились, что он был совсем не дурак, далеко не дурак, отнюдь не дурак. На фронте старший лейтенант Кулиманов предупреждал меня насчет приема в комсомол одного солдата, побывавшего в окружении. Но что взять с молодого особыста да еще на фронте. А тут образованный, начитанный критик, уже старый автор многих книг...

В окружении... в оккупации... в плену... И что? Множество сочинителей и помимо Туркова от покойных Волкогоно-ва и Бродского до вечно живых Радзинского и Млечина без устали твердили нам, что все, побывавшие в окружении и в плену, после войны немедленно оказывались в наших лагерях и тюрьмах, но при этом никто не называет имен. Наиболее обобщенно и безответственно сказал это о наших солдатах Бродский в сихотворении «Смерть Жукова». Покойный генерал Варенников подарил мне по случаю какой-то моей даты роскошный фотоальбом о Жукове. Странно было видеть там странные стихи Григория Поженяна, Галины Шерговой и вот такие хотя бы строки Бродского:

У истории русской страницы
Хватит для тех, кто в пехотном строю
Смело входил в чужие столицы,
Но возвращался в страхе в свою.

Почему в страхе? Да известно: боялись, мол, сразу попасть в лагерь. Но прежде надо заметить, что «в строю» и вовсе не только в пехотном это немцы входили в европейские столицы, например, в Париж, спешно объявленный французами открытым городом, как входили и мы в тот же самый Париж в 1815 году. А Красная Армия не входила, а то врывалась, то вгрызалась, а то вползала в Варшаву, Будапешт, Берлин и другие столицы с боем, — то танковым броском, то перебежкой, а то и на пузе. Нобелевский лауреат должен бы это понимать. Ведь не Андрей же Дементьев, лауреат Ленинского комсомола.

Последние две строки приведенного четверостишья и цитируются то и дело, как непрекаемый нобелевский аргумент. Это для шакалов демократии сахарная косточка. А со мной в Литературном институте сразу после войны училось много студентов, побывавших в плену: Николай Войткевич, Борис Бедный, Юрий Пиляр, даже был один преподаватель — Александр Власенко. Думаю, были и еще, я просто не интересовался, называю только знакомцев. И это в маленьком, как тогда говорили, идеологическом институте, где не больше сотни студентов. А сколько было тогда бывших пленных в Бауманском, Энергетическом, Автомеханическом, в которых я когда-то учился, наконец, в Медицинском? Там же сотни, тысячи студентов! К однокурснику Войткевичу мы все относились с каким-то особым вниманием, сочувствием: он пережил плен! И сразу избрали его старостой курса. Потом я узнал Степана Злобина, Ярослава Смелякова, Евгения Долматовского, Виктора Кочеткова. Всех их лично знал и Турков. О Смелякове он даже написал книгу. Были в плену и такие известные писатели, как Константин Воробьев, Виталий Семин ростовский да еще Леонид Семин ленинградский... В справочнике «Отчизны верные сыны. Писатели России — участники Великой Отечественной войны» (М.Воениздат. 2000) два десятка писателей, бывших в плену или ставших писателями после войны.

Плен не помешал им жить где хотели, включая столицу, поступить в столичные «престижные» вузы, издавать книги, по которым в иных случаях, как, например, по книге Б.Бедного «Девчата», ставили фильмы, некоторые занимали в Союзе писателей высокие посты, получали ордена, премии — Сталинские (С.Злобин) и Государственные (Я.Смеляков, Е.Долматовский). К тому же Злобин был председателем секции прозы столичного отделения СП, Смеляков — секции поэзии, Кочетков — секретарем парткома, Долматовский — профессор Литературного института, а Коля Войткевич все пять лет учебы в Литинституте

те был старостой нашего курса, хотя писателем он, увы, не стал. Такова судьба известных мне людей.

Но можно обратиться и к статистике. На 20 октября 1944 года, т.е. за полгода до окончания войны проверочные спецлагеря прошли 354 592 бывших военнопленных. Из них 249 592 человека, то есть подавляющее большинство, были возвращены в армию, 36 630 направлены на работу в промышленность и только 11 556 человек или 3,81% были арестованы (И.Пыхалов. Время Сталина. А., 2001. С.67). Вот лишь у этих четырех неполных процентов и были основания для страха. Выдавать настроение этой доли за настроение всех значить вратить с превышением лжи над правдой в 30 раз. Словом, приведенные строки Бродского это поэтически оформленная клевета.

С НИМИ НАДО УМЕТЬ РАЗГОВАРИВАТЬ

Но было у меня с упомянутым Н.Войткевичем и такое дело. После окончания Литинститута я вскоре пошел работать на радио, которое вело передачи на зарубежные страны (ГУРВ, это за нынешним кинотеатром «Россия», в Путинках). Был я там главным редактором Литературной редакции. Однажды встречаю Колю. Он женился, родился ребенок, а устроиться на работу не может. В чем дело? А вот, говорит, как только узнают про плен... Я не стал спрашивать, много ли он ходил по редакциям и по каким, но сказал: «Приходи ко мне, у меня есть свободная единица». Он пришел, мы направились в отдел кадров и заполнили там все необходимые бумаги.

Он пошагал домой к своему ревущему младенцу, а я — к себе в кабинет. Вдруг звонок из отдела кадров: «Зайдите». Иду. «Кого же вы задумали подбросить нам?» — говорит кадровая баба. — Он же в 42 году под Севастополем попал в плен и был там до конца войны. Он закопал свой партбилет». Я спросил с ледяным бешенством: «А как вы поступили бы в плenу во своим партбилетом? Вам неизвест-

но, что коммунистов расстреливали в первую очередь?» — «ГУРВ — это форпост борьбы с мировым империализмом, а вы, член партии...» — «Есть такой закон или служебная инструкция, что нельзя брать на работу тех, кто был в плену?» Кадровчиха замялась: «Нет такой инструкции...» — «Так кто же вам дал право устанавливать свои законы? Тем более, есть постановление правительства о недопустимости ущемления бывших пленных». — «Вы как член партии за него ручаетесь?» — «Ручаюсь. Я просидел с ним в одной аудитории пять лет, видел в разных ситуациях, знаю его как облупленного». — «Ну, если так...»

Я тут краткости ради свел в одно несколько разговоров, ибо отдел кадров поддался не сразу, вызывал меня неоднократно, однако суть была именно такова. Так что никакого государственно-юридического запрета не было, но перестраховщики и трусы как всегда были и есть, и только надо решиться встать им поперек дороги, надо уметь говорить с ними. Такого перестраховщика я впервые и встретил 20 декабря 1944 года на фронте в образе старшего лейтенанта Кулиманова, но не мог ему противостоять просто потому, что не знал вопрос и не мог знать. И не помню, приняли мы в комсомол Н. или нет, и забыл, кто был означен в дневнике этой буквой.

А Коля до самой пенсии проработал в этом ГУВРе в той же Литературной редакции, был восстановлен в партии и пользовался всеобщим уважением. Последний разговор с ним был уже спустя немало лет, как он не работал. Однажды позвонил мне. Я страшно обрадовался: «Коля! Сколько лет, сколько зим. Надо встретиться» — «Обязательно. У тебя карандаш под рукой? Запиши мой телефон» — «Пишу». — «151-33-90». — «Коля, что такое? Это же мой телефон. Нужели техника дошла до того, что один номер на двоих?» — «О господи! Я перепутал. Положи трубку. Я сейчас разберусь и позвоню». Через пять минут звонит. «Ну, наконец-то все выяснил, уточнил. Годы, знаешь.. Карандаш под рукой? Пиши: 151-33-90». Светлая ему память...

А что касается бывших в оккупации, то тут можно заткнуть рот брехунам демократии двумя примерами. Первый: человек, полтора года пробывший в оккупированном Гжатске, стал первым посланцем Советской страны и всего мира в космос. Второй: человек, пробывший в Ставрополье почти два года в оккупации, был беспрепятственно принят в столичный университет, еще студентом вступил в партию, потом стал первым секретарем обкома комсомола, обкома партии, секретарем ЦК, Генеральным секретарем, наконец, президентом страны. И ни на одной ступеньке восхождения его оккупационное прошлое, к сожалению, ему не помешало. Не помешало сыграть даже очень важную, одну из главных предательских ролей в развале страны. Этот страшный пример доказывает, что, с одной стороны, годы оккупации никому в жизни не мешали, а с другой — контроль, проверка, бдительность должны были быть гораздо прозорливей. Уж в этом-то случае — всенепременно.

Сейчас Горбачев уверяет, что всю жизнь, т.е. выходит, с оккупационного отрочества сперва один, а потом со своей Раечкой мечтал сокрушить коммунизм. Это вздорная тупоумная выдумка. Он был заурядным партийным функционером, прихоть судьбы вознесла его на самую вершину. Президент великой державы — о чем еще может мечтать карьерист? Он и не мечтал. Но, человек неумный и болезненно тщеславный, пустой, он заигрался в поддавки с Западом. И в конце концов предстал перед миром полным банкротом и был отброшен. Перед мерзавцем встал вопрос: остаться в истории банкротом-идиотом или натянуть маску хитроумного и ловкого предателя? Он в полном соответствии с духом бесстыдного времени и своей натуры предложил второе. Его разжиревшую рожу мы видели последний раз, когда Медведев объявил ему о награждении высшем орденом, какой только смогли они с Путиным измыслить.

Для полноты портрета Андрея Туркова приведу свою статью 2008 года.

«НЕ ЗНАЯ БРОДУ...»

А судьи кто?...

Ведь с юности до ныне дряхлых лет
К Советской власти их вражда непримирима.
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Бурбулиса и отделенья Крыма.

*А.Грибоедов. Горе от ума.
Черновик. Публикуется впервые*

Разумеется, в этом году, как и раньше, было много публикаций о Великой Отечественной войне, приуроченных к дате ее начала. Разумеется, как и раньше, при этом было явлено много нелепостей, невежества и прямой злобной клеветы. До сих пор этим в разной мере отличались покойный Д.Волкогонов, благополучно здравствующие А.Чубайс, В.Правдюк, Э.Радзинский, Н.Сванидзе, Л.Млечин, Л.Жуховичкий, С.Медведев, С.Сорокина и некоторые другие известные, даже популярные лица... Об этих толоконных лбах демократии, из коих никто не только не был ни на какой войне, но и в армии-то едва ли кто служил, я здесь говорить не буду. Ну, во-первых, сколько можно? Обрыдли. Во-вторых, объявились новые имена в этой теме — одни довольно известные, другие — только что с иголочки.

В недавних публикациях «Литературной газеты» в связи с годовщиной начала войны примечательны две статьи. Как и следовало ожидать, они противоположны по своей сути и направленности.

Первая статья Виктора Гастелло, сына Героя Советского Союза капитана Николая Гастелло, совершившего 26 июня 1941 года на своем горящем самолете наземный таран танковой колонны. Автор статьи взыывает: «Оставьте героев в покое!» И адресует это в первую очередь тележурналисту Сергею Медведеву, бывшему пресс-секретарю по-

койного пропойцы Ельцина, который ныне на Первом канале ведет цикл «Тайны века». Один из выпусков цикла был частично посвящен Герою-капитану. Сын возмущен грязной возней вокруг имени отца, затеянной еще в 1951 году Э.Поляновским в «Известиях», и продолженной теперь на ТВ прихвостнем пропойцы Сын героя пишет: «Сколько же гнусной лжи и клеветы вложено в передачу!» А что можно ожидать, Виктор Николаевич, от ельцинского выкормыша! Пишут же такие о разгроме Красной Армии под Москвой. Завтра напишут о взятии Берлина американцами. За что заплатят, то и напишут

В редакционном примечании к статье В.Н.Гастелло говорится: «Если бы Николай Гастелло попал в плен или его тело нашли бы немцы, то можно представить, с каким удовольствием фашистская пропаганда развенчала бы подвиг советского летчика-героя. Удивительно, что этим сейчас занимается российское телевидение. Зачем?» Действительно, зачем телевидение занимается тем, чем могла бы заниматься и занималась фашистская пропаганда?

Вторая статья принадлежит перу известного критика Андрея Туркова — «Дни смятения и отваги». Она о романе Артема Анфиногенова «Фронтовая трагедия. 1942 год» (М., 2008). А.Турков нахваливает роман. И можно задать тот же вопрос: зачем? Трудно согласиться, что он так хорош: «Надрывающий сердце реквием...» и т.п. Бессспорно, А.Анфиногенов писатель выдающийся, но не очень, да еще любит порой приврать в антисоветском духе. Знаю его с давних дней работы в «Литгазете». Например, не так давно он писал в «Литературной России», что был замечательный летчик Кутахов, он много сбил вражеских самолетов, а ему все не давали и не давали Золотую Звезду. Это почему же? А потому, говорит, что слишком, дескать, яркая и самобытная личность. А Сталин таких, разумеется, не любил. Выходит, что давали только бесцветным да безликим или, как уверяет Солженицын: «пай-мальчикам, отличникам боевой и политической подготовки». Такие, мол, были порядки в Красной Армии.

Я позвонил Артему:

— Что ты лопочешь? Ведь тебе скоро девяносто. Павел Степанович Кутахов, член партии с 1942 года, при всей своей яркости и самобытности получил две Золотые Звезды да еще стал Главным маршалом авиации. Главным!.. И одних только орденов Красного Знамени — пять. А еще...

— Да я...да мы...да вы...

Словом, трудно поверить в искренность похвал роману. Скорее, он дает основание повторить нечто подобное тому, что Сталин в 1933 году написал почти однофамильцу Артема драматургу А.Н.Афиногенову об одной его пьесе, которую прочитал в рукописи:

«Тов. Афиногенов!

Идея пьесы богатая, но оформление вышло небогатое. Почему-то все партийцы у Вас уродами вышли — физическими, нравственными, политическими уродами... Выпускать пьесу в таком виде нельзя.

Давайте поговорим, если хотите» (СС.М.,2006. Т.18. с.41).

Однако я не выношу оценку роману. Да и не о нем, собственно, пойдет у нас речь, а о статье А.Туркова, о его суждениях, касающихся войны.

В прошлом году я имел возможность поздравить Андрея со статьей в «Литгазете», где он напомнил некоторым суперпатриотам об истинной сути таких фигур, как Бенкendorf, Победоносцев и т.п. Вот и недавно в той же «ЛГ» была его язвительная статья о книге английского автора Дональда Рейфильда о Чехове. Критик возмущенно писал, что сочинителя интересует не рабочий кабинет писателя, а его спальня, рассмотренная сквозь замочную скважину. Что ж, и за эту статью спасибо. Но об Анфиногенове...

Критик плохо знает то, о чем пишет, как видно, давно не интересуется книгами о войне и событиях, с ней связанных. Поистине, сужденья черпает из забытых газет ельцинских времен... Так, Тухачевского до сих пор числится невинной жертвой репрессий. Но ведь еще в 1991 году в «Военно-историческом журнале» (№ 8 и 9), затем в первом выпуске «Военных архивов России» за 1993 год, в книге А.Залесско-

го «И.В.Сталин и его противники» (Минск, 2002), в книге Валентина Лескова «Сталин и заговор Тухачевского» (М.,2003), наконец, в приложениях к книге А.Мартиросяна «22 июня» (М., 2005) и в других изданиях были напечатаны убийственные архивные документы о Тухачевском. В частности, его признательное заявление, сделанное на четвертый день после ареста в Куйбышеве, на второй день после прибытия в Москву и после двух очных ставок. А также — собственноручно написанный после этого «план поражения» Красной Армии в будущей войне на 143 страницах. Никакой следователь сочинить это не мог. Тут — рука высокопоставленного военного специалиста, прекрасно осведомленного о положении дел в этой области. А вы с Афиногеновым, Турков, будете рассказывать нам о розовой книжечке Льва Никулина столетней давности да ссылаться на реабилитацию от 31 января 1957 года. Лучше почитайте хотя бы ВИЖ.

Для обстановочки, в которой совершилась эта реабилитация, для тогдашней атмосферы в обществе весьма характерен, например, такой эпизодик. На XXII съезде КПСС, состоявшемся в октябре 1961 года, председатель КГБ А.Н.Шелепин огласил вот это письмо командующего Киевским военным округом командарма первого ранга И.Э.Якира, привлеченного к суду вместе с Тухачевским:

«Родной близкий тов. Сталин. Я смею так к Вам обращаться, ибо я все сказал, все отдал, **и мне кажется, что я снова честный, преданный партии, государству, народу боец, каким я был многие годы**. Вся моя сознательная жизнь прошла в самоотверженной, честной работе на виду партии и ее руководителей — **потом провал в кошмар, в непоправимый ужас предательства...** Следствие закончено. Мне предъявлено обвинение в государственной измене, **я признал свою вину, я полностью раскаялся**. Я верю безгранично в правоту и целесообразность решения суда и правительства. Теперь я честен каждым своим словом. Я умру со словами любви к Вам, партии и стране, с безграничной верой в победу коммунизма».

Якир обратился с письмами также к Ворошилову и Ежову.

Обратили внимание на текст, выделенный жирным шрифтом? Эти слова признания Якиром своей вины Шелепин выкинул, т.е. совершил самое настоящее преступное жульничество. И это председатель КГБ! И это на трибуне съезда! Хрущевский сатрап старался внушить делегатам, что Якир просто хотел перед смертью выразить свою безграничную любовь к Сталину, партии и к родине. И вот, мол, такого верного бойца за коммунизм не пощадили...Это ли не чудовищно!

А что можно было бы ждать от такого военачальника, окажись он в плена у немцев? Держался бы он перед лицом опасности, перед угрозой смерти так, как держались генералы Карбышев и Лукин?

Кроме всего прочего, автор с самого начала старается убедить нас в «безумии владык». Каких владык? Турков со студенческих лет осторожен, осмотрителен, чутконос, очень бдителен в отношении разного рода писем: нет его имени ни среди 82 подписей писателей, выступивших в мае 1967 года с предложением дать Солженицыну слово на съезде, ни под письмом совершенной другого характера — среди 42 подписей тех, кто 5 октября 1991 года требовал от власти «Раздавить гадину!».

Но тут-то хоть никто и не назван, но — ясно: конечно, автор имеет в виду тех политических и военных «владык», которые, будучи «безумными», привели страну и ее армию к победе над умными немецкими генералами, над фашистской Германией. Объяснил бы хоть кратко, как же это произошло.

Читаем дальше: «Начальник гитлеровского генштаба (сухопутных войск, между прочим. — В.Б.) Гальдер писал о вроде бы триумфальном для фашистов начале войны». Почему «вроде бы»? В короткий срок они захватили всю Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, почти всю Украину, Киев, за пять с небольшим месяцев доперли, доползли до Москвы — это ли не триумф? И им рукоплескали все антисоветчики мира, включая русских, подобных Ивану Ильину, любимому автору Путина. Другое дело, что немцы рассчи-

тывали на гораздо большее: по их планам, через два-три месяца Красная Армия должна быть разбита и Советский Союз рухнуть. В октябре Гитлер уверенно заявил: враг разбит и никогда уже не поднимется. Но — увы им...

Турков возмущаться теми, кто «сверху» будто бы поторапливает забыть «не только о погибших, но и обо всей пережитой страной и народом трагедии». Кто поторапливает? Назови. Не кто иной, а нынешний режим поторапливает забыть Верховного главнокомандующего, великих маршалов и генералов, гениальных советских ученых и конструкторов оружия, доходя в этом до такой низости, что в дни разного рода торжеств и парадов на Красной площади закрывает кремлевский мемориал фанерой. Но Турков сказать об этом никогда не посмеет. Как можно-с... политкорректность... консенсус... благорастворение воздухов... Да он и сам закрывал бы.

А вот таких безымянных обличений у него сколько угодно: «Само слово «трагедия» применительно к пережитому оказалось как бы под негласным запретом». Как бы... Это напоминает Солженицына, который уверял, что после появления его как бы бессмертного «Архипелага» само это слово тоже оказалось как бы под запретом. Тут вспоминается и Надежда Мандельштам, писавшая, что в Советское время слова «честь», «совесть», «совершенно выпали у нас из обихода. Они не употреблялись ни в газетах, ни в книгах, ни в школе». И это она о том времени, когда на всех перекрестках красовалось: «Партия это ум, честь и совесть нашей эпохи».

И, представьте себе, бесстрашный Анфиногенов как бы первый произнес запретное слово «катастрофа». Но вот что писал сам Сталин 26 июня 1942 года в директивном письме Военному совету Юго-Западного фронта по поводу майского провала там: «Это катастрофа...» И далее несколько раз употребил именно это слово (ВИЖ № 2'90, с.46). А литератор должен бы знать, что есть и другие слова, не менее выразительные, чем «катастрофа». И они тоже были произнесены самим Сталиным уже после войны : «У нашего

правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941—1942 годах, когда наша армия отступала...» Но критику этого мало. Ему, как Сванидзе и Млечину, Правдюку и Жуховицкому, хочется подыскивать новые и новые клеймящие слова для наших катастроф и отчаянных положений.

И Турков нашел еще одно хлесткое словцо: «Незадолго до войны Сталин подарил маршалу Кулику книгу Золя «Разгром» — о сокрушительном поражении французской армии в 1870 году под Седаном. В сорок первом свой «Седан» получил не только Кулик, быстро разжалованный, но и сам вождь». Оцените, ведь это сказано не немцем, а русским человеком: Сталин получил свой(!) «Седан»... Дескать, так ему и надо, заслужил, а нас это не касается. Такой взгляд очень характерен для тех, кто изображает войну как личную схватку двух тиранов. Но нет, уж если «Седан», то это было горем всей страны, бедой всей армии, а для немцев, конечно, именно триумфом безо всяких «вроде бы».

Но чем для Франции был не роман Золя, а настоящий Седан? В плен попала вся армия маршала Мак-Магона (120 тыс. штыков) вместе с Верховным главнокомандующим — императором Наполеоном Третьим, и через два дня Вторая империя рухнула, а император вскоре низложен. Что же тут общего с нашими поражениями в сорок первом? Да, они были тяжелы, трагичны, однако Советская власть, как рассчитывали немцы, не рухнула и даже ни один маршал, к удивлению Туркова, не попал в плен.

Сталинский «Седан» сорок первого года, говорит автор, это «плод проделанной ранее кровавой «чистки» армии от талантливейших командиров». Тут имеются в виду те же Тухачевский, Якир и т.д. Господи, уж сколько об этом говорено! И никто из этих ораторов не задумается: почему же в Польше, допустим, не было никаких чисток, а немцы разнесли ее армию в две недели? Во Франции — тоже никаких и все талантливейшие командиры, герои Первой мировой оставались в строю, а немцам потребовалось четырепять недель для полного ее разгрома вместе с англичанами, бельгийцами, голландцами.

Развивая тему, Турков пишет о сорок первом году: «кадровый пустырь» пришлось срочно заполнять недавними зэками — Рокоссовским, Мерецковым, Лизюковым, Горбатовым». На самом деле, эти генералы были освобождены не в сорок первом, а еще за год с лишним до войны — в марте 1940 года — восстановлены во всех гражданских правах, званиях, наградах и сразу получили командные должности. А Мерецков, наоборот, был как раз арестован 24 июля, т.е. в начале второго месяца войны. Как же он мог «заполнять кадровый пустырь»? Он заполнил совсем другое. Впрочем, через месяц, в сентябре, тоже был освобожден, во всем восстановлен и как представитель Ставки направлен в войска.

Но вот уже весна 1942 года. Турков живописует: «Верховный жаждал скоропалительного реванша, опьяненный зимними победами под Москвой и Ростовом». Во-первых, вначале дело было под Ростовом, и не зимой, а осенью. Во-вторых, надо ничего не знать о Сталине, чтобы говорить о его опьянении в прямом или переносном смысле. У него не было времени для пьянок, как, впрочем, и для паники. Куда справедливее другие известные слова о нем: «В самые трагические моменты, как и в дни торжества, Сталин был однаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям». Именно об этом свидетельствует его поведение и в октябре-ноябре 1941 года, когда немцы были в двадцати семи верстах от Москвы, и в мае-июне 1945-го, когда Берлин лежал у ног Красной Армии.

Здесь мы опять видим изображение войны как личную схватку двух персон: Сталин жаждал реванша!.. Вот проиграл он Адольфу первую партию (матч, сет, тайм) и возжал реванша. Трудно вам с Анфиногеновым понять, но все-таки постарайтесь: не реванша жаждал Сталин, а скончавшего разгрома оккупантов и освобождения родины, и вместе с ним этого жаждал весь советский народ. И в сей благородной жажде, да, бывали поспешные шаги, торопливые жесты, опрометчивые решения. А вот Гитлер, будучи по натуре игроком, действительно жаждал реванша с Францией. Только этим можно объяснить устроенную им

унизительную процедуру подписания капитуляции французов именно в Кампьенском лесу, именно в том вагоне, к которому в 1918 году была подписана капитуляция Германии. Когда маршал Жуков сообщил по телефону из Берлина о самоубийстве Гитлера, Сталин очень точно сказал: «Доигрался, подлец!» Именно доигрался — миллионами жизней. И, к слову сказать, в церемонии подписания немцами капитуляции 8 мая в Карлсхорсте не было ничего унизительного, от начала до конца — все сухо официально.

По поводу катастрофы в мае 1942 года при наступлении на Харьков критик пишет: «Отмахнувшись от предупреждений «пессимиста» Шапошникова, вождь явно потакает авантюре Тимошенко, а тот уже и вовсе краю не знает в бешеном взнуздывание (? взнуздать — надеть узду для сдерживания лошади. — В.Б.) наступающих...». Странно, а почему не упомянут член Военного совета Хрущев? Он не имел отношения к «бешеному взнуздыванию» и «взвинчиванию до бесконечности»? Оказывается, самое прямое, но автору уж очень не хочется упоминать этого участника «авантюры»: у него же такая заслуга перед прогрессом и демократией — он учинил «разоблачение культа личности» владыки!

Тимошенко, Хрущев и Баграмян предлагали Ставке на всем фронте своего Юго-Западного стратегического направления в 1073 километра весной-летом предпринять решительное наступление с прорывом на глубину до 600 километров. Но для этого требовалось еще свыше тридцати стрелковых дивизий и изрядное количество боевой техники. По воспоминаниям Баграмяна, Сталин сказал то же, что до него — Шапошников: «У нас не так уж густо с резервами. Мы не в состоянии удовлетворить вашу просьбу. Поэтому ваше предложение не может быть принято» (Великого народа сыновья. М., 1984. С. 187). И предложил на следующий день представить план по освобождению только Харькова силами только направления. Это потакание авантюре?

Был составлен новый план, но он тоже требовал выделения Ставкой крупных резервов, и тоже был отвергнут. Это потакание? «После напряженного труда, — пишет Баграмян, — родился третий вариант плана Харьковской операции. 30 марта в нашем присутствии он был рассмотрен И.В.Сталиным с участием Б.М.Шапошникова (того самого, «пессимиста». — В.Б.) и А.М.Василевского и получил одобрение» (там же, с.188). Теперь план предусматривал прорыв на глубину лишь 40—45 километров. От 600 до 45 — вот такое потакание авантюре.

Обожая безымянный жанр, Турков кивает на какие-то таинственные «верха», на неизвестные труды неизвестных историков, на неведомые художественные произведения неведомых авторов, которые-де дружно «микшируют память о трагедии». И это в то время, когда на его глазах вот уже лет двадцать всем известные брехуны, некоторые из которых названы по именам в начале статьи, с помощью мощнейших современных средств оплевывают нашу Победу. Ты, фронтовик, хоть одному из них дал отпор?»

«ЖЕЛЕЗКИ СТРОК СЛУЧАЙНО ОБНАРУЖИВАЯ...»

В студенческую пору я регулярно дневник не вел, лишь иногда делал какие-то отдельные записи. То ли по недостатку времени из-за весьма динамичной жизни, то ли из сознания, что война была самым важным в моей жизни, и я худо-бедно зафиксировал ее, а теперь... Что теперь?

В моем архиве я порой натыкаюсь на такие бумаги, значение и смысл коих иногда понять можно, а порой — лишь гадаю. Вот, допустим, записка на небольшой полоске бумаги:

«Доброе утро!
На всякий случай раб. тел. И-4-00-24 (3-50)».

И ничего больше — ни подписи хотя бы одной буквой, ни даты. Но я помню все... Строки из ее писем приведу ниже.

А вот письмо, от руки написанное мелким почерком без адреса и даты:

«Уважаемый Сергей Павлович!

Обращаюсь к Вам с большой просьбой от которой многое зависит в моей жизни и которую я изложил бы Вам в течении пяти минут, если бы Вы смогли уделить мне это время.

Поверьте, я не стал бы Вас беспокоить если бы не дело, от которого многое зависит в моей жизни именно сейчас в связи с ЦК ВЛКСМ.

Илья Глазунов».

Тут ясно только, что это писал художник Глазунов первому секретарю ЦК комсомола С.П.Павлову. Но когда? По какому поводу? Можно предположить, что по поводу предоставления квартиры или мастерской. Но почему письмо не было отправлено и как оказалось у меня? Непонятно.

При знакомстве с Ильей Глазуновым в пору его первоначального бума я отнесся с нему и его работам с симпатией, но никогда не был в близких отношениях, хотя встречался с ним в редакции «Молодой гвардии» и раза два-три по его приглашению наведывался к нему домой и в мастерскую. Первый раз — когда он жил еще где-то далеко в новом районе на окраине Москвы. Помню, тогда приехал к нему и Евтушенко с женой Галей. Мы были знакомы, и он даже хвалили мои статьи о двух киевлянах — Николае Ушакове и Владимире Карпеко в газете «Литература и жизнь». В памяти не остались разговоры при этой встрече, но хорошо помню, что Евтушенко потом довез меня на своем «Москвиче» до Смоленской пощади, где я тогда жил, а по дороге интересовался моими гонорарами: я тогда много печатался. Но какие там гонорарами, за которыми порой мы стояли в одной очереди.

Однажды случайно встретив меня у Никитских ворот, Илья позвал к себе. Он жил рядом — в Калашном переулке в старом доме, на котором со временем Маяковского красовалась

полустертая реклама: «Нигде кроме, как в МОСЕЛЬПРОМЕ». Квартира и мастерская были обширны и прекрасны. Кажется, это устроил ему всемогущий Сергей Михалков. У Глазунова было много привезенных из-за границы книг. С собой он их не давал, говорил: «Приходи и читай здесь». Я не приходил. А время и вовсе развело нас. И в конце концов родилась статья, которую в 2009 году я напечатал в «Правде»

БОРЬБА ЗА СВОЮ ГЕНИАЛЬНОСТЬ

Из тех достославных соотечественников, что в воскресенье 22 ноября 2008 года в телепередаче «Имя России» сокрушали, топтали, четвертовали, колесовали, пиляли, сверлили и оплевывали имя и образ Владимира Ильича Ленина, меня больше всего восхитил, даже умилил известный художник-миллионер Глазунов, по имени Илья, гений 1930 года рождения. Вы, возможно, переспросите: гений? Судите сами.

Только в годы контрреволюции он написал портреты великого демократа Анатолия Собчака и его сирой вдовицы Людмилы Нарусовой — любимицы тувинского народа, лучшего мэра всего земшара Юрия Лужкова и его лучшей супруги Батуриной, миллиардерши (что может быть лучше?), знаменитого поэта современности, как пишет о нем Станислав Куняев, Ильи Резника и папы римского, градо-правительницы Валентины Матвиенко, благоуханной розы, выращенной в оранжерее Ленинским комсомолом пятьдесят лет тому назад, и митрополита, прекрасно играющего роль замполита... Ну как же не гений! Что вам еще надо?

Мало того. Тот же С.Куняев, главный редактор «Нашего современника» в замечательной книге «Мои глобальные победы» (Алгоритм, 2007) рассказывает, что в 1996 году Глазунов предложил журналу свои весьма пространные воспоминания под названием «Россия распятая». Ну, а как назвать иначе? «Россия на Голгофе» уже было сто раз. А «распятая» только пятьдесят, это посвежее.

Как водится, к первой публикации была сделана как бы редакционная «врезка», содержащая краткие данные об авторе. Он сам ее и писал, сам и назвал себя там гением. Куняев поправил: «знаменитый». Когда пришла верстка номера, художник явился в редакцию, стал читать и — сразу:

- «— Так не пойдет!
- Что не пойдет? — удивился я.
- «Знаменитый» не пойдет.
- Хорошо. Давайте напишем «выдающийся».
- Не пойдет!!
- Ну «великий»?
- Нет, — отрезал Глазунов, — только «гениальный»!!!

Вы не понимаете, что, печатая мою книгу в десяти номерах, вы в два-три раза поднимете тираж своего умирающего журнала».

С трудом удалось уговорить на «великий». А тираж после его 51-го «Распятия» не поднялся в 2-3 раза, наоборот — упал с 21 064 экземпляров до 16 289, но деликатнейший Куняев милосердно утаил это от мемуариста.

Но вот в 2006 году в том же «Алгоритме» вышла книга Валентина Новикова о Глазунове, и названа не как-нибудь, а «Русский гений». В предисловии, которое, судя по журнальному прецеденту, мог написать сам гений, в первых же строках объявляется: «Илья Глазунов снискал славу самого «скандального» и самого выдающегося художника XX века. Безоговорочное официальное подтверждение титула «самый выдающийся художник XX века» он получил по результатам опроса соотечественников, а ЮНЕСКО удостоило его Золотой медали Пикассо за особо выдающийся вклад в мировую культуру».

— Интересно, а кто, когда, где проводил опрос? Меня, например, никто не спрашивал, и не слышал я об опросе. Но — не спорю. Раз медаль выдали, печать поставили, значит, гений. А вот имелись ли медальки ЮНЕСКО у Репина, Брубеля, Серова, Левитана, Васнецова, Сурикова, Коровина, Малявин, Корина и других хотя бы только русских художников XX века, которых наш гений заткнул за пояс как

самый-самый? К тому же, всезнающий Куняев утверждает, что Глазунов терпеть не может Пикассо, художника совершенно иного склада, и считает его просто авантюристом. И это подтверждается тем, что на вопрос о любимых художниках Илья назвал в книге о нем девять имен, и Пикассо среди них нет. А В.Новиков с восторгом говоря о Золотой медали ЮНЕСКО, умолчал, чье имя она носит. Но как же так? Если бы мне предложили медаль имени, допустим, Леонида Млечина, разве я ее принял бы? Да ни в жисть! А тут гений, а хватает...

А скандальность Глазунова никак не доказывается. Видимо, молча имеется в виду тот странный факт, что его лет тридцать не принимали в Академию, и принял, как гений гения, только Зураб Церетели. Конечно, скандал!

СИФИЛИС НЕ ЩАДИТ И ГЕНИЕВ

А почему именно Илья Сергеевич больше всех гробокопателей программы «Имя Россия» обворошил меня? Да потому что никто другой на показал с такой ясностью, живописной красочностью, зримой очевидностью и физиономией и нутро антисоветчиков путинской эпохи. Он это сделал поистине гениально!

Тут надо вспомнить еще один эпизод из книги С.Куняева «Мои моральные победы». В 1959 году Станислав работал в комсомольском журнале «Смена». Приближалось 90-летие Ленина. И вот к этой дате молодой гений привнес в журнал портрет Ленина. По словам Куняева, это был не плакатный, не банальный, а «человеческий образ вождя русской революции». Илюша уже тогда знал, как надо отмечать знаменательные советские даты, не пропускал их.

А после контрреволюции друг Куняев был просто ошарашен, травмирован, раздавлен, увидев, что в своих картинах Глазунова рисует гнусную карикатуру на Ленина, а в своих писаниях называет его не иначе, как «тиран», «палач», «русофоб» и даже «сифилитик».

Примерно тот же набор эпитетов услышали мы теперь и в телепередаче. Разве что не было «сифилитика». Возможно, к исходу восьмого десятка гений все-таки понял, что сифилис ведь это не что иное, как болезнь, несчастье, беда, которая может постичь любого, в том числе — даже гения с медалью. Тем более, что ведь существует бытовой сифилис, который передается внеполовым путем, и наследственный, вдруг из глубины времен настигающий пра-правнука.

В конце XIX и начале XX века сифилис был весьма распространен в России, которую потеряли С.Говорухин и Н.Михалков. Так, по данным врача-венеролога Л.И.Картамышева, в 1861—1869 годы, т.е. в пору близкую к рождению Ленина, ежегодно сифилисом заболевало более 60 тысяч человек. Заболевало! То есть прибавлялось к уже болеющим. А в 1913 году, когда в Москве родился отец Никиты Михалкова, на каждые 10 тысяч москвичей приходилось 206 больных сифилисом. К счастью, в Советское время эти цифры мы потеряли вместе с михалковско-говорухинской Россией.

Так что, не было бы ничего удивительного, тем более — позорного, порочащего, стыдного, если бы российского гражданина Ульянова постигла эта беда: болезнь есть болезнь, она не считается ни с положением человека, ни с его талантами, должностями, ни с чем иным. Говорят, было четыре таких больных даже среди римских пап. Поэтому издеваться над несчастьем человека может только болван или подонок.

Тем более что у Ленина вовсе не было сифилиса. Мало того, знаменитый невропатолог Россолимо Григорий Иванович, один из врачей, лечивших Ленина, 30 мая 1922 года сказал Анне Ильиничне, сестре Ленина: «Положение крайне серьезно. Надежда на выздоровление явилась бы лишь в том случае, если в основе мозгового процесса оказались бы сифилитические изменения сосудов» (Ю.М.Лопухин. Болезнь и смерть В.И. Ленина. М., 1997. С.19). Лишь бы в том случае... Иначе говоря, слава Богу, если бы сифилис! Можно бы вылечить, но — увы...

Протокол вскрытия, подписанный медицинскими светилами того времени, констатировал: «Основой болезни умершего является распространенный атеросклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания» (там же, с. 47).

Это совпадает с диагнозом поэта:

Десять жизней людских

Отработал Владимир Ильич...

«Непосредственной причиной смерти явилось: 1) усиление нарушения кровообращения в головном мозгу, 2) кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в области четверохолмия» (Там же). Автор книги академик Ю.М.Лопухин резюмирует: «У Ленина было тяжелое поражение мозговых сосудов, особенно — системы левой сонной артерии» (Там же, с.55).

Илья Глазунов старше Ленина уже на 25 лет, но я, слава Богу, уверился, видя его ревность в той телепередаче, что такая тяжелая болезнь ему не грозит: ничего похожего на преждевременное изнашивание сосудов или каких-то других членов! Наоборот: все на своих местах, все функционирует, все крутится. Но возраст, конечно, иногда однако же дает о себе знать.

В РУССКОМ НАРОДЕ ЕСТЬ И ТАКИЕ

Например... Глазунов взывал к участникам телепередаче и к нам, гражданам России:

— Дорогие друзья! Как представитель русского народа, я утверждаю: Ленин повторял за Марксом, что история есть борьба классов. Какая чушь! Они ничего не видели дальше своего носа. История есть борьба рас и религий. Это я вам говорю как профессиональный историк.

Я заметил, как на экране по лицу генерала Варенникова метнулась тень недоумения. Действительно, он четыре года воевал против напавших на нас немцев. А разве они, в отличие от нас, черной или желтой расы? За четыре года он едва ли видел хоть одного чернокожего фрица. И разве они буддисты или иудеи, а не христиане, как мы, русские? Или они напали на нас как верующие (у них же на пузе красовались

пряжки со словами «Gott mit uns!») на неверующих? Но тогда почему Господь оказался на нашей стороне? Непонятно...

— Милые друзья, — продолжал гений своими гениальными устами, — как представитель русского народа, я заявляю: ужасные жертвы Буденновска, Норд-Оста, Беслана — все это порождение марксизма-ленинизма!..

Тут я вспомнил слова Куняева из его книги «Мои вербальные победы»: «Феноменальное невежество знаменитого художника играет с ним злую шутку. Каждую бульварную антисоветскую книгу, каждую кухонную сплетню о Ленине и Сталине он встречал как внезапно открывшуюся ему великую истину с экзальтированным восторгом». Я поверил: это правда. Но не вся, дело не только в невежестве.

— Родные друзья! Как представитель русского народа, довожу до вашего сведения: большевики под руководством Ленина и Сталина провели террор против народа России, настоящий геноцид. Правда, за время их кровавого владычества население страны выросло от 150 миллионов почти до 300, но могло вырасти больше. Солженицын ошибался, говоря о 106 миллионах, на самом деле большевики уничтожили 200 миллионов. У нас в Жуковке, где я отгрохал дачу, об этом знают все.

— Любимые друзья, как представитель русского народа...

Но тут я должен прервать речь гения и опять заглянуть в его прошлое.

ОТ РАДЗИШЕВСКОГО К РАДЗИХОВСКОМУ

Слушайте:

— Любимые друзья! Я, как представитель русского народа, обожаю нашего ведущего Сашу Любимова. Как представитель представителя. Его улыбка мне дороже улыбки Джоконды... Саша, дайте мне еще три минуты. (Тот охотно дает). Спасибо... Сердечные друзья! Как представитель, я цитирую Ленина: «На Россию, господа хорошие, мне наплевать. Пусть погибнет 9/10 населения, но остальные доживут до коммунизма».

Это откуда же взял? Молчит представитель. Но я знаю, откуда. Из книги Владимира Солоухина «При свете дня». Они были какое-то время друзьями, но позже Владимир Алексеевич в книге «Последняя ступень» почему-то вывел под именем Кирюши (Илюши?) персонаж, очень похожий на Илью Сергеевича, в виде агента КГБ и провокатора. Разразился скандал, разрыв, угроза судом, впрочем, так и оставшаяся угрозой. Совершенно как у другого участника передачи — Черномырдина, грозившего подать в суд на президента Буша, назвавшего его на весь мир взяточником и кровососом, но ни на что, кроме сотрясения воздуха, не посмевшего.

Так вот, в книжечке, изданной в 1992 году неизвестным тиражом в неизвестном издательстве на деньги известной ему американской фирмы Belka Trading Corporaiton, великий русский патриот Солоухин метался между цитатами из «доброповестного и устремленного публициста» Радзихевского и цитатами столь же добродетельного мыслителя Радзиховского, бегал от суждений «замечательной публицистки» Доры Штурман (Израиль) к сентенциям не менее замечательной Надежде Мандельштам, увы, почившей в Бозе, хватал у них ароматные цитатки, афоризмы, вопли и совал нам, дорогим соотечественникам, под нос. И однажды, видимо, именно такого происхождения цитатку в своем пересказе поместил на странице 145 : «Владимир Ильич бросил крылатую фразу: пусть 90% русского народа погибнет, лишь бы 10% дожили до мировой революции».

Представьте себе, нечто похожее действительно было, но, как еще при жизни Солоухина установил Вадим Кожинов, во-первых, автором изречения был не Ленин, а Зиновьев. Согласитесь, Илья Сергеевич, есть некоторая разница. В отличие от вас сообщаем, когда и где это было напечатано: 17 сентября 1918 года в газете «Северная коммуна», выходившей в Петрограде, где Зиновьев и возглавлял власть. Во вторых, цифры там стояли в обратном порядке: не 90 и 10, а 10 и 90. И на самом деле фраза выглядела так: «Мы должны увлечь за собой девяносто миллионов из ста, на-

селяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить — их надо уничтожать». Согласитесь, Илья Сергеевич, есть некоторая разница: все-таки и Зиновьев был в девять раз менее свирепый живодер, чем изображаете вы.

Что ж получается? Не к лицу это гению и представителю русского народа.

Впрочем, что ж копаться в делах столетней давности. Вы, представитель, лучше бы вспомнили похожие слова, сказанные уже в наши дни: «Да, в ходе реформ могут погибнуть миллионов тридцать. Но они сами виноваты: не вписались в наши реформы. А чего переживать! Русские бабы еще рожают». Не слышали? Не знаете, кто сказал? Ну, разевайте вслед за мной свой миниатюрный ротик: Чу... Как видите, в абсолютных цифрах этот Чу превзошел Зиновьева в три раза. И первые десять миллионов — уже, т.е. на 33,3% программа Чу-байса выполнена.

ИХ УТОПИЛИ В НЕВЕ, А ОНИ ВЫНЫРНУЛИ В СЕНЕ

А что касается книги Солоухина, то там много интересного. Например, за хорошие американски деньги сказано еще, что в ночь с 25 на 26 октября 1917 года всех 15 членов Временного правительства большевики схватили в Зимнем дворце и — «не мешкая ни часа, ни дня, посадили их в баржу, и баржу потопили в Неве» (с.161). Сказано с такой уверенностью, будто сам был на этой барже, но Господ за великий патриотизм спас его... А на самом деле схватить-то схватили всех 15, даже в Петропавловку упрятали, но тут же и отпустили, даже честное слово не потребовали. И семь из них остались на родине, иные занимали немалые посты и должности в Советское время, министр путей сообщения А.В.Ливеровский во время блокады Ленинграда участвовал в сооружении «Дороги жизни», умер в 1951 году, дожив до 84 лет. А восемь человек, утопленных в Неве, вынырнули в Сене. Министр исповеданий А.В.Карташов стал выдающимся историком православия, умер в Париже 85-ти лет. А министр-председатель Экономического

совета С.Н.Третьяков и вовсе стал сотрудником нашей разведки. Но в 1943 году в оккупированной Франции немцы его раскрыли и расстреляли. Так что, иным членам Временного правительства памятники следовало бы...

В другом месте Солоухин писал: «В первом составе Совета народных комиссаров соотношение евреев и неевреев было 20:2» (с.212). Он никогда не видел списка народных комиссаров, а список давно известен: из 15 человек там только один еврей — Троцкий. Значит, соотношение не 20:2, а 1:14. Таков масштаб вранья или невежества.

САМОУБИЙСТВО ГЕНИЯ

Все это раскопал человек, о котором вы, гений с медалью, писали в «Литературной газете»: «Мне безразлично и абсолютно неинтересно мнение о моих работах покойного литературного критика В.Кожинова, широко известное в узком кругу...» Ну, это дело личное. Думаю, что Ленину вы тоже были бы абсолютно безразличны со всеми вашими художественными потрохами. Он только сказал бы вам: «Учиться, учиться и учиться...»

Между прочим, ваше помянутое письмо в «Литературку» несколько озадачивает тем, что подписано так: «Илья Глазунов, народный художник СССР, профессор, действительный член Российской Академии художеств, академик, лауреат Государственной премии РФ, почетный член Королевских Академий художеств Мадрида и Барселоны, кавалер Золотой медали ЮНЕСКО им. Пикассо, лауреат премии им. Дж.Неру». Дюжина званий и наград!

Ну разве гении так подписываются? Разве можно представить, чтобы Пушкин подписался: «академик и камерюнкер». А Лев Толстой — «кавалер ордена Анны Четвертой степени, медали «За оборону Севастополя», лауреат премии им. Островского». Им достаточно одного имени: Александр Пушкин, Лев Толстой, Михаил Шолохов... Право, Илья Сергеевич, таким набором, похожим на юбилейный торт, вы просто перечеркнули себя как гения.

ЕЩЕ И ХРАМ СПАС...

И кто ж после всего этого поверит еще и тому, что Глазунов рассказал в той же программе «Имя Россия» 30 ноября при обсуждении кандидатуры Александра Второго. Уверял, что во времена, когда первым секретарем горкома в Ленинграде был Григорий Васильевич Романов, т.е. в 70—80-е годы, было решено снести известный «храм на крови» — месте убийства царя. Но гений явился к Романову и после короткого разговора тот кому-то немедленно позвонил и приказал: «Отменить!» На каких дураков это рассчитано? А на тех самых, что сидели с ним рядом: они увлеченно слушали, потом аплодировали и восклицали : «Какой молодец! Спаситель храма! Герой!»

Хоть бы задумались, кто решил снести храм? Какая-то наверняка же высокая инстанция? А Романов был такой дремучий человек, что не понимал суть дела, но Глазунов моментально открыл ему глаза? И кому он позвонил, кому приказал? Все это очередная несусветная чушь. В те годы не могло быть ничего подобного, никто не решился бы сносить храм. И вот теперь он вставит в новое издание своих воспоминаний, если оно будет, еще и этот героический эпизод своей великой жизни. А ведь и без того, как пишет проницательный Куняев, «вся восьмисотстраничная книга воспоминаний Глазунова наполнена слухами, сплетнями, анекдотами, фантастическими сюжетами». Одним сюжетом такого пошиба теперь может быть больше...»

ИРБИТ. В.А.ИВАНОВ

В каникулы я всегда куда-нибудь отправлялся. Летом 1947-го и зимой 1948-го — в Ирбит. Это довольно непростая поездка с пересадкой в Свердловске, а потом еще километров 200. Здесь жила моя сестра Ада (Клавдия). Ее муж Василий Александрович Иванов был директором сначала Автоприцепного, а потом мотоциклетного завода. Это человек

во многих отношениях замечательный. В молодости, еще до войны он работал инженером на Московском заводе малолитражных автомобилей «КИМ». Оттуда его послали года на два в Америку на стажировку. Когда я вернулся с фронта, он работал на том же «КИМ». Помню, я впервые увидел его и познакомился вскоре после возвращения с фронта: он привез нам откуда-то в Измайлово машину дров. На «КИМе» встретился он с моей сестрой, которая после окончания химфака педагогического института работала там же в химической лаборатории. Оба были молодыми, но уже семейными, да еще у нее — сынишка, у него — дочка. Но что поделаешь — любовь! И вот чтобы обрубить все возможные в Москве хвосты и начать жизнь с чистого листа, они и удрали в медвежий угол Урала. Сына Сергея сестра взяла с собой, а маленькая Ира, дочь Василия Александровича, осталась с матерью в Москве. В Ирбите к 30-летию Октябрьской революции у них родился сын Миша.

Этот город, стоящий на реках Ирбитка и Ница, известен с начала XVII века, был тогда небольшим районным центром и хранил еще некоторые патриархальные черты того времени, когда здесь ежегодно аж до 1930 года проходила знаменитая ярмарка, вторая после Нижегородской. Гордостью города был театр, основанный в 1631 году. От старых времен в центре остался пассаж и сквер, где я назначал свидания Ц.С.

Четыре человека моей родни и домработница Лена, по своей колоритности достойная отдельного рассказа, жили в большом одноэтажном деревянном доме с садом, двором и конюшней, где стоял конь-красавец Воин и хояйничал конюх дядя Федя. В конце сороковых — собственный выезд! Вот так у нас было и в Минино, только там была ворона красавица Лeda, и то было на рубеже 30-х. Ну, правда, в Ирбите выезд со временем заменила «Победа».

Через недолгое время Василия Александровича назначили там директором Мотоциклетного завода, выпускавшего знаменитые машины. А потом перевели в Ростов-на-

Дону, где сперва он возглавил завод сельскохозяйственного машиностроения «Красный Аксай», а потом — знаменитый гигант «Россельмаш». Когда Хрущев придумал совнархозы, Иванов возглавил Северо-Кавказский совнархоз. Так и шел он со ступеньки на ступеньку все выше, ничего не перепрыгивая. Был и депутатом Верховных Советов и РСФСР, и СССР, и орденоносцем, и лауреатом Ленинской премии... Он умер 27 августа 1989 года на восьмидесятом году жизни...

Уже после его смерти, в не так давние времена сестра вдруг стала нахваливать Путина: вот, говорит, никто его не проталкивает, все сам, все сам... Я рассмеялся: «Ада, и это говоришь ты, на глазах которой прошла вся жизнь твоего мужа! Вот его действительно никто не подталкивал, не протаскивал, а просто за умелую работу поручали все более высокий пост и более ответственную работу. А этого выбрали по его готовности служить начальству и все время ведут на поводке».

ИВАН АКУЛОВ

Однажды в ирбитской газете я прочитал, что в редакции состоится обсуждение рукописи начинающего писателя Ивана Акулова, которую он будет читать сам. Как я потом узнал, на фронте, на Брянском и на 2-м Белорусском, мы были с ним где-то рядом, но он — капитан, начштаба батальона, а я сержант, радист. Сейчас он учился в Свердловском педагогическом институте, видимо, как и я, на втором курсе. Что он читал, и каково это было, не помню. Но я принял участие в обсуждении и, кажется, говорил довольно глупо, как эдакая столичная штучка аж из самого Литературного института.

А между тем, скромный и тихий Иван Иванович из Уральской деревни Урусово лет через десять-пятнадцать издал в Свердловске несколько книг, переехал в Москву, здесь вышли его интересные, а то и замечательные книги «В вечном долгу»(1966), «Крещение»(1971), «Земная твердь»(1974),

«Касьян Остудный» (1978), «Нечаянное счастье» (1982), а в 1982—1984 годы вышел его трехтомник избранного. Членом же Союза писателей он стал на два года раньше меня. За «Касьяна» же он получил Государственную премию. Все это предвидеть в 1947 году в редакции ирбитской газеты мне, столичной штучке, было, конечно, невозможно.

Сохранилась копия моего письма Акулову от 26 декабря 1980 года. В журнале «Москва» №7 за 1979 год была напечатана моя статья «Кушайте, друзья мои» о романе Б.Окуджавы «Путешествие дилетантов». Она наделала много шума, и Акулов попросил ее у меня. Я писал ему:

«Дорогой Иван Иванович!
Как обещал, посылаю статью.
В тот день, когда было партсобрание и мы сидели рядом,
я утром еще не смотрел газеты и не знал, что рядом — лауреат! Поэтому и не поздравил. Теперь от души поздравляю.
С наступающим Новым годом!

Обнимаю. В.Б.».

Он умер 25 декабря 1988 года...

На том давнем обсуждении повести Акулова в городской газете я познакомился с чудаковатым милым парнем Колей Подкорытовым, помоложе меня. Он писал трагические стихи в таком роде

Я обрастаю щетиной бороды,
Блуждая по дорогам жизни...

Он приезжал и в Москву, мы виделись, но прочные отношения не завязались

А фамилии, в корне которых «корыто», видимо, на Урале не редки. Много позже я повстречал в Коктебеле милую молодую женщину из Свердловская, ее звали, допустим, Ольга, а фамилии своей она ужасно стеснялась — Кривокорытова. Но комическая и несузанная фамилия ничуть не портили очарование уралочки. Я подарил ей несколько стихотворений. Вот это, например:

ТАЛАНТ

Мы виделись лишь третий раз,
Но что-то нас уже связало,
И ты так просто вдруг сказала:
— А я соскучилась о вас...

И это были те слова,
Что и в моей душе созрели,
И на моих губах горели,
И не слетели с них едва.

Но я как в сумерках блуждал
И так бездарно медлил с ними,
Словами подлинно живыми,
Как будто разрешенья ждал.

О, как тебе я благодарен
За твой талант — за прямоту,
За непритворства красоту.
Прости, что я был так бездарен.

А в Ирбите я был еще и в зимние каникулы 1948 года, но от тех дней в памяти, увы, не сохранилось ничего, кроме туманного образа одной ирбитянки. О таких женщинах прекрасно сказал Николай Заболоцкий:

Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач...

А я твердил:

Ее глаза... О, это омут!
Я в нем тонул, над ним витал.

В ее глазах мне все знакомо,
Я все в них, кажется, видал:

Восторг. Печаль. Изнеможенье.
Цветы. Сиянье звезд живых...
Но всех прекрасней те мгновенья,
Когда она смыкала их...

ДЕМОКРАТИЯ В ЗЕНИТЕ

Я поинтересовался: а что об Акулове в известном фундаментальном биографическом словаре «Русские писатели XX века»(2000). Крупный же художник, лауреат, фронтовик! И что? Ни слова! Как и не было его. Об этом словаре давно бы пора написать. Вскоре после его выхода в ЦДЛ было обсуждение. Я торопливо полистал его раньше, убедился, что и обо мне — ни единого словца. Спросил у главного редактора П.Н.Николаева: почему? А мы, говорит, критиков не включили. Да у меня ни одной критической книги, сказал я, а публицистики, прозы, поэзии — тома. Ответа не последовало.

О ком тут самая большая статья — о Горьком, Маяковском, Шолохове, Блоке? Да ничего подобного! О Солженицыне. Десять с половиной столбцов накатали Сергей Залыгин, редактор «Нового мира», главный пропагандист Солженицына и потому (за что же еще?) член американской Академии искусств в содружестве с неведомым мне П.Е.Спиваковским. Статья. Разумеется, насквозь антисоветская и такими глупостями изобилует, что и говорить о них не хочется. Впрочем, Николаев очень гордился тем, что по отчеству Солженицын назван в статье не Исаевичем, а Исааковичем, ибо отец его действительно был Исаакий Семенович. А самая лживая статья в словаре — о Шолохове, написанная Василием Литвиновым, ранее не умолкавшим в похвалах великому писателю.

Я много писал о Солженицыне, в конце концов получилась целая книга, несколько раз переизданная и, прия домой, поинтересовался, что из моих многочисленных пуб-

ликаций указано в списке критической литературы о нем. Оказалось, фиг с маслом! Я продолжил исследование, и подсчитал, что в словаре более тридцати писателей, о которых я писал, при этом, не говоря уж о Пушкине и Лермонтове или Горьком, Маяковском и Макаренко, писал я и о таких известных писателях, своих современниках, как Михаил Алексеев, Григорий Бакланов Владимир Богомолов, Евгений Винокуров, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, тот же Залыгин, Даниил Гранин, Булат Окуджава, Михаил Светлов, Константин Симонов, Владимир Солоухин и т.д. Всего, говорю, более тридцати. И где писал! В «Литературной газете» и «Литературной России», в «Правде» и «Советской России», в журналах «Москва» и «Молодая гвардия», «Октябрь» и «Волга», «Звезда» и «Нева»... То есть голосил с самых высоких трибун и — ни единого упоминания. И ведь когда это мы видим-то — в 2000 году, в пору самого отъявленного благоухания демократии.

У Бальзака в «Обедне безбожника» один персонаж говорит другому: «В Париже, когда некоторые люди видят, что вы вот-вот готовы сесть в седло, иной начинает тащить вас за полу, а тот отстегивает подпругу, чтобы вы упали и разбили себе голову; третий сбивает подковы с ног вашей лошади, четвертый крадет у вас хлыст; самый честный — тот, кто приближается к вам с пистолетом в руке, чтобы выстрелить в вас в упор. У вас есть талант, мое дитя, и вы скоро узнаете, какую страшную непрестанную борьбу ведет посредственность с теми, кто ее превосходит». Увы, это не только в Париже...

Один из «самых честных», не назвавшийся москвич, 10 августа 1991 года написал мне: «Вас убивать надо. Время грядет. Жди! Каждый день жди! Скоро!» Подобные письма от анонимов получил я в июле 1991 года из Твери и Самары. Я их опубликовал. И читатель Воронин из Калуги отозвался: «Это ж какой дар Божий надо иметь, чтобы вызвать такую ненависть!» Ну, не мне судить насчет дара. Но интересно, прошло двадцать лет, где сейчас эти анонимы, по-прежнему ли исходят злобой и ненавистью к слову правды

или что-то поняли? Иногда я получаю покаянные письма от былых ненавистников.

А с редактором словаря Николаевым был у меня в Малеевке такой случай. Шел фильм. Мы сидели в самом заднем ряду: я, справа от меня Николаев, рядом с ним Тоня, молодая игривая сотрудница дома творчества. А фильм был о войне. И Николаев, выпендриваясь перед возможным объектом, давал гнусные комментарии к тому, что происходило на экране. Я с трудом терпел. Время шло, и он не умолкал. Наконец, я не выдержал и, повернувшись, остроумцу внятно сказал: «Если вы не замолчите, я вам!..» Он тотчас замолчал, и я решил, что на этом дело кончено. Утром в столовой он подошел к нашему столику и начал многословные извинения: «Я же вас прекрасно знаю, с удовольствием читаю ваши статьи...» Я еще раз попросил его замолчать и вот уж на этом дело действительно кончилось.

ГОДЫ СТРАНСТВИЙ И СТРАСТЕЙ

Я вернулся к дневнику, как упоминал, лишь в 1970 году в связи с рождением дочери. Несколько лет делал лишь время от времени отдельные записи и заметки. А возобновляя дневник, предполагал, что это будут записи только о дочке — как она растет, что лопочет. В таком, например, духе, как рассказала недавно Валентина Александровна о Манечке. Она спрашивает: «Где мама?» — «В Москве». — «Опять в Москве! Я сломаю эту Москву!» А Ванечка что-то сделал не так и В.А. сказала ему: «Что же ты натворит! Ведь это курам на смех!» — «Куры будут смеяться?» — «Конечно!» Ваня помолчал, подумал и спросил: «А петух?»

Но вскоре дневник стал гораздо шире. Поэтому о большом куске жизни придется кратко поведать в разрозненных повременных записях и опять в воспоминаниях.

Любопытно, что в студенческие годы при весьма скромном достатке в летние каникулы я обязательно куда-нибудь уезжал прогуляться и отдохнуть. Как уже упоминал, летом 1947 года гостил с Винокуровым в моей деревне Рыльское

на Непрядве; тогда же — летом и зимой две поездки в Ирбит; в июле 48-го с Андреем Марголиным по туристской путевке — по Черноморскому побережью Кавказа (Сочи — Сухуми); в июле 49-го — Сухуми, санаторий «Гантиади»; в августе 50-го, как упоминал, с друзьями нас занесло в деревню Чуево в Тамбовской области недалеко от Мучкапа, однажды упомянутого Пастернаком... И я не был редким исключение, уж так страдающим «охотой к перемене мест», просто это было принято, таков был образ жизни.

После того, как за дипломную работу мне влепили трояк, директор института Петр Степанович Фатеев вдруг предложил мне пойти в аспирантуру. Странно. У меня никаких намерений на сей счет не было. Ну, раз предлагают... Ведь это довольно свободная жизнь. Поступил, выбрал тему — «Макаренко как художник». Этого писателя я всегда любил. В его великолепной «Педагогической поэме» главный герой — сам автор, человек увлеченный, деятельный, честный, целиком отдавший себя несчастным детям. Горький писал ему: «Именно в таких, как вы, нуждается Россия». Диссертацию я написал, многое из нее опубликовал даже в таких журналах, как «Вопросы философии», да еще и автореферат издал, но защищаться не захотел. Дело это хлопотное, нудное, а главное, звание кандидата наук меня совершенно не привлекало. Зачем оно мне? Что в нем?

А летние и осенние вояжи продолжались. В августе-сентябре 1951 года — теплоходом по Волге до Сталинграда, оттуда самолетом — на Кавказ, Красная Поляна; в сентябре 52-го — дом отдыха «Небуг» под Туапсе; в июле 53-го — Дом творчества на Рижском взморье в Дубулты..... О днях на взморье в памяти остались только три очень разных факта: там тогда жил Николай Заболоцкий. Запомнился его шутливый пляжный экспромт:

По пляжу девушки бродили.
Смотрю и вывод здесь простой:
Они красивы были или
Не отличались красотой.

А на непривычно холодном море я подхватил гайморит, слава Богу, потом прошедший. Да был еще забавный эпизод с никому неведомой тогда, а потом знаменитой артисткой Ириной С.

В Дубултах было тогда два ресторана: «Корсо» и «Лидо». Первый — для широкой публики, днем он работал как общественная столовая, а вечером общий свет там то ли мерк, то ли гас совсем, под потолком загорался огромный зеркальный шар, вертящийся в направленных на него лучах света, и мерцающие бегущие блики создавали обстановку таинственности, и все настраивало романтично, особенно нас, русских, для которых такие затеи и ширпотребовские фокусы были в новинку.

А «Лидо» было так названо в подражание, кажется, кому-то знаменитому острову или ресторану то ли в Венеции, то ли в Париже. Ну, вроде как московский «Савой», ставший потом, кажется, «Берлином». «Лидо» ресторан небольшой, по замыслу aristokратический, попасть туда было не просто. Но вот однажды не помню, откуда взявшись в нашем Доме творчества Наташа Кобзарева, кажется, еще студентка, дочь директора знаменитого ЦАГИ, ее муж-ровесник, их подруга, которую они усиленно навязывали мне, и я как-то ухитрились вечером попасть в это «Лидо». В зале все столики были заняты, но нас метрдотель устроил за небольшим столиком где-то под самым потолком. Там было очень удобно, весь зал — как на ладони. Ну, и после пары рюмок коньяка я обнаружил в зале эффектную блондинку, и, недолго думая, твердой походкой спустился в зал и пригласил ее танцевать. Все очень мило. Хотя, откровенно сказать, танцор я всю жизнь был неважный, и мог решиться на приглашение незнакомки только в особом состоянии духа. А потом, вернувшись к себе на голубятню, я не надумал ничего лучше (может, еще после одной рюмки), как написать ей записку с просьбой о свидании завтра у почты и попросил официанта передать эту записку той эффектной особе. И он, дурак, передал. А она же, естественно, была не одна. И вот по лестнице к нам на голу-

бятню поднимается разгневанный мужчина, с которым она пришла в ресторан, и, потрясая моей запиской, рычит: «Так вот чему вас учат в Литературном институте!» Оказывается, я, тоже дурак, спьяну написал свое послание на какой-то бумажке со штампом института. И тут началось такое!.. Ну, слава Богу, моим друзьям удалось как-то уломать ревнивца и нежно спустить его в зал. По-моему, это был еще не муж ее, впоследствии еще более знаменитый.

Эта комическая история, у которой были шансы стать драмой, имела некоторой продолжение. Однажды в букинистическом магазине на Сретенке я случайно еще раз встретил незнакомку. Помнится, разговора не получилось. «Ах, это вы!» — кажется, только это и сказала она. Но каково же было мое изумление, когда в 1967 году я увидел эту блондинку, как сказал поэт, «не спетую песню мою», в одном уж совсем знаменитом фильме... Для «Красной зезды» я тогда написал статью об этом фильме, он мне понравился, наверное, хвалил и С...

Второй раз я был в Дубултах уже в феврале 1985 года с дочерью восьмиклассницей в ее каникулы. От тех дней осталось стихотворение «Чудотворец» о посещении Домского собора в Риге.

Гремел орган в соборе древнем.
Опять, как с неба, льется Бах...
Сердца распахнуты, мы внемлем
С улыбкой смутной на губах...

И возникает перспектива
В пространство душ, страстей, эпох...
Артист, вершащий это диво,
Для нас невидим, словно Бог.

В конце на вызов наш упорный
Он показался лишь на миг —
Мелькнул вверху, как в выси горней,
Нездешний отрешенный лик.

А мы все хлопали, покуда
Поднять уж не могли руки,
Но он не вышел — сделал чудо,
И что теперь ему хлопки.

А после первого гостевания в Дубултах — в 1954 году поездка с женой Ириной в Ялту; в 55-м как исключение — лето на даче в Опалихе; 56-й — Симферополь, Алупка, Ялта; в октябре 57-го — Геленджик, дача Россельмаша; в октябре 58-го — туристическая поезда к Венгрию с сослуживцами по «Литгазете», а прямо оттуда — в Сочи, санаторий «Новые Сочи»; в ноябре 59-го — опять Сочи, санаторий «Металлург»; в 60-м — Ялта, Дом творчества Союза писателей; в октябре 61-го — поездка морем из Одессы в Египет с заходом в Румынию (Констанца) и Грецию (Пирей и Афины), а по возвращении из Одессы — в Гагры, в Дом творчества; в сентябре 1962-го — Сочи, санаторий «Металлург»...

В ту пору в поездках, и в этих домах, в санаториях, как и в Москве, конечно, случались встречи, нередко заставлявшие сердце биться чаще, и радоваться, и печалиться, и негодовать... Прав Пастернак: «И чем случайней, тем вернее, стихи слагаются навзрыд».

B.C.

Начинался июнь. Все сверкало, цвело.
Под акаций кроной тенистой
Вы стояла как будто всем бедам назло
Изваянием радости чистой.

От лица золотистую прядь отстраня,
Среди толпы суэты неизменной
На бульваре у моря в сиянии дня
Вы стояли как в центре Вселенной.

Время многое в прорву забвенья сметет,
Но пребуду я в вечной надежде,

Что акация та все цветет и цветет,
И под ней изваянье как прежде.

Коктебель

ЗВЕЗДЫ

Звезды на небе, звезды на море,
Звезды и в сердце моем

Старинный романс

Себя ты утром не щадила:
— Проклясть! Забыть! Из сердца прочь!..
А мне в глаза
звезда светила,
Та, что светила нам всю ночь.

Но эту ночь ты увидала
Достойной строгого суда...
А надо мной
звезда витала —
Та, что витала и тогда.

— И позабудь о всем, что было.
Закрой снаружи эту дверь!..
А надо мной
звезда кружила,
А силу звезд поди измерь.

Досаду, что тебя объяла,
Ты изливалась напрямик...
А надо мной
звезда сияла —
Та, что сияла нам в тот миг.

Кляла обоих нас, корила
С какой-то страстью неземной...
Моя душа
меж звезды парила,
И видел я твой лик ночной.

— Безумье! Вздор! — ты восклицала,
Оплошность видя без прикрас.
А надо мной
звезда мерцала —
Та, что мерцала нам в тот час.

— Как ты посмел! Как мог решиться!
И впредь — запомни — никогда!
Но как от звезд мне отрешиться,
Когда и ты — моя звезда!..

Шли дни. Досада не старела,
Не слабла горечи струя.
А надо мной
звезда горела,
И с ней горела жизнь моя.

Малеевка

* * *

— Прощай. И образумься, и не сетуй —
Мы выпили до дна свое вино...
Но я-то знал, что после ночи этой
Мне будет пусто, серо и темно.

— Все к лучшему, — сказала ты и смолкла
И, встав, ушла в редеющую тьму.
А я молился истово и долго:
— Да будет нам по слову твоему!

Гагра

Но когда именно и что конкретно рождает стихи? Казалось бы, ясно — в дни и часы сильных чувств. Но вот уж как я любил Наталью, как терзался нашим разрывом и — ни строчки. Странно...

Продолжу реестр вояжей: в 1963 году — Геленджик; в 64-м — «Новые Сочи»; в 65-м — Батуми, Зеленый мыс; в 66-м — Коктебель, Дом творчества; в 67-м — Гагра, Дом творчества; в 68-м — Коктебель; в 69-м — Коктебель; в 70-м — Москва, Опалиха; в 71-м — Малеевка и Коктебель, Дома творчества; в 72-м — Малеевка и Коктебель; в 73-м — Малеевка и Коктебель; в 74-м — Малеевка, Комарово и Коктебель... Люблю...

Все женщины, оставлявшие след в душе моей, были прекрасны. Ни одной стервозы или склочницы, ни одной сквалыги или зануды, ни единой сплетницы, скандалистки или шантажистки. Я уж не говорю о женах, которых небеса систематически дарили мне. Красавицы, умницы, загадочны, как пушкинские русалки, что «на ветвях сидят» в «Руслане и Людмиле». Ведь они все, как полагается русалкам, — из вод. Одна явилась из Патриарших прудов (Ермоловский переулок), другая — из Чистых прудов (Телеграфный переулок), третья — с Камчатки, то ли из Берингова моря, то ли из Охотского.

А.Г.

Я видел, как из моря вышли вы,
— (Оно вас отпускало неохотно),
Как шапочку стянула с головы
И разметала волосы вольготно.

Сияли ваши мокрые глаза,
Лучилось тело от воды и света.
Небес и моря вечная краса
На дальнем плане затерялась где-то.

Придумать лучше греки не могли.
Вдруг понял я с восторгом неофита, —
Не с гор, не с неба и не из земли —
Из моря к ним явилась Афродита.

Коктебель

* * *

B.C.

Вы улетаете. Вас ждет аэропорт.
Вам предстоит далекая дорога.
Сопровождать вас будут, как эскорт
Мои печаль, сомненье и тревога.

Никто и не заметит в синеве,
Что вы под их охраною тройною.
Потом они воротятся ко мне
И навсегда останутся со мною.

Гагра

* * *

O.K.

Воспоминанье о тебе,
Как смерч в степи меня застало
И в кровь мне душу исхлестало,
И обессилел я в борьбе.

И я упал среди степи,
И я молил их о пощаде,
И я взывал: «О, Бога ради!..»
И был мне голос твой: «Терпи!»

Малеевка

После войны, повторю, я несколько лет регулярно дневник не вел, лишь иногда делал какие-то записи. Вот например, когда работал в «Молодой гвардии»:

17 июля 1960 г.

Чуть не лбами столкнулись две большие толстовские даты: в 1958 году было 130-летие со дня рождения, а в этом — 50-летие со дня смерти.

Были тогда торжественные заседания в Большом театре с участием руководителей страны, доклады, концерты, юбилейные издания, спектакли, фильмы. В позапрошлом году было 100-летие со дня смерти Толстого. И кто держал речь в Большом театре — Швыдкой, ненавистник Пушкина? Кто издал новое собрание сочинений писателя? Кто поставил?..Появились два фильма по «Анне Карениной» — российский и английский. Кого они порадовали? Уже и то хорошо, что памятник не сковырнули во дворе Союза писателей, как памятник Горькому...

Надеясь раздобыть или написать для журнала что-то интересное о Толстом к ноябрьскому юбилейному номеру, я съездил на днях в Ясную Поляну. Стояла страшная жара. И, приехав из Тулы в усадьбу, я первым делом пошел на Воронку, в которой все Толстые купались чуть не до заморозков. А дорогу туда мне показал Валентин Федорович Булгаков.

Это человек с богатой и очень интересной биографией. В январе 1910 года, будучи студентом Московского университета, он стал секретарем Толстого, от его имени отвечал на письма, которые шли к нему со всего мира. Разумеется, на особенно интересные и важные писатель отвечал сам и не жалел на это времени. Так, одному студенту из Франции, приславшему пьесу, ответил на 32-х страницах. И этот студент оказался потом Роменом Роланом. До 9 ноября 1910 года, т.е. до второго дня после смерти писателя Булгаков вел подробный дневник, в котором достоверно рассказано о самом драматическом времени жизни Толстого. В 1911 году дневник впервые был издан. Тогда Булгакову шел 25-й год, теперь ему 75. В дневнике Толстого иногда встречается: «милый Булгаков».

А 15 июля после купания он водил меня по дому, по всей усадьбе и рассказывал, что к чему. Черный кожаный диван, на котором родился Толстой, гостиная с портретами предков и других родственников, кабинет, библиотека, «комната под сводами», где были написаны «Анна Каренина», «Воскресенье», «Хаджи-Мурат»... Показал и пруд, в кото-

рый утром 28 октября, узнав об уходе ночью мужа, бросилась в отчаянии Софья Андреевна, а они с работником Иваном, скрытно шедшие за ней следом, вытащили ее из воды.

19 июля 1960

Когда мы зашли к Валентину Федоровичу домой (он квартировал в «доме Болконского»), я удивился большому портрету Сталина на стене. Это в нынешнее-то время! А хозяин ответил: «Этот человек вернул мне родину». Оказывается, после революции он несколько лет работал директором музея Толстого в Москве, добился его перевода в новое здание на Кропоткинской, организовал музей в Хамовниках. Но в 1923 году эмигрировал, жил главным образом в Праге, где в 1943 году его, как русского, немцы арестовали и два года он просидел сначала в тюрьме, потом — в концлагере. После Великой Отечественной войны написал Сталину письмо с просьбой о возвращении. И в 1948 году ему разрешили вернуться, как еще до войны вернулись Горький и Алексей Толстой, Прокофьев и Куприн, как во время войны, в 1943-м — Вергинский, как уже после войны — Коненков, Эрзя...

20 июля 1960

К слову сказать, все эти знаменитые «возвращенцы» были хорошо устроены, и тех из них, кто продолжал творческую деятельность, власть не обошла вниманием: Прокофьев стал Народным артистом, шестикратным — как никто! — лауреатом Сталинской премии и Ленинской, Вергинский давал концерты, снимался в кино и тоже получил Сталинскую, а Коненков — и Сталинскую, и Ленинскую, и Звезду Героя, не говоря уж о прекрасной квартире и мастерской в самом центре столицы — на углу улицы Горького и Тверского бульвара. Не знаю, как обстояли дела у Эрзи, но во всяком случае у него была большая выставка на Кузнецком мосту, на которой мне довелось побывать и даже поговорить с ваятелем, невысоким седеньким старичком.

Не был обижен и Булгков. Он вернулся не просто в Россию, а именно в Ясную Поляну, с которой у него столько

связано. В этом году и, может быть, не первый раз в изда-
тельстве «Художественная литература» тиражом 75 тысяч
экземпляров переиздана его книга о Толстом. Он подарил
мне ее с дружеской надписью.

Так что портрет Сталина в его квартире был так же по-
нятен, как стихи Вергинского о Сталине:

Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь,
Сколько стоил ему Сталинград!..

Эти черные, тяжкие годы
Вся надежда была на него.
Из какой сверхмогучей породы
Создавала природа его?..

Как высоко вознес он державу,
Вождь советских народов-друзей,
И какую всемирную славу
Создал он для отчизны своей...

Тот же взгляд, те же речи простые.
Так же скучны и мудры слова...
Над военною картой России
Поседела его голова.

А Куприн? По его «Поединку» поставили фильм «Гос-
пода офицеры», экранизировали «Штабс-капитана Рыбни-
кова». И так же закономерны были слова радости и бла-
годарности престарелого писателя, который был изумлен,
что его узнают на улице, заговаривают с ним. «Что больше
всего понравилось мне в СССР? — писал он. — За годы, что
я пробыл вдали от родины, здесь возникло много дворцов,
 заводов и городов. Всего этого не было, когда я уезжал из
России. Но самое удивительное, что возникло за это время,
и самое лучшее, что я увидел на родине, — это люди, те-
перешняя молодежь и дети... Родная Москва встретила нас
на редкость приветливо и тепло». Толстой считал Куприна
очень талантливым, но дочитать его «Яму» не смог.

23 июля 1960

В разговоре с Булгаковым я упомянул о статье Сталина, написанной еще в 1934 году, в которой он решительно возразил на известную статью Энгельса «Внешняя политика русского царизма», опубликованную за границей еще в 1890 году. И вот в 1934-м академик В.В.Адоратский, директор Института марксизма-ленинизма, предложил напечатать ее в журнале «Большевик», — в номере, посвященном двадцатилетию Первой мировой войны. Stalin был не против ее публикации в собрании сочинений, но в массовом журнале ЦК?.. И он написал статью, которая была как письмо разослана только членам Политбюро, и предложение академика не прошло. Но в мае 1941-го буквально за месяц до войны Stalin счел нужным напечатать свою статью-письмо в «Большевике».

Валентин Федорович, конечно, ничего об этом не знал и заинтересовался. Я рассказал ему, что Stalin категорически отвергал уверения Энгельса, будто во главе внешней политики России долгие века стояла некая всемогущая и очень талантливая шайка иностранных авантюристов, которой везло почему-то везде, во всем, и ей удивительным образом удавалось, ловко надувая всех европейских правителей, преодолевать все и всякие препятствия на пути к своим авантюристическим целям. Это тайное общество, приводил Stalin слова Энгельса, вербовавшееся первоначально из иностранных авантюристов, и подняло русское государство до его нынешнего могущества, «эта шайка, насколько бессовестная, настолько и талантливая, сделала больше, чем все русские армии, для того, чтобы расширить границы России...<...> Это она сделала Россию великой, могущественной, внушающей страх и открыла ей путь к мировому господству» . Только-де один чистокровный русский, Горчаков, занимал высший пост в этом ордене. Его преемник фон-Гирс опять уже носит иностранную фамилию.

Валентин Федорович слушал очень внимательно и даже, как мне показалось, напряженно. А я продолжал рассказывать, что Stalin подчеркнул: завоевательская поли-

тика вовсе не монополия русских царей. Такой политике в еще большей степени были привержены короли и дипломаты всех стран Европы, в том числе такой император буржуазной формации, как Наполеон, который, несмотря на свое не-царское происхождение без колебаний использовал в своей внешней политике интриги, обман, вероломство, лесть, зверство, подкуп, убийства... И вывод был очевиден: великую Российскую империю создали не Горчаков и Гирс, а русский народ.

— Это поразительно! — воскликнул Валентин Федорович, встал, подошел к книжному шкафу, взял том Толстого, быстро нашел нужное место и сказал:

— Ну, это наши поэты иногда почему-то мли при имени Наполеона:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!

Может быть, именно поэтому Толстой отводил Пушкину в нашей поэзии только третье место — за Тютчевым и Лермонтовым.

Я возразил:

— Это стихотворение написано при известии о смерти Наполеона. А у Лермонтова тоже — «Воздушный корабль»:

Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук...

— Вы послушайте, — сказал Булгаков, раскрыв книгу. — Вот что записал Лев Николаевич в дневнике 4 апреля 1870 года: «Читаю историю Соловьева. Все по истории этой было безобразно в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неумение ничего делать...»

— Дикари! Только иностранцы и могли помочь, — вставил я.

— «Читаешь эту историю, — продолжал Валентин Федорович, — и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России. Но как же так ряд безобразий произвели великое единое государство? Уже одно это доказывает, что не правительство производило историю».

— Оказывается, граф Толстой выступил против статьи Энгельса раньше Сталина — за двадцать лет до ее появления! — засмеялся я.

— «Но кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ?»

— В корень зрил Лев Николаевич.

— «Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов? Кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов? Кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто рождал и воспитывал этих людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную, поэзию народную? Кто сделал, что Богдан Хмельницкий передался России, а не Турции или Польше?»

— По-моему, — сказал я, — это с другого конца, но о том же: творцом истории является народ.

Валентин Федорович согласился. А еще дал мне свою переписку с Николаем Рерихом. Мы ее, конечно, напечатаем.

24 июля 1960

Ленин писал о «кричащих противоречиях» Толстого. Кленинским примерам можно добавить немало. Так, в молодости Толстой добровольно вступил в армию и участвовал в боевых действия на Кавказе, потом на знаменитом 4-м бастionе — в героической обороне Севастополя, плакал при виде французского флага над городом, получил медаль за оборону и орден Анны, а в старости призывал отказываться от службы в армии, не раз повторял: «Патриотизм — по-

следнее прибежище негодяев», хотя обличается-то здесь не патриотизм, а негодяи. В зрелые годы с увлечением и радостью создал шедевр мировой литературы — четырехтомный роман «Война и мир», а в старости говорил, что это самая глупая его книга. (Впрочем, это по словам Булгакова, а по воспоминаниям Горького, о «Войне и мире» Толстой говорил: «Это — как «Иллиада»!». В 1866 году он был защитником солдата Василия Шибунина, которого судили за пощечину оскорбившему его офицеру, и даже послал царю просьбу о помиловании, но солдата расстреляли, а в 1908 году писатель уверял: «Нет в мире виноватых». Настойчиво, страстно призывал ко всеобщей любви и равенству, а когда его племянница, поехавшая с ним в Башкирию на кумыс, завела там роман с башкиром и забеременела, граф, видимо, уверенный, что графиня не может понести от простого башкира, был в отчаянии. За первые двадцать два года брака у Толстых родилось тринадцать детей, а потом писатель принялся проповедовать безбрачие. Софья Андреевна однажды записала в дневнике, что Левочка в порыве страсти завалился к ней в постель, даже не скинув сапоги, и Горькому он говорил об этом деле: «Я был неутомим...», а в старости написал книгу «Грех чувственности»...

Да, кричащие противоречия. Но при всем этом было нечто, в чем Толстой всегда оставался неизменен, тверд, неколебим. Это — от «Детства», написанного в двадцать три года, до статьи «Не могу молчать», написанной в восемьдесят, до неопубликованного при жизни «Хаджи-Мурата» — страстное, неуемное обличение лицемерия, лжи, несправедливости, срывание «всех и всяческих масок». И в этом, как и в художественной силе, не было ему равных.

14 декабря 1960

Получил письмецо из Ясной:

«Глубокоуважаемый Владимир Сергеевич, я с дружеским чувством вспоминаю нашу встречу и беседу минувшим летом в Ясной. С признательностью вспоминаю я и о

том, что через публикацию в «Молодой гвардии» моей переписки с Н.К.Перихом Вы дали мне возможность заработать хорошие деньги.

Всего доброго! Ваш Вал. Булгаков».

Нарочно не придумаешь! Едва я сейчас, поздно вечером 3 февраля, перепечатал это письмо, как вошла Таня и сказала, что по телевидению начинается американский фильм о Толстом, о последнем году его жизни. Включаю и вот — молодой Булгаков у Черткова, который его рекомендовал в секретари. А вот уже и сам Лев Николаевич обнимает Булгакова.

Фильм дали поздно ночью, окончился он уже около двух часов, но мы досмотрели. Вполне достойная работа. Толстой очень хорошо, да и Софья Андреевна не вызывает возражений, и все остальные, кроме Черткова. Он же был аристократ, красавец, умница, а тут какая-то невнятная личность с огромной лысиной. Как такой мог быть другом Толстого!

Потом было обсуждение. Упрекали, например, за то, что Толстой ушел из дома глубокой осенью, а в фильме лето. Какое это имеет значение. Еще из дневника Булгакова следует, что с Толстым поехал только врач Душан Маковицкий, а в фильме — и Булгаков. Это тоже несущественно. Нет, нет, хороший фильм. Главное — достоверен сам Толстой.

В октябре 1961 года, когда еще работал в «Молодой гвардии», я из Одессы на теплоходе «Феликс Дзержинский» прокатился в Египет. Не один, конечно, а с группой туристов, в которой, впрочем, не было ни одного знакомого. Перед отъездом была наставительная беседа в здании бывшего американского посольства. Что ж, почему кое-что не объяснить людям, которые едут за границу впервые? Потом мне позвонил в редакцию и пригласил побеседовать некий майор из КГБ. Мы встретились у Большого театра под навесом вдоль левой стены. Он говорил, что я, мол, на-деюсь на ваше содействие и помочь в случае чего. О чем говорить! Если какой-то чрезвычайный случай, я и без него принял бы посильные меры.

А как только вечером теплоход отошел от одесского причала, я сразу направился в бар и познакомился там с молодой русской парой из Франции: Олег и Марина. Он настроен очень прорусски: много рассказывал о знаменных людях русского происхождения по всему миру. А она не помню, что говорила, но была очень мила. Прекрасно провели вечер. Обменялись адресами. На другой день, кажется, в Стамбуле они сходили. Я помог им нести вещи к трапу.

Когда шли по Эгейскому морю, я послал своей сотруднице по отделу критики Искре Денисовой телеграмму: «Слева по борту остров Лесбос вспоминаю стихи Сапфо и Володи Котова салют».

Когда вернулись в Москву, майор КГБ опять позвонил мне, и мы опять встретились под навесом Большого театра. Он спрашивал о впечатлении. Я отвечал, что все было прекрасно. «А вот эта пара, с которой вы беседовали в первый вечер... Вы не завязали знакомство, не обменялись адресами?» Я твердо соврал: «Нет!» А под Новый 1962 год Марина прислала мне поздравительное письмо, очень трогательное и забавное, нешибко грамотное. Очень хотелось ответить, но я не решился: ведь сказал же я ему, что не обменялись адресами. Жаль, жаль... Она жила где-то у Эйфелевой башни.

9 июня 1962 года

Был в Переделкино у К.Чуковского. Старик болен, лежал в постели, но поговорили. Дал статью о Толстом и свои письма к Рубакину. Статья написана еще при жизни Толстого — как о неком стихийном явлении. Печатать это сейчас невозможно. А письма напечатаем.

22 июня 1962

Получил письмо о К.И.Ч. :

«Дорогой тов.Бушин!

Я впервые после большого перерыва прочитал свои письма к Рубакину, и они мне не понравились. Умоляю Вас (если Вы намерены печатать их) сделать кое-какие купюры.

В первом письме мне показались отвратительными мои жалобы на болезнь, на бессонницу. Вообще, чем боль-

ше Вы сократите их, тем лучше. Ведь они написаны без мысли о том, что они когда-нибудь могут стать достоянием читателей.

Вы спрашиваете, какое издание собрания стихотворений Некрасова было похвалено В.И.Лениным. Отвечаю: издание 1920 года.

Мой очерк «Мы и они» напечатан первоначально в «Речи», а потом появился в книге «Лица и маски» (1914, изд. «Шиповник»). Насколько я помню, он был направлен против невежественного редактора «Вестник знания» В.В.Битнера.

Всего доброго. Корней Чуковский.

17 июня 1962».

25 июня он прислал в жалком виде еще и записочку Искре, где конкретно указывает, что надо поправить в тексте статьи самого Рубакина о Н.К.Крупской.

В том году за книгу «Мастерство Некрасова» Чуковский получил Ленинскую премию. Это похоже на премию Шолохова, которую Ю.Бондарев дал Валентину Сорокину, только как бы с другой стороны: Сорокин поносил Шолохова, а Ленин — Чуковского, точнее, он резко критиковал его, писал, что «нам с Чуковскими не по пути». Ну, конечно, и тут различие немалое: Ленин писал правду, а Сорокин лгал.

1 июня 1963

Из Рязани прислал письмо Солжницин. Это в ответ на ленинградскую «Неву» с моей статьей об «Одном дне Ивана Денисовича», которую я ему послал.

Он пишет:

«27.5.63

Уважаемый В..... С....!

О Вашей статье я слышал от Сергея Алексеевича Воронина (главного редактора «Невы». — В.Б.) еще в феврале. Он говорил мне и о том, какую концовку устранил оттуда (какую — не помню). Саму статью я прочел в прошлом месяце. Нахожу ее весьма интересной и очень разнообразно, убедительно аргументированной.

Поэтому Л.Иванова (ее статья была в «Литературной России») не могла бы ввести меня в заблуждение, что, впрочем, ей вероятно удастся по отношению к тем, кто Вашей статьи не читал.

Спасибо за присылку журнала.

С добрыми пожеланиями Солженицын».

7 января 1964

Гослит (В.Косолапов) предложил мне для критического ежегодника написать о Солженицыне в целом. т.е. о всем, что он к этому времени напечатал. Я написал. Но шлагбаум уже опустился: Косолапов ссылается на ЦК.

Алик Коган, редактор ежегодника, говорит мне: позвони Поликарпову в ЦК. Позвонил. Тот негодует: напишите нам заявление! Я не стал писать, заводить склоку; ясно, что лицедей Косолапов просто струсили. Я послал статью в «Подъем» (Федор Волохов), где иногда печатаюсь. Там трусоватый завотделом критики Зиновий Анчиполовский был в отпуске, его замещал Анатолий Жигулин. Он и пропихнул статью. Ее я и послал А.С. И вот он пишет:

«2.1.64

Рязань

Многоуважаемый Владимир Сергеевич!

Я очень признателен Вам за присылку «Подъема» №5, хотя должен Вас «огорчить», что как раз перед этим достал его в Рязани и прочел.

Хвалить того критика, который хвалит тебя — звучит как-то по крыловски. Тем не менее должен сказать, что эта Ваша статья кажется мне очень глубокой и серьезной — именно на том уровне она написана, на котором только имеет смысл критическая литература. Особенно интересен и содержит много меткого раздел о «Кречетовке» (или, может быть, потому, что об Иване Денисовиче уже было в «Неве»?). Жаль что из-за тиража журнала его мало кто прочтет.

Я не только уважаю чужие, рóзные от моего, мнения, но и вижу в них украшение жизни...»

Тут уже начиналось вранье и «жизнь по лжи». Прошло недолгое время, и мы по его «Теленку» и «Архипелагу» воочию убедились, как он уважает чужие мнения, как ценит это украшения жизни. «Жирный»... «лысый»... «вислоухий» — вот для начала как выражал он свое восхищение обладателями розного от его собственного мнения. А дальше — по нарастающей: «бездари»... «плюгавцы»... «плесняки»... «обороты»... «шпана»... «наглецы»... Затем — из арсенала животного мира: ««баран»... «осел»... «собака»... «волк»... «шакал»... «скorpion»... «змея» и т.д. Когда ехал из Владивостока в Москву, в Омске на встрече со своими почитателями змеей поименовал и меня.

А тогда, как порядочный человек, а не литературный обормот, он писал мне: «Много верного и для нашей литературы полезного в том, что Вы пишете, противопоставляя «эстетику песчинок» и «эстетику самородков». Нам надо учиться видеть красоту обыденного» и т.д на полстраницы трепа о красоте. Он учился видеть красоту и в «Архипелаге» уж такую выдал...

Но довольно долгое время переписка была вполне благопристойной. Он мне даже присыпал свои любительские фотографии, а я писал, например, так:

«7 апреля 1964

Уважаемый Александр Исаевич!

Письмо Ваше, писанное в знаменательный день 8 марта, я, разумеется, давно получил. Но тут были всяческие хлопоты, дела и события. Например, расстался с «Молодой гвардией» и хотел посидеть дома, подумать, почтить, пописать не торопясь. Однако не прошло и месяца, как А.Л.Дымшиц (Между прочим, вопреки мнению некоторых, очень милый и порядочный человек. Он, кстати, как Вы, очевидно, знаете, одним из первых выступил со статьей об «Иване Денисовиче» и говорил мне, как эта вещь его взволновала) увлек меня в Госкомитет кино. По мягкости характера я поддался его напору, но тут же и ужаснулся. Это такой тебе департамент со всеми его прелестями! Две недели я ходил на служ-

бу, неделю проболел и — сбег. Самым позорным образом. Уж больно я, как Ваша Матрена, не люблю столам-то канцелярским кланяться

А потом поехал на свадьбу в Краснодор — племяш Сергей женился. А потом мамаша тяжело заболела. А потом сам прихворнул... Так время и шло. Но вот, кажется, и сам поправился и все вошло в свою колею. Наслаждаюсь свободой. Господи, как хорошо в департамент-то не бегать! Что хочу пишу, что хочу читаю. «Анну Каренину», например, а то — Плутарха... Есть время ввязаться в какую-нибудь литературную драку (я их страсть как люблю!), или выступить в защиту несправедливо обиженного, или привоздить неправедно благоденствующего.

Словом, свобода имеет великие преимущества, но есть у нее и свои недостатки. Главный — меньше с людьми общаешься. Но уж тут, пожалуй, все от тебя зависит.

Снимку Куликова столпа, что Вы прислали, я очень обрадовался. Большое за него спасибо, как и за «Один день» с дарственной надписью. Я думал, что не помню, как столп выглядит, но оказалось, что пассивно помнил. Вообще-то у меня зрительная память отличная, но ведь на Куликовом поле я был, должно, лет в 13.

Я не предполагал удивить вас сообщением о том, что был на фронте. Ведь в «Подъеме», где напечатана моя статья о Вас, помещена на последней странице и биографическая справка даже с фотографией. Думал, что это попалось Вам на глаза.

Я рад, что Вы лишь посмеялись, как пишете, прочитав в «ЛитРоссии» мой «отклик» на Ваше предыдущее письмо. Теперь, поразмыслив, я вижу, что отклик был бес tactностью. В самом деле, человек написал письмо сугубо личного характера, а я его — бух! — сразу в газетку, хотя и безымянно. Вы имели полное право осерчать. Но вот получил Ваше письмо и вижу, что Вы не обделены чувством юмора. Спасибо. Спасибо и за добрые пожелания, что написали на книге.

Всего наилучшего».

Наша довольно активная переписка тянулась четыре года — до мая 1967-го. Его последнее письмо было кратким, это было как бы небольшое персональное добавление к его большому (четыре убористых страницы) письму в адрес предстоявшего IV съезда писателей — «вместо выступления». Он разослал его по адресам многих газет, журналов, писателей и разных инстанций. Мне писал:

«17.5.67.

Уважаемый Владимир Сергеевич!

Наша прошлая переписка побуждает меня послать это письмо и Вам. Определи свое намерение искренне: пусть это письмо напомнит Вам, что и перед Вами в литературе (в жизни) стоит выбор и не бесконечно можно будет Вам его откладывать (как, мне кажется, вы пытаетесь).

Желаю Вам — лучшего.

Солженицын».

Я так много возился с этим обормотом, так много о нем писал, что в конце концов он мне осточертел до ужаса и еще что-то о нем писать или даже думать я просто уже не в силах, хотя в дальнейшем будут встречаться упоминания, относящиеся в разным годам.

20 ноября 1965

Получил письмо о Сергея Бондарчука с благодарность за статью о его «Войне и мире», которую я напечатал в «Красной звезде».

Вот ведь интеллигентный талантливый человек, а не понимает, что под всяким письмом должна стоять дата.

6 декабря 1967

Сегодня в конце рабочего дня зашел ко мне в «Дружбу народов» Винокуров. В моем кабинетике мы проговорили с ним часа полтора, до начала седьмого. Потом пошли в ЦДЛ, пропустили по две рюмочки коньяка и по чашечке кофе.

Он принес мне «1920 год» Шульгина, о чем я его недавно просил после возвращения из Дома творчества в Гаграх, где Дм.Жуков познакомил меня с Васильевичем Витальевичем.

Ему в этот год 50-летия Октябрьской революции исполнилось девяносто. Таких древних людей я никогда в жизни не видел. Но, конечно, не только возрастом был интересен мне человек, принимавший отречение Николая Второго. Его арестовали в 44 году, кажется, в Югославии и он лет десять отсидел во Владимирском централе. Они с женой сидели в столовой за столиком рядом с нами. Иной раз после завтрака он шел с нами прогуляться по набережной. Мы спрашивали его, как он смотрит на нынешнюю Россию. Он отвечал мудро: «Мы, русские националисты, хотели видеть Россию сильной и процветающей. Большевики сделали ее такой. Это меня мирит с ними». Был фильм «Перед судом истории», построенный на его беседе с каким-то безымянным историком. Все симпатии зрителя, конечно, на стороне Шульгина: за его спиной большая бурная жизнь, драматическое крушение всех надежд, а что за этим «историком»? Пустота. Я уж не говорю о манерах Шульгина, языке, логике. Фильм вскоре сняли.

С Винокуровым, как всегда, мне было интересно. Мы никогда не надоедаем друг другу. Причем, не собеседники-спорщики, а собеседники-единомышленники, мы дополняем мысли друг друга, подтверждаем их своими доводами, примерами. И тем не менее нам всегда интересно вместе еще со студенческих лет, еще с поездки в Рыльское, когда мы были вместе, не замолкая ни на минуту, целые дни.

Сегодня встреча началась с того, что он, протиснувшись в дверь, сел на стул, достал из портфеля книгу и сказал, что у меня приятная комнатенка. «Мой уголок мне никогда не тесен», — напомнил я. «Куда девались эти пошлые довоенные песни, на которых мы выросли?» — сказал он и тут же вынул молодогвардейскую брошюруку со стихами Эдуарда Асадова. Поразился их 600-тысячному тиражу. «Моя в этой же серии вышла тиражом в 125 тысяч». Прочи-

тал первые четыре строки и стал возмущаться их языком, отсутствием мысли, пошлостью.

Рассказал об одной культурной знакомой даме, которая в восторге от стихов Асадова, и заговорил о неразвитости, грубости вкуса толпы, среднего слоя. «Толпа это страшное дело! Для нее даже Евтушенко, Рождественский слишком сложны. Если бы Асадов был еще пошлее и бездарней, он был бы еще популярней. Пошлость вкуса толпы особенно видна в кино».

К покойному Асадову я еще вернусь, но уже здесь скажу, что Винокуров шибко не любил Евтушенко. Причины не знаю. 30 января и 9 февраля 1991 года о его книгах «Точка опоры» и «Политика — привилегия всех», а также в ответ на его наглую, с ложью о Шолохове статью «Фехтование с навозной кучей» в «Литературке» я напечатал в «Советской России», выходившей тогда почти двухмиллионным тиражом, статьи «Дайте точку опоры!» и «Грянул гром не из тучи» (они вошла в мою книгу «Окайяные годы», 1997). Не помню, как Винокуров об этом узнал, позвонил мне и попросил прислать газеты. Я обещал, но промешкал. Он опять позвонил. Я послал. Думал, что статьи убийственные, но Женя прочитал и сказал: «Слишком мягко, о нем надо писать беспощадно».

Разговор перешел на цензуру. Я сказал, что Солженицын в письме накануне съезда писателей в 200 адресов, которое прислал и мне, выступил против всякой цензуры вообще. Я процитировал на память: «...этот пережиток Средневековья доволакивает свои мафусайлово сроки до наших дней». И посмеялся над вычурной напыщенностью этих слов.

— Это значит, — сказал Женя. — Солженицын не мыслит государственно. Вот Шульгин — он кивнул на книгу, — был государственник. Наша беда не в цензуре, а в том, что у нас нет ее. Цензура — это Гончаров, Тютчев, Аксаков, Константин Леонтьев. Цензор должен в огромном кабинете сидеть в мундире, всюду гербы. А у нас цензорами работа-

ют выпускники литфаков. Требовать отмены цензуры это все равно, что требовать ликвидации милиции. В Западной Германии очень строгая цензура, очень строга католическая цензура, и она права. Будьте добры творите искусство без того, чтобы показывать половые органы. На Западе реклама показывает фотографии обнаженных женщин, но на нужных местах — плашки. Ведь если отменить цензуру, тебя кто угодно оклеветает, будут проповедовать гомосексуализм и т.д. Дай волю таким, как Евтушенко и Вознесенский, они ведь ради успеха штаны будут на эстраде снимать. Ведь людей бездарных, клеветников больше, чем настоящих писателей. Ныне век сенсаций. И в погоне за ней будут стремиться переплюнуть друг друга.

— Ведь Солженицын, — продолжал Женя, — в лагерях видел, каковы люди. Я слышал, что в каком-то романе он говорит: «Попробуй выпусти таких». Солженицын — изумительное явление, большой писатель по силе искренности, таланту, судьбе он решил ничего не бояться. Но он не созрел до понимания государственности. У нас интеллигенция считает, что все дело в «начальстве», что если ликвидировать его, то люди воспарят на крыльях. А на самом деле они перережут друг друга. Как только общество осознает себя как единство, оно устанавливает цензуру и полицию.

— Я люблю «Один день Ивана Денисовича», а «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка» мне не нравятся. Народ не богоносец, он состоит из живых людей. Прочитай «Живые мозги» Тургенева. Это в сто раз сильнее, чем «Матренин двор». А то, что описано в «Случае», могло произойти на любой войне, например, на франко-прусской.

— Я возражаю:

— Нет, тут показан тип именно нашего молодого человека 30-х годов с его абстрактным представлением о жизни, оторванностью от многих житейских вещей. «Капитал» Маркса знает, но не может понять, что квартирная хозяйка хочет с ним спать

— Нет, такие молодые люди были всегда еще и до «Капитала». Мысли обоих рассказов мелки, неинтересны... На-

род не богоносец. Почему Шолохов, великий, гениальный писатель, в начале «Тихого Дона» рассказывает, как Аксинью, героиню, которую он любит, насилият отец, а ее братья закалывают отца вилами. Он любит казаков, любуется ими, но почему начинает рассказ о них с такой страшной трагической ноты? Только гениальный писатель может начать с такой высокой, резкой ноты. Но зачем? Для того, чтобы рассказ о революции предварить упором на то, сколько в человеке зверского. Это мое толкование.

— А отрицать цензуру это отрицать законность. Бентам сто пятьдесят лет назад говорил, что законность люди должны защищать, как стены своего собственного дома.

— Пусть разрушится мир, но восторжествует законность, — напоминаю я римлян и говорю, что несколько раз звонил в «Правду» по поводу того, что на ее страницах пропагандируется нарушение законности: с восторгом рассказывают о присвоении колхозам, поселкам, улицам имени здравствующих лиц, что запрещено законом в 1957 году. Мне всегда отвечают: закон законом, но есть живая жизнь, мы прославляем наших героев, достойных людей. Я отвечал: надо соблюдать закон или отменить его. Даже написал об этом в адрес XXIII съезда на имена Гагарина и Терешковой, предлагая им выступить за соблюдение законности, которую ради них особенно часто нарушают. Даже не ответили.

— Россия не доросла до понимания законности. Вместо законности у нас предпочитают «правду-матку». А ведь, казалось бы, еще Пушкин в юности взывал:

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законом мощных сочетанье...

Владыки! вам венец и трон
Дает Закон — а не природа.
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.

— Уже в юности Пушкин был государственником. А у нас исходят из того, что вопросы надо решать «по душам». Я несколько раз слушал Фурцеву. Она даже не понимает, что существует проблема законности. Ей говорят: «Такие-то люди построили дачи, ибо есть закон, разрешающий это». Она возмущается: «При чем здесь закон, если мы коммунисты!» То есть зачем коммунисту дача.

Я рассказал, что сегодня заходил Эмка Мандель (Коржавин) и поведал мне, что 11 декабря Солоухина вызывают на Секретариат за ношение перстня, сделанного из золотого червонца с изображением Николая Второго. А в прошлую воскресенье мы были с Солоухиным в Успенском соборе Новодевичьего монастыря на отпевании П.Д.Корина, выстояли три часа митрополичьей литurgии. Мы с Солоухиным бывали и дома у Корина, и в мастерской, которую устроил ему еще Горький. Павел Дмитриевич был сердит на Солоухина за «Изъятие даров» в его «Русских письмах». Хотел выступить с опровержением, но когда на Солоухина стали клеветать в «Вечерней Москве» Индурского и еще где-то, передумал, отказался.

Разговор перешел на религию. Женя напомнил:

— Вольтер, на смертном одре, сказал: «Умирая, я преклинаю церковь, восхищаюсь Богом, ненавижу своих врагов и благодарю друзей». Вольтер, Пушкин потому и выступали против церкви, что знали: она неколебима. Они хотели лишь поправить кое-что.

— Но вот уж Толстой не о поправках думал.

СТРОКИ ИЗ КОРОБКИ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО

16 ноября 2011

Недавно в шкафу, что в коридоре городской квартиры, обнаружил коробку из под шампанского (printed and made in France) «Наполеон». С этой бутылкой пришел на мое пятидесятилетие Женя Винокуров. Она до сих пор стоит в посудном шкафу — уж очень красива, а стекло на ощупь — как шелк. Да ведь Винокуров!.. И в этой коробке — когда-то давно сложенные там старые письма. Почти ни на одном нет даты, что меня всегда злит, только изредка указано число, но нет года. Поэтому иногда не удается вспомнить обстоятельства, при которых письмо написано, а порой даже — кто писал. И, Боже мой, какие на иных страницах страсти! Вспомнается Тютчев:

Она сидела на полу
И груду писем разбирала
И, как остывшую золу,
Брала их руки и бросала.

Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...

О, сколько жизни было тут,
Невозвратимо пережитой!
О, сколько горестных минут
Любви и радости убитой!..

Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени, —
И страшно грустно стало мне,
Как от присущей милой тени.

Да, именно так: сколько жизни было тут! Но у Тютчева о письмах не ему, а тут — все мне. Тем сильнее мое желание в иных случаях «пасть на колени».

Вслушайтесь: кто, кроме грешного ангела во плоти, мог написать вот так:

«Володя, милый!

Я никак не могу прийти к Вам. Извините ради бога. Очень хочу, но ничего не получается. Может быть, так даже лучше. Если очень захотите, то после «Железной маски» можем встретиться. Но просьба большая, не уводите меня от Вали. Оказывается, из-за нее могут быть неприятности. Будем вести светский разговор.

Целую, мой хороший. Л.».

Через несколько, видимо, не пустых дней:

«Милый мой Бушин,

как я хочу тебя увидеть! Я не знаю, что это, но видеть тебя хочу все время. Я прибежала бы к тебе в твою маленькую комнату, а ты сказал бы: «Здравствуй, мое милое рыжее солнышко!»

Как я хочу слышать твой голос, видеть твои добрые глаза.
Боже мой, как я люблю тебя!

Не хотела ужасно, не хотела и не думала, что так получится. Ведь я с каждым днем, часом, минутой люблю тебя все сильней. Я закрываю глаза и мне становится страшно, что все это когда-нибудь кончится, мне кажется, что я для тебя только игрушка, красивая игрушка, и все.

У Бунина есть такая вещь — «Грамматика любви». Там сказано, что женщина прекрасная (какой ты меня считаешь) уступает первое место в жизни мужчины женщине милой. Так как же? Стоит ли мне волноваться?»

И в другом письме: «Бушин, ты не можешь так уехать... Я ужасно хочу быть с тобой. Я бы каждый вечер оставалась у тебя и любила, любила, упивалась бы твоей лаской, твоими руками, тобой...

Ты даже не представляешь, как мне хорошо с тобой, у меня давно не было такого. Но я сейчас не могу... Что мне делать, Бушин? Что нам делать?

Письма-то хоть писать будешь?

Бушин, я люблю тебя, мне будет без тебя плохо, плохо. Не уезжай! Ты же хотел остаться до 7-го, а мне и этого мало. Я даже не знаю, схожу с ума, что лучше, чтобы ты остался или уехал? Не знаю, что будет, если ты уедешь. И боюсь, если останешься...»

И еще: «Я шла к тебе в среду, но почему-то подумала, вдруг ты скажешь что-нибудь ужасное для меня, и потому не вошла, а постояла под окном, посмотрела на свет и ушла... В пятницу я не могу приехать при всем моем большом желании. По всей вероятности, приеду 29-го совсем. Я тебе обязательно позвоню, как приеду. А в субботу мы сможем поехать ко мне. Это было бы прекрасно!

А в сентябре <...> вот когда я буду наслаждаться. ... Какое это счастье — чувствовать тебя, а потом какое-то мгновение ощущать невыразимое чувство легкости и безумного счастья. Господи, сколько еще будут длиться эти минуты любви...

Я люблю тебя, люблю, хочу быть с тобой...

Но как я хочу, чтобы ты хоть на какое-то мгновение был рядом и сейчас, чтобы целовал меня, ласкал, читал свои прекрасные стихи и любил.

Ты же любишь меня?

Да?

Если бы были такие слова, которыми можно сказать, как я люблю тебя.

Мне все время кажется, что я вот-вот увижу тебя, ты улыбнешься и подойдешь».

И еще: «Я ложусь спать и чувствую тебя, ловлю губами твои губы... но тебя нет рядом. Нет тебя. Нет слов. Как я хочу в тебе раствориться! Мне совершенно не интересны люди, которые не знают тебя, мне с ними не о чем говорить. Как они могут жить, не зная тебя!.. Если бы можно было вдвоем уехать на край света!

Ты снился мне почти всю неделю (думал обо мне?). Я с ума сходила от безвыходности положения и махнула в Москву, но и здесь не удалось увидеть тебя.

Ты мне пиши, обязательно пиши. Я буду ждать твоих писем.

Целую тебя, мой милый Бушин.

Твое рыжее солнышко.

Я нужна тебе?

P.S.

Письма твои получила все в один день — 17-го.

Какие удивительные стихи! (Если все в них правда и от сердца). Спасибо, спасибо.

А пока целую и все так же горячо люблю, мой дивный чудотворец.

L.».

И последнее письмо после некого драматического явления:

«Нет, Бушин, я не выдерживаю таких испытаний...

Спасибо тебе за ласковые твои руки, за слова, которые мне никто никогда не говорил, за стихи, за минуты счастья. Не забуду тебя никогда.

Будь счастлив.

Прощай.

Л.».

Разве это обо мне? Какая сила чувства, распахнутость и безоглядность! Это о прекрасной женской душе, о жажде любви, о готовности отдать всю душу. И вот что я дарил в ответ:

Ты первый раз под шум грозы пришла,
И с той поры всегда при звуке грома
Забрасываю все свои дела
И отворяю настежь двери дома.

Какое лето нынче, милый друг!
Грохочут чуть не ежедневно грозы.
И ты щедра! Вот снова этот звук...
И стол накрыт: нас ждут вино и розы.

И вот как пытался отблагодарить:

Ты опять по всему изголовью
Разметала кудрей своих медь...
Мне о них рассказать не суметь —
От них веет неведомой новью.

Я их вижу то гордым убором,
То мятежным костром на снегу —
Я поведать о них не могу —
От волос твоих веет простором.

Ни поэмой, ни песней, ни одой
Рассказать невозможно о них —
Буйно пламенных, гордых, живых —
От волос твоих веет свободой.

Да, свободой, пространством и новью,
Незнакомой до нынешних дней,
Но призывней всего и сильней
Самой сутью Вселенной — любовью.

22 ноября 2011

Со второй женой Ириной я познакомился в трамвае 22 маршрута, ходившего до войны от Измайлова, где я жил с детства, до Театральной площади и дальше до Пресни, словом, через весь город. Ирина приезжала к бабушке в Измайлово. Она была красива, умна, добра и взбалмошна —

чего еще можно желать от жены! Не обидел ее Бог и чувством юмора. Вот единственная сохранившаяся в коробке записка от нее — «Семейное кredo Бушина»:

«Анна Каренина не работала, но ты и я должны работать. Не потому что нужны мне твои деньги (врешь!), а потому что работа нужна для тебя (зачем?). Она в конце концов облагородит тебя и сделает из обезьяны человека.

Именно поэтому я не буду давать тебе денег на твои туалеты (вот где зарыта собака, Гобсек!), предоставляя тебе право тратить на них все, что ты заработаешь (Он мне предоставляет право, о боже! А кто мой муж? И зачем я с тобой жить буду?)»

Да, все было при ней. Жили мы то с ее родителями на Смоленской площади, то с моей мамой в Измайлове. Родился сын Сережа... А жизни не получилось. Мы разошлись. Она умерла...

БРЮСОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК

После окончания никчемной аспирантуры я внештатно сотрудничал в «Литературной газете» в роли консультанта, т.е. отвечал на стихи, которые неисчерпаемым потоком шли в газету со всех столиц и медвежьих улов земли советской. Не помню точно, как это оплачивалось, но думаю, что вполне прилично. Туда устроил меня через свою сестру Галю, работавшую там в отделе писем, мой друг еще по Литературному институту Дима (Владимир Сергеевич) Комиссаров, огромный добродушный парень, сын уже не работавшего крупного партийного работника, кажется, секретаря обкома из Ростова-на-Дону, его именем была названа одна из улиц подмосковного дачного Кратова. Комиссаровы жили в Брюсовском переулке, выходящем на Никитскую, в отдельной квартире, что было тогда редкостью, но не такой уж большой. До смерти отца мы жили тоже в отдельных квартирах — и в Минино, и Раменском, и в Кунцеве. Поэтому Вадим Кожинов был не прав, используя этот вопрос в уничижительной критике замечательного стихотворения Винокурова, ставшего знаменитой песней.

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой...

— На Моховой нет жилых домов! — укорял Кожинов. — Выдумка.

А где-то в людном мире
Который год подряд
Одни в пустой квартире
Их матери не спят...

— Не было после войны отдельных квартир! — негодовал критик.

Во-первых, как уже сказано, были и до войны и после. Во-вторых, квартирой и даже домом мы порой называем и однокомнатное жилье в коммуналке.

Арзуям не встать. В округе
Без них идет кино.
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно...

— Все? Это совершенно невозможно!..

И Кожинов приводил статистические данные о населении. А ведь умный человек был...

А Дима писал прозу, у него вышла книга «Гвардии лейтенант». Она мне нешибко понравилась. Мы обменялись по этому поводу несколькими неласковыми письмами. Но в конце 50-х он уже был членом Союза писателей. Я заходил к нему и в Брюсовский, и бывал на даче в Кратово, но потом он переехал на какую-то Михалковскую, потом — на Большую Полянку, а дни свои скончал и вовсе в Лаврушинском переулке в известном писательском доме №17. Чего его так носило по Москве, не знаю.

ПУТИНКИ

В 1957 году я встретил где-то на улице Мишу Игнатова, опять же товарища по Литературному институту, почему-то во время войны служившего в армии Войска Польского, имевшего не то медаль, не то орден «Виртути милитари». Он занимался переводом с польского. Узнав, что я, в сущности, нигде не работаю, он пригласил меня на зарубежное радио, где заведовал литературной редакцией. Это, как я уже говорил, в огромном доме в Путинках за нынешним кинотеатром «Россия», которого тогда не было, где позже обитал известный сталинофаг Михаил Федотов. Когда Ельцин его там поселил в какой-то важной должности, ему в окно на втором этаже кто-то бросил дохлую кошку, начиненную взрывчаткой. В случае взрыва зубы и когти кошки впивались в несчастную жертву. Но, кажется, кошка не взорвалась.

Так вот, я пришел в Главное управление радиовещания (ГУРВ) на заграницу на должность зама Игнатова, а он по неизвестной мне причине вдруг уволился, и я остался в роли главного. Редакция была молодежная, большинство — молодые особы. Мужчин было только четверо: два литеинститутца — Жора Друцкой и я, Виктор Егорычев и Анатолий Загорский. Работать было интересно. Отношения в коллективе были дружеские. И существовали неписаные вольности. Так, женская часть редакции иногда вдруг объявляла «День радости» и ничего не делала, и ни на какие уговоры не поддавалась.

А у меня-то самого был сплошной «День радости», ибо за стеной в музыкальной редакции сидела очаровательная Марина Л., которую я мог видеть, когда хотел. Иногда по воскресеньям, возвращаясь и с дачи в город, я заходит в пустынное здание ГУРВа, где в эти дни никого не было, кроме охраны, поднимался на наш этаж и ставил на стол Марины в баночке с водой букетик ландышей, ромашек, васильков. Не верите? Клянусь — было! Не знаю, догадыва-

лась ли она, что это я. А однажды летом 57-го года у меня родился такой документ, обнаруженный мной в той коробке из-под шампанского:

«Начальнику ГУРВ тов. Семину Н.В.

От главного редактора
Литературной редакции Бушина В.С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Считаю своим служебным и гражданским долгом довести до Вашего сведения следующее.

За последние несколько месяцев Литературная редакция серьезно улучшила свою работу. Количество передач, выдаваемых ею, значительно возросло, их тематическое и жанровое разнообразие расширилось. Однако есть основание опасаться, что сдвиги в работе редакции в скором времени будут сведены на нет. Причина этого такова.

По соседству с Литературной редакцией находится Музыкальная редакция, где в должности редактора вот уже второй год работает некто Л.-ва М.А., молодая особа 1932 года рождения, комсомолка, член профсоюза.

Со всей решительностью заявляю, что Л.М.А. только делает вид, что работает редактором, а на самом деле она ведет глубоко замаскированную работу против нашего зарубежного радиовещания вообще и против Литературной редакции в особенности.

Я глубоко убежден, что гражданка Л. представляет собой большое социально опасное явление. Она угрожает нашим культурным связям с зарубежными странами и делу окончательной победы коммунизма во всем мире. Объясняется это тем, что гражданка Л. значительно, я сказал бы, феноменально превысила общепринятые допустимые нормы женского очарования. Это превышение носит злостный преступный характер, не согласующийся ни с какими понятиями гуманности и нормами международного права.

Объяснить, в чем состоит очарование гражданки Л., не представляется возможным, ибо даже при первом взгляде

обнаруживаются существенные изъяны ее внешнего облика (некоторая курносость, асимметричность ноздревых отверстий и т.д.), но к сожалению, остается фактом: она неотразима и разлагающе действует на весь трудовой коллектив ГУРВа.

Со всей самокритичностью должен признать, что я лично, несмотря на фронтовую закалку и преданность идеям коммунизма, не сумел избегнуть пагубного воздействия этой особы. Она возбудила во мне недостойное члена КПСС и просто серьезного человека желание постоянно видеть ее и слушать нескончаемые глупости, которые она для маскировки лепечет. А это-то и оказывается самым отрицательным образом на работе и моей лично, и всей редакции, тем более, что гражданка Л. не делает ничего для хотя бы минимального удовлетворения помянутого выше желания.

Здесь надо вновь напомнить, что Л-ва — член профсоюза и потому должна бы беспокоиться о повышении показателей нашей совместной работы. Вместо этого она дурачит, водит за нос главного редактора Литературной редакции, ни во что не ставит его время и здоровье. К лицу ли это женщине с профсоюзным и комсомольским билетами в кармане! Поведение Л-вой выглядит особенно неприглядно сейчас, когда мы отмечаем 50-летие наших славных профсоюзов и готовимся достойно отпраздновать 40-летие Великого Октября.

Но это еще не все. Гражданка Л-ва М.А. постоянно терроризирует меня насмешками унизительного характера. Приведу лишь один пример. Совсем недавно меня, члена КПСС, фронтовика, кавалера шести правительенных наград, человека, имеющего два высших образования, наконец, главного редактора, гражданка Л-ва с обычной для нее легкостью и категоричностью назвала мурзилкой. Все мои попытки опровергнуть это, доказать, что я никакой не мурзилка и никогда не был ей ни к чему не привели, а лишь вызвали презрительный смех гражданки Л-вой.

Ни минуты не сомневаюсь, товарищ начальник главка, что если бы на моем месте оказались Вы или даже глава правительства тов. Булганин Н.А., то и Вас и Булгани-

на гражданка Л-ва с такой же легкость и решительностью могла бы назвать мурзилками.

Надеюсь, теперь Вам картина достаточно ясна, и вы понимаете, почему и откуда грозит опасность Литературной редакции и мне лично. Исходя из всего сказанного прошу Вас:

1. Обязать гражданку Л-ву М.А. умерить свое социально опасное очарование.

2. Приказать ей не препятствовать моему желанию видеть ее и слушать бесконечные глупости, что она лепечет.

3. Под угрозой увольнения заставить ее отказаться от заявления, будто я мурзилка.

4. Текст ее отказа распространить в централизованном порядке и предоставить всем редакциям ГУРВ.

В.Бушин, главный редактор
Литературной редакции.

18 июля 1957 года».

А если без шуток, то довольно скоро мне удалось на- жить в ГУРВе немало врагов. Там ведь долгие годы, даже десятилетия трудились журналисты, знающие специфику работы на Запад, это были зубры идеологической борьбы, а я пришел и начал писать материалы безо всякой специфики, и они пользовались хорошим спросом у редакций, вещающих на разные страны. К тому же я еще и довольно много печатался. Это было тоже странно, необычно, пожалуй, даже подозрительно. И начались козни корифеев против редакции и против меня лично.

Пока ГУРВ возглавлял «твёрдый искровец» Семин, жить еще было можно, но потом на очень короткий срок на его место пришел известнейший тогда международник-правдист Юрий Жуков, за ним — бывший посол в Швеции, бывший заместитель Генерального секретаря ООН Илья Семенович Чернышов. И уж тут стало невмоготу. И я не выдержал. В некий день 1958 года я написал весьма резкое заявление об уходе. У Чернышова оно вызвало удивление, желание разобраться, но как раз тут позвонил мне Владимир Солоухин и позвал в «Литгазету», где он был членом

редколлегии, — на место ушедшего Булата Окуджавы заведовать отделом поэзии. И я ушел в «Литературку».

А судьба И.С.Чернышова оказалась трагической. В 1961 году его направили послом в Бразилию, и вскоре на знаменитом пляже Копакабана во время купания он оказался жертвой акулы.

В ОКОПАХ «ЛИТЕРАТУРКИ»

В «Литгазете» разделом русской литературы заведовал Михаил Алексеев, талантливый, сразу ярко заявивший о себе писатель. На отдел поэзии нашелся кто-то другой, а меня он назначил своим заместителем. Наши кабинеты были на четвертом этаже напротив друг друга, у него — огромный, у меня — небольшой, уютный. Между нами — комната секретарши Инны Ивановны Кобозевой, старательной, добросовестной, болеющей за дело сподвижницы.

Отдел русской литературы — это Алексеев, я, Дима Старикив, Вася Литвинов, Коля Далада, Вася Ильин и Инна Ивановна, к слову сказать, еврейка. Мы жили и работали, как в осаде, под постоянным напором всех остальных отделов — от отдела братских национальных литератур (надутый Сурен Гайсарян и обходительный Лазарь Шиндель) до международного отдела во главе со свирепым Борисом Леонтьевым. И это при коварном нейтралитете заместителя главного редактора Валерия Косолапова и трусоватости ответственно-го секретаря Петра Карелина. А главный редактор Всеиволод Кочетов был болен, в газете не появлялся и я его тут ни разу не видел. Нашим человеком был только исполнявший обязанности главного редактора Валерий Друзин.

Вскоре после моего прихода Алексеев ушел в отпуск, уехал в родное саратовское село Монастырское и в ответ на мое письмо писал мне:

«Дорогой Владимир Сергеевич!

За долгое молчание — простите великодушно... Оно во все не означает, что я не понимал Ваших трудностей. Я ви-

дел их заранее, я их чувствовал по третьей полосе газеты, высыпаемой мне аккуратнейшей и добросовестнейшей Инной Ивановной. Скажу больше: я понимал, что подвергаю Вас — оставляя — тяжкому испытанию, граничащему с пыткой. Но лучший и вернейший способ включить Вас в окаянную нашу машину — это скорейшее предоставление Вам полной самостоятельности. Сейчас я вижу, что Вы с честью выходите из этого испытания. Радуюсь этому...

Я знал заранее, что наши храбрые воители дружно откроют огонь по мне, как только я покину Цветной бульвар. Обидно это мне? Конечно. Особенно, если учесть, что в газету меня затащили чуть ли не силой и все мои душевные силы в течение последнего года были отданы ей. Однако я хорошо понимаю, КТО, ПОЧЕМУ и за ЧТО меня не любят, и это-то постоянно прибавляет мне силы.

Насчет моего скорого ухода ЗАБУДЬТЕ. Никуда я не уйду до тех пор, пока не сделаю что-то важное, что считаю нужным сделать, или пока меня не ВЫГОНЯТ. И был бы чрезвычайно рад, если и Вы остались бы со мной все это время. Вы попали как раз в очередную волну атак на нас. Но дело-то наше в высшей степени справедливое. Зачем же мы будем отступать? Мы же коммунисты, черт возьми!

Пожмите крепко руку Инне Ивановне, она воистину молодец.

Очень благодарен Литвинову и Старикову — они по-прежнему в авангарде.

Привет всем-всем. Чуть больше месяца осталось и я с Вами. Не унывайте, не падайте духом. Привет Валерию Павловичу {Друзину} и Вал. Алексеевичу{Косолапову}.

Жду весточки.

Ваш М. Алексеев.

19.VI1.58.».

Позже мы сошлись ближе. Запомнилось, как прекрасно мы с ним однажды посидели в «Праге». Михаил Николаевич как-то подарил мне свою книгу с надписью: «В память о совместном сидении в окопах «Литературки».

В статье упомянут тот самый Василий Матвеевич Литвинов, что написал для упоминавшегося словаря «Русские писатели XX века» статью о Шолохове. В ней он уверяет, что Сталин «в поисках своего художника-биографа весьма желал приручить автора», но получил «Тихий Дон» — «роман о восстании казачества против большевистского ига», из корыстных соображений «печатание которого было милостиво разрешено». А «советскому литературоведению было дано задание сколь можно убедительней интерпретировать роман для массового читателя и мировой общественности как художественное подтверждение правоты и величия большевистской революции». Это задание сам Литвинов много лет усердно и выполнял, но молчит об этом, обвиняя в лакействе каких-то безымянных критиков. А чего стоит заявление по поводу «Поднятой целины»: «Вождь потребовал от Шолохова написания книги во славу колхозизации». И тот, мол, написал, но «в уста деда Щукаря и белогвардейца Половцева вложил справедливые обвинения в адрес коммунистов». И дальше — такие же густые глупости и пошлости.

А ведь были у нас, мракобесов, и такие дела. Однажды Старикин сказал нам с Алексеевым, что какой-то молодой поэт хочет почитать нам свою поэму. Что ж, мы согласились. И привел Дима тихого, скромного кадыкастого стихотворца. И в кабинете Алексеева, страшно волнуясь, он прочитал нам свою поэму. Она называлась «Мастера» и всем понравилась. Алексеев сказал: «Мы это напечатаем». — «Правда?! В «Литературной газете»?! — «А где же еще!» — «Не может быть!» И поэма была напечатана. Над ней стояло: «Андрей Вознесенский». С этой публикации началась его известность. Так мы, мракобесы, двинули его в литературу.

В том 58-м году с сослуживцами по «Литературке» мы как туристы ездили в Венгрию. Ведь шел только второй год после восстания там, во многом антиеврейского, как показал С.Куняев, но в группе нашей был завотделом искусства газеты Б. Е. Галантер, и никаких эксцессов это не вызвало. Правда, когда встретившийся нам в Мишкольце один

бывший русский помещик, оказавшийся здесь после Октябрьской революции, пригласил нас вечером в гости, Борис Ефимович не решился пойти. Однажды я тоже не пошел. А утром, когда мы уже сидели в нашем автобусе, чтобы ехать куда-то дальше, этот уже старый человек приплелся проводить нас. Я вышел к нему, пожал руку. «А мы вас так ждали всей семьей, так готовились» — сказал он. И в словах его было столько горечи и тоски. Русские, заброшенные на чужбину, хотели поговорить с русскими из Москвы, а те не пришли...

От той поездки остался неожиданный след — стихотворение «На границе»:

Вот смотри, таможенник, смотри, —
Тут багаж мой весь, как на ладони:
Сувениры, карты, словари,
Радиоприемник марки «Сони»...

Я проехал много разных стран,
Легче перечислить, где я не был.
Загляни и в этот чемодан,
Есть тут кое-что из ширпотреба.

Если надо пошлину — плачу!
Я, приятель, чту твои законы.
Что ты ищешь — золото? парчу?
Героин? старинные иконы?

Да, одну икону я везу.
Ее цену знать вам невозможно.
Не ищи ни сверху, ни внизу —
В сердце она спрятана надежно.

Я считал, молитва — звук пустой,
Но молюсь на ту икону жарко!
Это не какой-нибудь святой,
А одна прекрасная мадьярка.

Верно, согласишься ты со мной,
В мире деклараций, денег, пошлин
Был бы ее образ неземной
Тотчас и унижен и опошен.

Потому я рад, что удалось
Спрятать мне ее, опасность чуя.
Потому и за ее провоз
Ни гроша тебе не заплачу я!

В октябре 1979 года с группой московских писателей, которую возглавлял прекрасный рассказчик и энергичный человек Сергей Антонов, я ездил во Франкфурт-на-Майне на грандиозную книжную ярмарку международного размаха. Незадолго в журнале «Москва» вышла моя жутко шумная статья «Кушайте, друзья мои. Все ваше» — о романе Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов». Я внезапно, извиняясь за выражение, стал знаменит. Меня засыпали восторженными письмами со всех концов страны. Статья эта неоднократно перепечатывалась и вошла в мою книгу «Гении и прохиндеи» (2003 г.).

А вообще-то это был год столетия со дна рождения Сталина и Троцкого, и книги о втором из них лежали на многих прилавках выставки. Но еще больше — «Архипелаг ГУЛаг», который впервые вышел за шесть лет до этого в Париже. Там, прямо на ярмарке, к нам тоже подошли несколько русских и пригласили вечером посетить их. Мы жили в гостинице «Am Zoo» (« У зоопарка»). Вечером они позвонили нам туда: ждем с нетерпением, стол накрыт. Я стал уговаривать Сергея Антонова, Василия Субботина, Вадима Собко, Людмилу Уварову... Все отказались: это же ФРГ, НАТО... уже вечер...незнакомый город... Но я, вспомнив давний печальный случай в Мишкольце, взял такси у гостиницы и поехал один по адресу, который мне назвали по телефону. В каком-то условленном месте меня встретили. Ах, что это был за вечер! За столом человек пять-шесть русских мужчин и женщин, разными обстоятельствами войны заброшенных сюда. Они даже не расспрашивали меня о

России, о Москве, — им надо было высказаться, излить перед соотечественником тоскующую душу, вспомнить родину. Один даже назвал мне номер своего комсомольского билета, который помнил до сих пор. Обратно в гостиницу уже глубокой ночью меня довез некий Юрек, кажется, поляк. Какое-то время я переписывался с ними, а хозяйка дома приезжала в Москву, позвонила мне, и мы славно посидели с ней в новом «Национале», который потом снесли.

После «Литературки» на долгие годы до самой его смерти я сохранил самые дружеские отношения с Димой Старикиным. Он был и умен, и талантлив, и знающ. Твердо стоял на русских советских позициях. Помню, как зло говорил о нем однажды в Гослитиздате старик Антокольский. Его книга «Перечитывая классику» интересна и сейчас. А еще Дима был несколько избыточно женолюбив. Он женился на дочери Анатолия Софронова, но там жизнь что-то не заладилась. Вика было резкой, прямой, тяжеловатой в прямом и переносном смысле, что, впрочем, позже не остановило Василия Шукшина, которому Вика после того, как разошлась со Старикиным, родила дочь. А Дима женился на молоденькой очаровательной Светочке, едва ли не школьнице. Но не мог где-нибудь в Коктебеле удержаться от того, чтобы приударить за молодой прелакомой поварихой Дома творчества. Мои отношения со Светланой сам Дима определил как любовь-ненависть. Действительно, она нравилась мне и молодостью, и колючим характером, озорным нравом, но мы довольно часто цапались с ней по разным поводам. Дима тяжело болел и умер в 1979 году. На поминках я был рядом со Светланой, в траурном наряде она была прекрасна и порой спрашивала меня, как ей себя вести, куда садиться, что говорить. Будто бы я знал это...

ТАТЬЯНА

Я встретил ее в буфете «Литературной газеты», в очереди за баночкой черной икры и стаканом кофе. Ей девятнадцать лет, она прелестна. Училась в Полиграфическом институ-

туте и работала здесь в корректуре. Забыл, с чего началось знакомство, но хорошо помню, как однажды она зашла в мой роскошный кабинет с какой-то книгой и с просьбой помочь в чем-то разобраться. Процесс пошел... Потом я поджидал ее на трамвайной остановке. Сохранилось ее, видимо, первое, еще на «вы» письмо от 22 ноября, должно быть, 58-го года:

«Здравствуйте, Володя!

Я смотрю, работа у вас кипит. Все окружающие меня получают от вас письма. Вам, конечно, там нечего делать (я после поездки в Венгрию был в Сочи), а я сейчас очень занята, сдаю по две контрольные в неделю. Совсем некогда развлекаться. Мне даже говорят, что так я, пожалуй, останусь старой девой. А вы без конца пишете письма, заставляя меня отрываться от занятий...»

Очень интересно дальше: «Опять я болею. Всю эту неделю не выходила на улицу». И через несколько строк: «Бегу на каток. Опаздываю». Больная!..

Врачи говорили, что ей нельзя рожать. Но она не верила в мрачные пророчества. В 62-м году, когда мы еще не были вместе, прислала мне в день рождения открытку с припиской: «Обрати внимание на картинку». А там — пять жизнерадостных мордатеньких китайчат с кучей фруктов и овощей.

Но болела Татьяна действительно часто. Месяцами лежала в больнице со своим сердцем. Однажды некий Институт ревматизма (есть он ныне?) направил ее даже в Ялту — в Институт им. Сеченова на улице Щербака (где он теперь? если сохранился, наверняка носит имя Мазепы или Шушкевича). 22—23 августа 1968 года я писал ей туда:

«Малышка моя!

Наконец-то я получил возможность написать тебе! Если бы ты знала, какие напряженные были у меня эти дни! Как помнишь, статью в «Октябрь» я должен был сдать 10-го, но, конечно, не успел. Оттуда каждый день звонили, торопили. Работал я, как вол.(2012: Сейчас сказал бы «как раб на гале-

рах»). Спасали меня только 2-3-часовые прогулки в Тимирязевском парке. Возвращался, принимал ноксирон и заваливался спать. Еще хорошо, что стояла холодная погода.

Но вот в пятницу статью, наконец, сдал. Сегодня, в понедельник, был в «Октябре», утрясали мелочи. П.Строков (2012: заместитель главреда В.Кочетова) от статьи в восторге. Правда, из трех с лишним листов пришлось оставить 2 с половиной. Еще допишу кончик — одну страничку и добавлю главу о «Золотом теленке», она уже написана и, помоему, это лучшая часть статьи.

А тут еще в самый разгар работы в самый жестокий Zeitnot наша несравненная Хирасима Григорьевна (2012: Серафима Григорьевна Ременик, замответственного секретаря журнала «Дружба народов», где я тогда работал) не преминула назначить меня дежурным по номеру. А это же страшно хлопотно. Надо тщательно прочитать около 300 стр., а я же читаю медленно, не как ты, а работа стоит, а телефон трещит, а в «Октябре» ждут... И вот тут-то я не раз вспоминал мудрейшего Никольского из «Политиздата»: лучше всего жить под одеялом.

И в эти же ужасные дни еще одно огорчение: узнаю, что Мэлора Стурса повысили в должности — послали корреспондентом в Америку. Представляешь, какой удар!.. Два дня не мог работать (*Этот Мэлор — Маркс, Энгельс, Ленин — печатал в «Известиях» много хлестких и невежественных статей, на что я иногда слал в редакцию возмущенные письма. Он из Америки так и не вернулся*).

Кажется, сегодня напряженность начала разряжаться. И дежурство подходит к концу, и со статьей дело завершилось.

Как я устал, девочка моя. А тебя нету рядом, чтобы снять мою усталость.

Ну, как ты? Спишь ли у моря? Погода у вас, кажется, отличная.

Почему ты так редко звонишь, если это просто? Ведь если бросить два пятиалтынных, то разговор будет длиться $40+40=80$ секунд, а если три... Неужели не соображаешь?

Меня все спрашивают:

- Где Таня?
- Какая еще Таня?
- Обыкновенная.
- У нас обычных нет.

Пиши, минуля, и звони.

Сверчок Тимошка скучает, кошка пищит, а Стуруа все пишет и пишет из Америки. Представляешь, какая у меня кошмарная жизнь?

Целую, целую, целую.

Твой Бушин.»

А на обороте последней страницы какой-то совершенно загадочный текст, который я не могу объяснить, поскольку он абсолютно не соответствует действительности: «Совсем забыл! Мы же обменялись квартирами. Нашу двухкомнатную и бабулькину сменяли на роскошную трехкомнатную. Приедешь — ахнешь! Живем недалеко от прежнего дома».

Полная чушь! За все время была только одна попытка обмена: Лариса Васильева, жившая недалеко от нас против кинотеатра «Баку», предложила нам свою трехкомнатную квартиру, но меня отпугнула какая-то огромная балка в одной комнате... Мы остались на месте, а Васильева вскоре переехала в кооперативный дом на ул. Усиевича.

Так что же за чепуху я послал в Ялтинский институт Сеченова в корпус 1, палата 1? Могу предположить только одно: я написал это, чтобы поднять дух больной жены, порадовать ее, помочь в борьбе с микробами, бациллами и всей хворью.

Н.К. КРУПСКАЯ И СОЛЖЕНИЦЫН В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

При упоминании этого эпизода с Васильевой, квартирами и адресами мне невольно вспомнилось, что не так давно (29.10.08) поэтесса писала в «Литературке»: «Мне кажется, очень полезно иногда отключать мозги, если они

плохо работают. А у нас, бывает, отключены и мозги, и интуиция, и, что еще хуже, нарушены чувства меры и чувства такта». Ну, мозги, если они даже хорошо работают, мы и так ежедневно отключаем на время сна, и это полезно. Но как у поэтессы с чувством меры и такта?

Читаем: «Ушел из жизни могучий писатель Александр Солженицын». Могучий! И это с неотключенными мозгами пишет человек, который тут же, в этой же статье восхищается Н.К.Крупской: «Усилиями этой женщины страну вытащили из повальной неграмотности!» Ну, не совсем она была «повальная» и усилиями не одной, а очень многих, но примечательна это чрезмерность похвалы. А знает ли поэтесса, что Солженицын писал о Крупской и о ее муже? И ведь не трудно догадаться, что Надежда Константиновна написала бы о Александре Исаевиче.

«Очаровательный памятник молодой Крупской стоит на Страстном бульваре. Это та Наденька, в которую было влюблено все Шушенское, тургеневская девушка...». Как видно, писательница и сама влюблена в нее, но одновременно — и в могучего антисоветчика №1. Как такие страсти уживаются в одном сердце и в одних мозгах, — непостижимо!

«Большую Коммунистическую улицу переименовали в улицу Солженицына».

Дочь коммуниста, одного из создателей легендарной «тридцатьчетверки», сама советский орденоносец, дважды лауреат Ленинского комсомола... Такой человек, даже когда под 80, должен бы негодовать по поводу этого глумливого переименования. И она негодует. Но как! По поводу чего! А того, что имя Могучего дали какой-то улочке в тридцать домов за Садовым кольцом, тогда как, по ее убеждению, надо под имя Могучего создать новый проспект не у'же, не короче, но краше проспекта Ленинского или Вернадского. Да, так и пишет: «Проложите проспект и назовите его именем могучего Солженицына». Да и в самом деле, есть же проспект блаженного Сахарова...А ведь мадам не только мультиорденоносица и полилауреатка, но еще какой-то

академик и даже профессор Ноттингемского университета. Ну, как можно не послушать ее!

В том же номере «Литературки» Александр Кондрашов, которого всегда читаю с интересом и сочувствием, вдруг объявил: «Произошла глобальная подмена. Вместо Магомаева и Бернеса — Шуфутинский и Новиков, вместо Шолохова и Солженицына — Ерофеев и Минаев...» Шолохов и Солженицын в одном ряду! Диво дивное! Ну, как может работник писательской газеты не понимать, что Солженицын — литератор средней руки, как ему не знать, что он всю жизнь лгал и о себе, и о войне, и о ГУЛАГе, и о советской литературе, в частности и особенно злобно — о Шолохове, которого по недоумию считал своим соперником. Как если бы Бенедиктов — Пушкина, Лейкин — Чехова, Илья Резник — Маяковского. Общего между Шолоховым и Солженицыным только то, что оба получили Нобелевские приемии. Но Шолохову дали ее через четверть века после выхода «Тихого Дона», его главного труда, и только потому, что комитету по премиям надо было спасать лицо, дабы поприличней выглядеть со своими лауреатами, которых порой никто и не знал; а Солженицыну навесили эту премию за три года до выхода его «книги жизни» — полубессмертного «Архипелага» и только потому, что никто столько не врал и не клеветал на нашу родину.

В этом же номере «ЛГ», кстати, статейка Галины Кузнецовой, вдовы Феди Чапчахова, когда-то заведующего отделом критики газеты. Она поучает нас чужими устами: «Гитлеризм — производное большевизма». Это все равно, что сказать: Солженицын — производное Шолохова, то бишь его ученик, последователь. А наши правители все печальются, что какие-то там чиновники на Западе ставят нашу страну на одну доску с фашистской Германией, объявляют зчинщицей Второй мировой, «империей зла». Но что там зарубежные чиновники, когда у вас под носом то же самое на свой лад пишут родимые питомцы муз в писательской газете! Бедный Федя... Разве он мог предположить! Поди, ворочается в гробу...

ВСЯ В ПАПОЧКУ!

Но вернемся к делам совсем иного рода. Настал день, когда я, прия в родильный дом и еще ничего не зная, послал жене записку: «Как там наша Катька?» А она, оказывается уже родилась! Но я же не знал! Через неделю Татьяна рапортует:

«Здравствуй, папочка!

22 апреля. Сегодня врач сказал, что наша дочь хорошо себя ведет, развивается нормально, ее он может выписать домой. Теперь дело за мной. Мне разрешили вставать. Оказывается, это очень трудно, ноги не слушаются, бросает из стороны в сторону.

23 апреля. Дочь твоя с норовом. Очень трудно привыкает к груди, ей не за что ухватиться, она злится и кричит, — вся в папочку. Привыкла к легкой жизни — к соске. Что будем делать с ней дома?

24 апреля. Никак не хотела брать сосок. Начала отворачиваться, скандалить. Она просто скандалистка — вся в папочку. И вдруг, когда сестра пришла забрать ее, засосала, и сестра не могла оторвать ее. Девка с характером и уже с препротивным. Вся в папочку».

СКОРБЬ Б/У

Так вот, в 1958 году мы с М.Алексеевым приветили в «Литгазете» Андрея Вознесенского. И кто мог бы подумать, что всего через два года в номере газеты «Литература и жизнь» за 20 ноября 1960 года, целиком посвященном пятидесятилетию со дня смерти Толстого, будет напечатано стихотворение юного дарования, о котором в 1997 году он поведает как о подвиге на грани гибели: «В атмосфере антипастернаковских гонений похоронного лета мне удалось напечатать стихотворение «Кроны и корни» с подзаголовком «Памяти Толстого». А на самом деле, уверял он, стихи

были посвящены памяти Пастернака. Нужен мне ваш Толстой!.. Это было вранье. Во-первых, никаких «антипастернаковских гонений» тогда не было. Во-вторых, в стихотворении были приметы именно Толстого:

Дымясь локомотивом,
Художник жил — лохмат.
Ему лопаты были
Божественней лампад!

Тут намек и на лохматую бороду классика, которая «дымилась», и на его любовь к физическому труду, и на его антицерковные взгляды, — все это никак не шло к Пастернаку. Тут и ясные приметы осени («Листву роняют кроны...»), когда Толстой умер и когда его хоронили, а Пастернаком, которого хоронили летом, 2 июня 1960 года, ни в единой строчке и не пахло. Но как бы то ни было, а именно тогда юный гений вступил на стезю, о которой потом сказал:

Нам, как аппендицит,
Поудалили стыд.

После этого ему уже ничего не стоило написать в рифму о том же Шолохове похлеще Литвинова.

КАК МУЖЧИНА С МУЖЧИНОЙ

Хотя Алексеев уверял, что и не собирается уходить из «Литгазеты», однако вскоре после того, как вместо него работавшего по болезни Кочетова главным редактором был назначен Сергей Сергеевич Смирнов, которого Михаил Николаевич, видимо, хорошо знал по работе обоих в «Воениздате», он ушел в «Огонек» заместителем к Анатолию Софонову.

Я чувствовал, что и надо мной сгущаются тучи. Я не соответствовал вкусам и намерениям Смирнова. И когда однажды Инна Ивановна сказала, что меня вызывает глав-

ный, я понял, для чего. Вхожу в огромный кабинет. У стола шагает туда и обратно заместитель главного Валерий Алексеевич Косолапов, в течение всей сцены он хранит молчание. А Смирнов с чрезмерной любезностью приглашает меня сесть в кресло. Сажусь. «Владимир Сергеевич, давайте сразу, как мужчина с мужчиной...» Я поднимаюсь и говорю: «Сергей Сергеевич, сегодня я иду в театр и потому в своем выходном костюме. А в рабочем костюме у меня уже несколько дней лежит в кармане заявление об уходе». Немая сцена, тишина. Я поворачиваюсь и ухожу. Через несколько дней, всего лишь перейдя коридор, я стал работать ответственным секретарем, а потом завотделом критики в газете «Литература и жизнь», где хорошо встретили меня и Виктор Васильевич Полторацкий и Евгений Иванович Осетров, главный редактор и его зам. А в «Литературку» на место Алексеева пришел Юрий Бондарев, только что прогремевший романами «Батальоны просят огня» и «Последние залпы», на мое — Феликс Кузнецов, тогда совершенно мне неизвестный. Оба они недолго задержались в «Литгазете»

Впрочем, эта история 1959 года не помешала мне в 1964 году обратиться к Смирнову, который тогда был первым секретарем Московского отделения СП, за помощью в квартирном вопросе. Ну, я просил, чтобы вместе с Леонидом Соболевым он подписал бумагу в наш жилищный кооператив, и он это охотно сделал. Я тогда был одинок и мне не давали — это за свои-то деньги — уже выбранную мной квартиру: дескать, она для вас, товарищ Бушин, велика, избыточна. Я умолял председателя кооператива Владимира Андреевича Сутырина: «Да вы посмотрите на меня! Я молодой, кучерявый перспективный жених, не сегодня-завтра женюсь, уже и приглядел милашку. Мне площадь нужна, плодиться намерен!» Ни в какую! Да и чего было ждать от человека, который еще в знаменитом немом фильме «Красные дьяволята» (1923 г.) играл батьку Махно. Однако под напором письма с такими вескими подписями старый махновец сдался: дали мне желанную квартиру.

ОТЦЫ И ДЕТКИ

Недавно довелось в архигламурном журнале «Караван истории» прочитать большую беседу Константина Смирнова, младшего сына Сергея Сергеевича. Что творится с детьми таких людей! Сын Шостаковича, изображающий отца лжецом, трусом и мямлей, внук Гайдара, обокравший родину, сын Симонова, вот эти два сыночка — Андрей да Константин... Один другого злобней на Советскую власть. А жили при родителях, как у Христа за пазухой. На сей раз, например, слышим: «Мое детство было замечательным... В 1958 году, когда мне было шесть лет, отцу дали дачу в Переделкино, с которым связаны самые радостные и счастливые дни моей жизни... Помню приподнятое настроение, особый аромат молодости и веселых надежд, который был словно разлит в воздухе в конце 50-х — начале 60-х годов». Да и попозже не скучней было: «Я поступил на филфак в МГУ. Свободная студенческая жизнь закрутила меня так, что скоро я забыл дорогу в МГУ. Мы с приятелями говорили дома, что идем на лекции, а сами играли в карты, крутили любовь и не вылезали из чешской пивной «Пльзень». Вот она — жизнь «золотой молодежи»! Можно ли сомневаться, что и брательник жил такой же самой жизнью?

А в Переделкине, говорит, преблаженствовали 25 лет. «После смерти отца дачу отобрали». Естественно, ибо дача была общественная и дали ее за гроши хорошему писателю, которому некогда было шляться по пивным, во временное пользование, а «отобрали» не сразу после смерти отца, а лет через 7—8 после. Но в нынешние бесстыдные времена у родственников некоторых давно почивших писателей дачи до сих пор во владении. Когда скончался Роберт Рождественский? А иные особенно расторопные превратили дачи в музеи. Инновация! Ну, как нам жить без музея да еще и без памятника Окуджаве? Никак невозможно!

Да и потом знаменитые имена отцов открывали их отпрыскам все дороги. Ельцин, например, признавался, что назначил Гайдара главой правительства только из-за имени:

«Я же вырос на книгах его деда!» А теперь ведь их родители, деды и бабушки в гробах ворочаются. Какое неуважительное незнание у детей о своих отцах, сколько вранья о них! Этот прямо и без стыда признается: «Нам с братом не пришлось пробивать себе дорогу — за нас это сделал отец». И не соображает и того, как выставляет отца, который в книгах и по телевидению прославлял героев Великой Отечественной войны, а сыночку по слабости родительской (да не обоим ли?) помог от службы в армии улизнуть.

А начинает КС издалека: «Вот так «оформилось» наше семейство: русский батюшка и матушка с «гримучей смесью» в крови — наполовину еврейка, наполовину армянка». Неужели такого рода «смесь» во всем и виновата? Даже в том, например, что Константин уверяет, будто в 1937 году его отец начал сотрудничать в газете «Гудок», «где, если кто не знает(!), в то время(!) трудился букет будущих классиков — Юрий Олеша, Михаил Булгаков, Валентин Катаев, Ильф с Петровым». Если кто не знает, названные писатели были на 12—15 лет старше Сергея Смирнова и работали в «Гудке» примерно на столько же лет раньше. При нем никто из них там не работал, они уже давно ходили в «классиках».

Не знает сынок и военных страниц биографии отца. А о времени после войны уверяет: «Когда в середине 50-х Твардовского назначили главным редактором «Нового мира», он позвал отца в заместители. На самом деле в середине 50-х, т.е. с 1954-го по 1958-й главным редактором журнала был не Твардовский, а Симонов. Дальше на предельной ноте искренности еще интересней: «Разве я мог тогда понять, почему закрыли редакцию «Нового мира», и что такое покаянные письма, которые пишут солидные уважаемые дяди!» Во-первых, «Новый мир» никто никогда не закрывал, тираж его в иные годы доходил до миллиона. Это сейчас, как и многие другие старые журналы, он едва дышит тысяч на 5—7. В Советское время там, как и в других редакциях, иногда менялось начальство, что вполне естественно. Так, в «Литературной газете» в роли главного редактора я помню еще до войны Симонова, Войтinskую, потом — Ер-

милова, опять Симонова, Рюрикова, Смирнова, Чаковского, Удальцова, Бурлацкого и вот — Юрий Поляков. Что удивительного? Меняются и командующие военными округами, армиями, фронтами, и директора заводов, и главные врачи больниц, и даже заведующие дискотеками, когда иные из них становятся президентами...

Во-вторых, а кто в годы детства и юности Константина Смирнова писал покаянные письма? Я, например, помню только одно — Пастернака за «Доктора Живаго», изданного им за границей и ставшего знаменем борьбы против нашей родины, как позже — солженицынский «Архипелаг». Как же в этом не покаяться! А вот покаянных и благодарных речей действительно было немало. Евтушенко всю жизнь каялся, это его любимый лирический жанр. Еще в 1963 году каялся перед Союзом писателями за свою лживую автобиографию, изданную во Франции: «Я совершил непоправимую ошибку... Я ощущаю тяжелую вину... Для меня это урок на всю жизнь» и т.д.

Он же каялся перед Хрущевым за другие литературно-политические проказы и выражал при этом готовность «бороться каждодневно за окончательную победу ленинизма», он же — за ложь в стихотворении «Бабий Яр»; Эрнст Незвестный каялся за художественные выкрутасы и взывал: «Дорогой Никита Сергеевич, я благодарен вам за отеческую заботу и критику (несмотря на то, что заботка-то была с матершиной. — В.Б.). Она помогла мне. Да, пора кончать с чисто формальными поисками»; Василий Аксенов — в том же покаянно-благодарном духе: «Я благодарен партии и Никите Сергеевичу за то, что могу с ним разговаривать, советоваться... Наше единство в нашей марксистской идеологии» и т.д.

Стенограмма всех этих излияний в 1991 году была опубликована в журнале «Известия ЦК КПСС» и есть в моей книге «Окянные годы»(1997).

А позже каялся и Солженицын — за «Пир победителей», от которого в свое время даже отрекся, но как только власть перевернулась, он побежал с этим «Пиром» в Малый театр и Соломин поставил его. Странно, что сидящий

у входа в театр Островский не встал с кресла и своей бронзовой десницей не задушил обоих.

Но КС продолжает: «Разве мог я знать, что пережил мой отец, секретарь писательского парткома, когда вынужден был как председатель собрания московских писателей открывать травлю Пастернака... Участие в этой травле довело над ним всю жизнь, поскольку он был очень порядочным человеком».

Тут опять много вопросов. Во-первых, Сергей Смирнов — сынок мог бы знать — был не секретарем парткома МО СП, а первым секретарем его правления. Во-вторых, дело беспартийного Пастернака рассматривалось, естественно, не на партийном собрании, а на общем собрании писателей Москвы. И это сынок мог бы знать. В-третьих, если уж Смирнов так не хотел участвовать в нем, то мог бы как-то уклониться. Например, подобно Вениамину Каверину, о чем тот сам и поведал: «Как бывало уже не раз, я «храбро» спрятался». Хотя, по его словам, ему дважды звонил К.В.Воронков, секретарь МО по оргвопросам, и настаивал, чтобы он пришел. А ведь здесь не было и попытки спрятаться. Наконец, Смирнов мог бы взять пример с героев войны, о которых писал и рассказывал: их девизом было «Умираем, но не сдаемся!» Тем паче, что ему-то вообще ничего не грозило. А главное, после того собрания Смирнов прожил почти двадцать лет. Знает это сынок? Было время хоть в какой-то форме, хоть в частном письме выразить свой сожаление и раскаяние. Но где это письмо? Где раскаяние?..

Поэт К.Ваншенкин потом уверял: «Как по тревоге, съехались со всех сторон люди, из которых ни один(!) не читал «Доктора Живаго»...» Это вранье не менее банальное, чем рифма любовь-кровь или морозы-розы. Из самого текста выступлений, допустим, С.С.Смирнова, К.Зелинского, Г.Николаевой, В.Перцова и других видно, что они читали. Поэт может удостоверится в этом по стенограмме, которую никто не скажет, как второй том «Мертвых душ». Наверняка роман читали Николай Тихонов, возглавлявший тогда Союз писателей, секретарь Союза Георгий Марков, помянутый Константин Воронков, читали члены редакколлегии «Нового

мира», куда роман первоначально был представлен, — Константин Федин, Борис Агапов и другие. От них Пастернак уже получит обстоятельный ответ на свою рукопись.

А с чего Ваншенкин взял, что и не заглянул в роман, допустим, Чингиз Айтматов, который сказал: «Если мы хотим по-настоящему выступать на мировой арене, то давайте следовать по пути Горького и Маяковского, а не Пастернака». Да что Айтматов! Даже Илья Сельвинский, писавший

Люблю тебя, мой русский стих,
Еще не понятый, однако,
И всех учителей моих
От Пушкина до Пастернака, —

даже этот ученик Пастернака напечатал в «Огоньке» стихотворение, в котором бросил учителю: «Вы родину поставили под свист!»

Но что же именно сказал на том собрании о Пастернаке и его «Докторе» сам Смирнов. А вот: «Нельзя пройти спокойно мимо этого тяжелого факта предательства. Вы поймете чувство оскорбления, чувство настоящего гнева, с которым мне пришлось закрыть эту книгу. Я был оскорблен не только как советский человек, я был оскорблен и как русский человек. Я был оскорблен как интеллигент и просто как человек. Я, наконец, был оскорблен этим романом, как солдат Отечественной войны, как человек, которому приходилось плакать над могилами погибших товарищей... Я был оскорблен потому, что герои этого романа прямо и беззастенчиво проповедуют философию предательства. Черным по белому в романе проходит мысль, что предательство вполне естественно. Предатель возведен в сан героя и предательство воспевается как доблесть». Какие же из этих слов Смирнов взял обратно? Ни одного. Все это заставляет думать, что 45-летний человек, прошедший войну, говорил это не под диктовку сидевшего под столом суфлера из КГБ, не «вынужден был» председательствовать на том собрании, а действовал вполне сознательно, добровольно и потом не жалел об этом.

Если бы КС хоть на этом бы остановился! Но нет, он трусила дальше: «Отец сделал цикл радиопередач «В поисках героев Бреста». Этот цикл принес ему неслыханную популярность. Дело в том, что как во время войны, так и сразу после наши солдаты, попавшие в плен, считались предателями. Только сволочь могла так отнестись к людям, которые, проливая кровь за родину, оказались в плену... Отец постоянно вбивал в головы слушателей, зрителей и читателей, что наши военнопленные не предатели, а истинные герои».

Только сволочь могла это написать вслед за лжецами от Волкогонова (1989) и Радзинского (1997) до Туркова.

Для старшего Смирнова Советское время, когда он и вся его родня благоденствовали и благоухали, — «людоедский эксперимент» (Известия.6.12.00). Его приводят в бешенство знаменитая «Песня о Родине» Лебедева-Кумача и Дунаевского: «Не горькая ли насмешка в том, что именно в 37 году, на пике сталинских репрессий, впервые прозвучали в фильме «Цирк» знаменитые строки: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» (там же). Во-первых, «Цирк» это не 1937 год. Во-вторых, 1937 год это не «пик» (см. помянутого И.Пыхалова). А главное, да, миллионы людей, весь народ, в том числе многочисленный клан Смирновых с его «греческой смесью» (одно Переделкино чего стоит!), дышали свободно и жили с каждым годом лучше и веселей (см. выше). Но, увы, — нет правил без исключений...

Совершенно справедливы и правдивы также и другие слова гимна, проклинаемые вами: «Знамя Советское, сила народная нас от победы к победе ведет». А какое же знамя нас вело, допустим, до Берлина — триколор, что ли? Он нас даже до Тифлиса не довел. И какая же сила вела, если не народная? Что ж вы за существо, если даже сила родного народа для вас лишь предмет глумления да издевок? Верю: по причине слепоты и амнезии вы эти победы не видите, а какие видели, не помните — ни страну, вытащенную из неграмотности к вершинам культуры, ни знамя победы над рейхстагом, ни наш герб на Луне и Марсе, заброшен-

ный туда еще сорок лет тому назад, — забыли, но это лишь патологический факт вашей биографии.

Евгений Долматовский в книге «50 твоих песен», которую подарил мне в Коктебеле, приводит заранее написанное письмо жене летчика Владимира Зотова, погибшего в бою против фашизма еще в Испании в том самом 37 году: «Вспоминайте меня моей любимой «Песней о Родине»: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». А закончил Зотов письмо так: «Шурик, расскажи сыну, кто был его отец и за что он погиб» (с.118). Как вам, смиряшки, понять такого человека! Он вступил в бой с фашизмом добровольно, а вы даже в мирное время за широкой спиной отца улизнули от армии. И что можно рассказать о вас вашим детям и внукам?

Впрочем, своим потомкам вы рассказали о себе сами: «Если бы, не приведи Господь, немцы в 41-м году заняли Москву, мы, вероятно, распевали бы сегодня: «Счастика Гитлера — сила народная нас от победы к победе ведет». Ваш язык выдает вас с головой. Откуда такая деликатность — «заняли»? Фашисты не заняли бы, а захватили город, ворвались бы и растерзали его. Но главное, кто — мы? Вы с Костей пели бы, вы с дочкой Дуней, вы все вместе с Чубайсом, недавно ставшим супругом вашей Дуни? Вам и невдомек, что если бы сбылась ваша дикая фантазия, то в Москве уже никто и ничто не пел бы. А люди с «гримучей смесью» — в первую очередь

Кстати, муж Чубайс — не единственное достижение дочки Дуни. Еще она поставила фильм о Бунине, роль которого убого сыграл ее папа. Ну, так случайно совпало. У Бунина есть прекрасное стихотворение «Родине»:

Они глумятся над тобою.
Они, о родина, корят
Тебя твою простотою,
Убогим видом черных хат...

Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей —
Усталой, робкой и печальной
Средь городских его друзей.

Глядит с улыбкой состраданья
На ту, что сотню верст брела,
И для него ко дню свиданья
Последний грошик сберегла.

Многие строки здесь адресованы смиряшкам...

Константину в юные годы очень хотелось сниматься в кино и он приставал с этим к своему старшему брату, который уже ставил фильмы. И тот ему однажды сказал: «Я нашел для тебя роль... Вот смотри: черный экран, полоса света, входят двое. Один говорит: «Посмотри, кто там лежит». — «Это труп». Вот ты этим трупом и будешь»... Эту роль младший брат сыграл великолепно. И так вжился в роль! В сущности, так и остался трупом. Но не простым, а говорящим, дающим интервью для журнала «Караван истории». А о старшем брате Андрее можно сказать, что он превзошел младшего во всем, в том числе и в актерском мастерстве.

«ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ»

В «Литературе и жизнь» я проработал недолго, но печатался там много. Однажды на Цветном бульваре встретил добрую приятельницу Лену, с которой познакомился летом 1953 года в Дубултах. Она — дочь известного еще с тридцатых годов критика Владимира Ермилова. У Асеева в поэме «Маяковский начинается» о нем несправедливо сказано:

А это, читатель, любезный Немилов.
Он — ярый приверженец классики форм
и, стоя у «Красной нови» у кормила,
решил, будто корень кормила от «корм».

Впрочем, на совести Ермилова несправедливостей тоже немало.

Асеев — второй (первым был Иосиф Уткин) живой писатель, которого я увидел в 1939 году на эстраде в Измайловском парке, где он как раз читал эту поэму, за которую получил Сталинскую премию. Ему тогда исполнилось пятьдесят лет. Помню, чья-то юбилейная статья о нем начиналась словами: «Он очень молод...» Ибо тогда считалось, что в пятьдесят человек уже чуть ли не старик.

Лена была с незнакомым мне парнем. Она представила меня так: «Это Володя Бушин, без которого не обходится ни один номер «Литературы и жизнь». Так и было. А спутник Лены оказался Вадимом Кожиновым, ее мужем. Злые языки говорила: «Он женился на библиотеке Ермилова». Говорят, библиотека действительно богатая. А печатался я много по двум причинам. Во-первых, газета только начиналась, материалов порой не хватало. Во-вторых, за годы аспирантуры и после у меня накопилось много неопубликованных статей.

Успел я напечатать там свою первую шумную статью «Реклама и факты» — о критике в «Новом мире». Это же было осиное гнездо будущих прорабов перестройки: один Сарнов чего стоит. А тот же Турков!.. Говорили, Твардовский негодовал: «Нашелся новый Белинский!» Однако никаких возражений или опровержений не последовало.

25 марта 1959 года я напечатал там статью «Чувство слова», в которой речь шла о романах Федора Панферова «Раздумье» и Даниила Гранина «После свадьбы». В «Нашем современнике №1 за 1960 год П.Пустовойт гневно обрушился на меня: «В.Бушин даже не пытается провести грани между речью писателя и его героев. Обнаружив слова «очухаться», «взъерепениться», «лупануть», кричит «Караул!» Что ж, если действительно так и было, то Пустовойт совершенно прав. «Рецепты В.Бушина даже староверу адмиралу Шишкову показались бы анахронизмом». И тут прав. Сейчас даже не верится, что я писал такую чушь. Но что

я! Даже Шолохов, видимо, под влиянием работы Сталина «Марксизм и языкоизнание» (1952) в одном издании «Тихого Дона» убрал слова и речения подобного рода и почти все диалектизмы. Слава богу, потом восстановил.

И НА ДУРАКОВ СПРОСА НЕТ

Корней Чуковский 27 ноября 1962 года записал в дневнике: «Третьего дня был у меня (Сергей) Образцов и сообщил, что закрывается газета «Литература и жизнь» из-за недостатка подписчиков (на черносотенство нет спроса) и вместо нее будет «Литературная Россия». Глава Союза писателей РСФСР Леонид Соболев подбирает для ЛР сотрудников и, конечно, норовит сохранить как можно больше старых, чтобы снова проводить юдофобскую и вообще черносотенную линию. Для видимости обновления решили пригласить Шкловского и Образцова. Обр. пришел в Правление, когда там находились Ст.Щипачев и Соболев, и сказал: я готов войти, если в редакции не останется ни одного Маркова, а если проявится антисемитский душок, я буду бить по морде всякого, кто причастен к этому...» (т.2, с.329).

Ну, Чуковский был уже стар, но все-таки... Во-первых, если бы Алексей Марков и писал антисемитские стихи, то их никто не напечатал бы в отличие, допустим, от сионистского стихотворения Семена Липкина «Союз И», которое было напечатано огромным тиражом дважды — в журнале «Москва» под бдительным оком Алексеева и в «Дне поэзии»:

Я знаю, сойдет с колеи,
Человечество быть не сумеет
Без народа по имени И.

Но кто же мог бы в «Литературе и жизнь» проводить «юдофобскую линию»? В 1962 году я работал уже в «Молодой гвардии», но продолжал сотрудничать в газете и помню картину при мне и позже: замглавного — бессловесный, но

дeятельный Григорий Куклис, позже — Александр Дымшиц, ответственный секретарь — словоохотливый Наум Лейкин, завотделом критики — Дора Дычко, потом — Миша Синельников, завотделом писем — Павел Павловский (Пиня), не помню на каких должностях были странноватый Наум(?) Дембо и неутомимая Ася Пистунова, специалист по русским народным промыслам, позже укатившая то ли в Израиль, то ли в ФРГ, член редколлегии — Лев Кассиль. Картина типичная почти для всех московских газет и журналов. Это подтверждается хотя бы историей появления в ЛР Миши Синельникова.

Он работал в ЛГ. При поступлении Чаковский обещал ему в какой-то определенный срок ввести его в редколлегию. Но вот все сроки прошли, и честолюбивый Миша потребовал объяснений. Потом он мне поведал, что Чаковский сказал ему: «Миша, главный редактор — еврей, его заместитель Сырокомский — еврей, многие сотрудники — Шиндель, Ада Бельская, Ревич... И вот теперь я ввожу в редколлегию еще одного... Да тут же и армяне Гайсарян да Тертерян... Получается, что «Литературка» — газета московских евреев и примкнувших к ним армян. Я это не могу!»

Впрочем, тут лучше сослаться не на пересказ, а на печатное свидетельство. Вот что писал уехавший в Америку бывший сотрудник ЛГ Владимир Перельман: «В «Литературке» еврей был главным редактором (Чаковский) и ответственным секретарем (Гиндельман), отдел экономики возглавлял еврей Павел Волин (Вельтман), отдел науки — Михайлов (Ривин), отделом искусства руководил Галанов (Галантэр), даже самый крупный раздел русской литературы возглавлял еврей Миша Синельников...Итак, лучшую в стране газету доверили делать евреям. Я попал в самую умную, самую демократичную, самую еврейскую газету в стране» (Русская мысль. США. 14.XI. 1974). Это более поздняя картина, но чем она отличается от более ранней? А Миша был человеком гордым и самолюбивым, — он ушел в «Литературную Россию».

НИКЧЕМНАЯ ССОРА

Я, кажется, упоминал, что впервые приветил Синельникова, никому тогда не известного, в «Литгазете» — напечатал статью о Николае Кочине. Но через несколько лет он оказался в том кабинете, в котором сидел когда-то Михаил Алексеев. Однажды я принес ему какой-то фельетон. Тут оказался и Владимир Чивилихин В завязавшемся разговоре Миша сказал о 37-м где что-то такое, что задело меня лично. Я вспылил, схватил со стола фельетон, оставил в руках Миши оторванный уголок, выскоцил из кабинета и помчался к себе в «Дружбу народов». Все! Разрыв!.. Но на другой день является из «Литературки» курьер и передает мне редакционный конверт. Я читаю:

«Владимир Сергеевич!

Я не обладаю таким бурным темпераментом, как Вы, а посему думаю, что наша с Вамиссора никчемна. Иными словами, я готов первый протянуть Вам руку дружбы и со всей серьезностью сказать, что я не думаю о Вас как об аполлогете известного рода, как и вообще не думаю о Вас ничего, что хотя бы в малой степени можно было бы считать нехорошим... Надеюсь, что и Вы откажетесь от некоторых вольных квалификаций в мой адрес.

Возможно, я был с Вами не вполне тактичен сегодня, но на это есть извиняющая меня причина: голова занята сегодня совсем другим и совсем не столь веселым, как нашассора.

Надеюсь на вести от Вас и на возвращение фельетона.

М. Синельников.

Свидетель инцидента В. Чивилихин это письмо читал.

15.VI. 65 г.»

К письму был приклейен уголок листа бумаги, который остался на столе, когда я схватил текст, а Миша пытался его удержать

Мир, добрые отношения и сотрудничество, разумеется, были восстановлены и продолжались до самой его смерти. Последнее время он работал в еженедельнике «Гласность» с Юрием Петровичем Изюмовым, бывшим замом главного в «Литгазете».

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». ЧЕТЫРЕ ВЛАДИМИРА. ОДИН ВЫГОВОР

Примерно через год я перешел из «Литературы и жизнь» в журнал «Молодая гвардия». Там за пять лет пересидел пять редакторов: Илью Котенко, Андрея Пришвина, Юрия Балашова, Олега Смирнова и Анатолия Никонова. По неизвестным мне причинам первый, человек очень славный, ушел, кажется, в «Известия». При нем недолгое время заместителем был милый Вася Федоров — вспыльчивый, горячий, честный и талантливый. Второй, племянник знаменитого Михаила Пришвина, однажды не явился на работу, вообще исчез з Москвы и был обнаружен в Риге. Оказывается, у него было не все в порядке с головой. Третий — ничем не примечательный чиновник из ЦК комсомола. Четвертый, сдержанный и надменный, только этим и запомнился. Потом он работал в «Новом мире». Пятый был замечательный человек, он и его заместитель Александр Рекемчук с партийным выговором выставили меня из редакции за обман коллектива: не расторгнув брак с Ириной, я женился на Татьяне, но не известил об этом редакцию. А не известил родной коллектив только потому, что Ирина работала в «Смене», тоже, как и я, в журнале ЦК комсомола, и нам была обещана квартира, которую мы намерены были разменять. Увы, я так ее и не дождался...

В одной комнате со мной, прямо напротив сидел за столом завотделом поэзии Владимир Котов, обидчивый и несколько страдавший манией величия, считавший себя новым Маяковским.

Была у девушки коса,
ее коса, ее краса...

Но вот она почему-то кусу отрезала и напялила черные очки. Володя решительно осуждал это. Непонятно, какими путями он сдружился с Родионом Щедриным и объявлял его новым Бетховеном — он мыслил только такими категориями и масштабами.

Потом, не помню, в какой очередности, его заменили Владимир Цыбин и Владимир Фирсов. Все три Владимиры да еще я четвертый. Цыбин был всегда неопрятный и непонятный мне. Но слыл поэтом некой почвенной силы. К нему заходил поэт Валентин Сидоров, знаток Тибета, тоже не очень понятный. Фирсов запомнился двумя деяниями. На поминках Василия Федорова в Дубовом зале ЦДЛ он не нашел ничего лучше, как рассказать, что Вася каким-то путем избавил его от армии. А потом, будучи редактором советско-болгарского журнала «Дружба», хвастался тем, что первый использовал в журнале двуглавого орла. Все годы борьбы против ограбления и раззора родины молчал и молчит. Ничего доброго о нем вспомнить не могу.

А еще были в редакции три милые женщины: Лия Руслакова, которую мы звали «дитя культа»; Искра Денисова, единственная сотрудница моего отдела критики; и Инна Назарова, потом работавшая в «Октябре» у Анатолия Ананьева, т.е переметнулась в лагерь реакции.

Отделом прозы заведовал Иван Падерин. У меня с ним были недобрые отношения. Когда в редакции появилась с рассказами молодая скромно-игривая Виктория Токарева и, обратившись почему-то ко мне, попросила поговорить о ее рассказах с Падериным, я сказал ей, что это только повредит ее рассказам.

Вот мое письмо Е. Исаеву от 21 декабря 1987 года:

«Хоть и досадно было мне, Егор, что ты вместе со всеми на парткоме проголосовал за отдачу меня под суд, не пожелав ни в чем разобраться (а ведь там можно было и тюрягу схлопотать!), но я стараюсь проходить мимо человеческих слабостей и пишу тебе сегодня не для того, чтобы посмеяться наш вашим шемякиным судом, с которым вы сели в лужу, а чтобы сказать тебе спасибо, и даже не одно, а

два. (Речь идет об обвинениях меня в клевете на Владимира Карпова, которые партком МО СП единогласно поддержал, а райком партии решительно отверг. — В.Б.).

Первое — за защиту Ивана Падерина. Я с ним никогда дружен не был, наоборот, когда вместе работали в «Молодой гвардии», то и дело цапались, порой жестоко. И однако же, когда прочитал в «Труде» эту гнусность под видом гласности (о том, что он будто бы присвоил чужой орден, когда на самом деле орден снял со своей груди и повесил ему маршал Чуйков. — В.Б.), то позвонил ему в тот же день и как мог поддержал его товарищеским словом в этом лихом положении. Вы сделали доброе дело, и это вам в день Страшного суда зачтется (группа писателей, кажется, в «Литгазете» выступили в защиту И.Падерина. — В.Б.).

Второе спасибо — за «Балладу о приказе» в сегодняшней «Правде». Отменно! При всей своей въедливости могу оспорить только два слова — «их война». Почему их? Войну разделить нельзя, хотя, конечно, породили ее они. Это напомнило мне строки Семена Гудзенко:

Будь проклят сорок первый год
и вмерзшая в снега пехота.

Если «сорок первый» требует деликатности, то уж о пехоте это совершенно недопустимо.

Будь здоров!
С новым годом!

Надеюсь, в 1988 году ты и сам под суд не попадешь, и никого на скамью подсудимых не посадишь.

В.Б.».

СОДЕРЖАНИЕ

Но прежде замечу	5
Из дневника 1944 года	23
Из дневника 1945 года	82
После Войны	146
Строки из коробки для шампанского	279

Массово-политическое издание

Владимир Сергеевич Бушин

ОТ КАЛУГИ ДО КЕНИГСБЕРГА. ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК

*Редактор О.В. Селин
Художник И.М. Хотич*

ООО «ТД Алгоритм»

Оптовая торговля:
ТД «Алгоритм» +7 (495) 617-0825, 617-0952
Сайт: <http://algoritm-izdat.ru>
Электронная почта: algoritm-kniga@mail.ru

Сдано в набор 02.04.17. Подписано в печать 24.04.17.
Формат 84x108 1/32.
Печать офсетная.
Печ. л. 6,5. Тираж 1500 экз. Заказ №